This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Анненкова - Бернард

РАЗСКАЗЫ

Н. АННЕНКОВОЙ-БЕРНАРДЪ

STANFORD LIBRARIES

СОДЕРЖАНІЕ:

I. Юбилей актрисы. II. Петля. III. Горемычная. IV. Самосудъ V. Незабвенная.

ИЗД. БОРИСОВА.

КНИГА ПЕРВАЯ

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

Цѣна 1 руб.

РАЗСКАЗЫ

Н. АННЕНКОВОЙ-БЕРНАРДЪ

STANFORD LIBRARIES

СОДЕРЖАНІЕ:

I. Юбилей актрисы. II. Петля. III. Горемычная. IV. Самосудъ V. Незабвенная.

ИЗД. БОРИСОВА

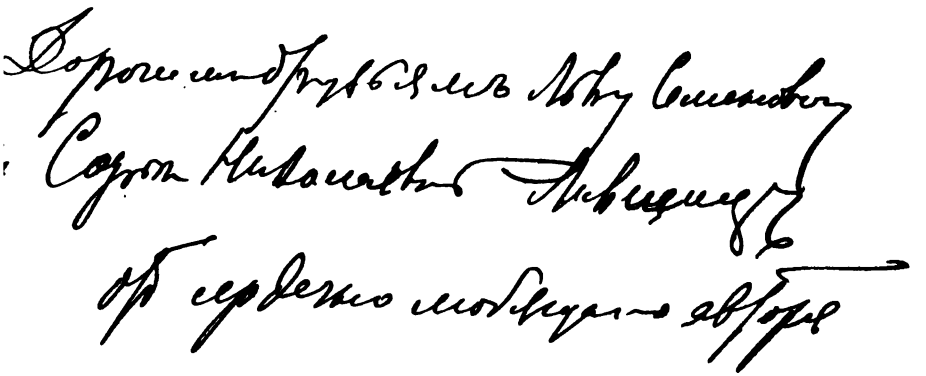
КНИГА ПЕРВАЯ

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

Цѣна 1 руб.

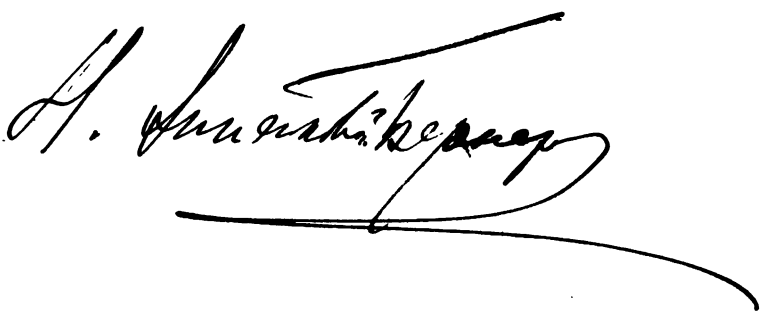
622

1907.
Типогр. Я. БАЛЯНСКАГО, Загородн. пр. 74.



ОТЪ АВТОРА.

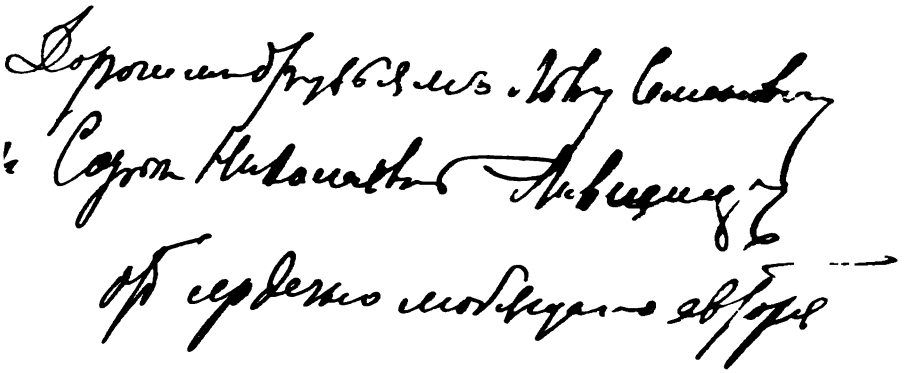
Въ это второе изданіе моей первой книги озаглавленной «Разсказы и Очерки»—Очерки не вошли и будутъ присоединены къ неизданнымъ разсказамъ въ слѣдующей книгѣ.



622

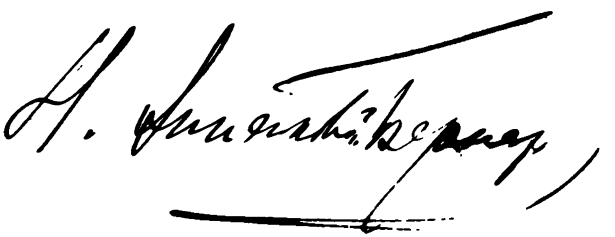
A55A15
1907
v.1

1907.
Типогр. Я. БАЛЯНСКАГО, Загородн. пр. 74.



ОТЪ АВТОРА.

Въ это второе изданіе моей первой книги озаглавленной «Разсказы и Очерки»—Очерки не вошли и будутъ присоединены къ неизданнымъ разсказамъ въ слѣдующей книгѣ.



ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ.

Разсказъ.

> Театръ! Театръ! Какимъ магическимъ словомъ былъ ты для меня во время оно! Такъ сильно было твое на меня вліяніе, что даже и теперь, когда ты такъ обманулъ меня, такъ жестоко разочаровалъ меня, даже и теперь этотъ, еще пустой но уже яркоосвѣщенный, амфитеатръ и медленно собирающаяся въ него толпа, нескладные звуки настраиваемыхъ инструментовъ—даже и теперь все это заставляетъ трепетать мое сердце, какъ бы отъ предчувствія какого-то великаго таинства.
>
> *Бѣлинскій.*

I.

Софья Николаевна, маленькая худощавая старушка, одѣтая очень тщательно, даже щеголевато, поднявшись во второй этажъ по довольно приличной лѣстницѣ, позвонила у большой дубовой двери съ вывѣской, на бѣломъ черными буквами «Меблированныя комнаты».

Софья Николаевна Каневская — актриса, когда-то

ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ.

Разсказъ.

Театръ! Театръ! Какимъ магическимъ словомъ былъ ты для меня во время оно! Такъ сильно было твое на меня вліяніе, что даже и теперь, когда ты такъ обманулъ меня, такъ жестоко разочаровалъ меня, даже и теперь этотъ, еще пустой но уже ярко освѣщенный, амфитеатръ и медленно собирающаяся въ него толпа, веселящіе звуки настраиваемыхъ инструментовъ, даже и теперь все это заставляетъ трепетать мое сердце, какъ бы отъ предчувствія какого-то великаго таинства.

Бѣлинскій.

I.

Софья Николаевна, маленькая худошавая старушка, одѣтая очень тщательно, даже щеголевато, поднявшись во второй этажъ по довольно приличной лѣстницѣ, позвонила у большой дубовой двери съ вывѣской, на бѣломъ черными буквами «Меблированныя комнаты».

Софья Николаевна Каневская — актриса, когда-то

пользовавшаяся громкой славой и недавно по болѣзни вышедшая въ отставку.

Сегодня канунъ ея пятидесятилѣтняго юбилея.

— Никого не было? — спросила она отворившую дверь горничную.

— И теперя сидятъ... Ольга Петровна съ барышней и баринъ молодой съ ними, да этотъ еще... какъ его... все забываю, какъ звать-то... енералъ...

Софья Николаевна торопливо пробѣжала корридоръ и быстро распахнула дверь своей комнаты.

— Ахъ!.. Ахъ!.. Она!.. Ахъ!..—раздались возгласы со всѣхъ сторонъ, и старуха почувствовала себя въ горячихъ объятьяхъ своей любимицы—внучки Маруси.

Комната была преобразована: столъ, на которомъ Софья Николаевна всегда пила чай, и другой, гдѣ раскладывала пассьянсъ, были сдвинуты вмѣстѣ, покрыты бѣлой скатертью; посреди стояла большая корзина изъ живыхъ цвѣтовъ, около нея тортъ, бонбоньерка съ конфектами и вышитый коврикъ къ кровати—подарокъ внучки, а кругомъ въ симметричномъ порядкѣ разставлены тарелки съ закусками.

— Ну, и къ чему?.. Къ чему?.. Знаютъ, что не люблю—нѣтъ, затѣяли... И все-то, матушка, твои, вѣрно, выдумки...—ворчливо обратилась, вмѣсто привѣта, Софья Николаевна къ дочери.

— Мы, мама, хотѣли тебѣ сдѣлать сюрпризъ, обрадовать.

— Обрадовали! Къ чему? Ты знаешь—не люблю... Ахъ, батюшки, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, благопріятель, здравствуйте!—Софья Николаевна привѣтливо протя-

нула руку генералу.—Спасибо, спасибо, что пришли, вспомнили старуху.

Генералъ почтительно поцѣловалъ поданную руку.

— Хотѣлъ даже рѣчь произнести, — улыбнулся онъ,—такъ торжественно всѣ были настроены, а вы... насъ афраппировали сразу.

— Ужъ простите, батюшка, простите, не могу не оборвать сначала, характеръ такой—бѣда... Ну, и ты прости—не сердись на мать...—добродушно проговорила старуха, цѣлуя Ольгу Петровну.—Егоза, отстань, не прилипай, — ласково отстранила она Марусю. — Фу-у... устала... жарко... силъ нѣтъ... дайте раздѣться-то!..

Маруся стала помогать раздѣваться бабушкѣ.

— А ты, студентъ? Здравствуй... Чего не идешь поздравить бабку-то?..—кивнула по направленью къ небрежно развалившемуся на стулѣ молодому человѣку Софья Николаевна.

Студентъ слегка пожалъ плечами.

— Вы насъ такъ всѣхъ озадачили — не знаешь, какъ подойти...

— Ну, ладно, нечего критику наводить... Скажите, какой робкій!.. Иди и цѣлуй, не разговаривай—знаешь, я не люблю.

Студентъ не то саркастически, не то снисходительно улыбнулся и подойдя лѣнивыми, медленными шагами къ Софьѣ Николаевнѣ, поцѣловалъ ее въ щеку.

— Такъ-то лучше... А то всѣ вы хороши нынче, молодые-то: матерей знать не хотите, не то, что кого другого. Ахъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, благопріятель, прости, золото мое!..—снова ласково протягивая генералу

руку, сказала Софья Николаевна.—Вѣдь это скучно,—семейныя сцены,—да я любя—нельзя не распечь—порядокъ... А чай-то, чай-то... Батюшки, что же это?..

— Я распорядилась, сейчасъ подадутъ, — проговорила Ольга Петровна.

— Ну, вотъ, спасибо. Такъ давайте присаживаться, чѣмъ Богъ послалъ. И зачѣмъ только это все... ахъ, зачѣмъ?.. Вотъ не люблю...

— Однако, бабушка, будетъ, а то мы всѣ сейчасъ начнемъ тебя распекать всей компаніей. Это ни на что не похоже: думали удовольствіе сдѣлать, а вотъ изволите видѣть! — бойко заговорила Маруся, придвигая стулья къ столу и сама садясь около бабушки.

— Ты, финтà, не кудахтай, поцѣлуй меня! Все хорошо и все прекрасно, и я очень рада и всѣхъ благодарю.

— Вотъ всегда такъ,—продолжала Маруся,—сама всѣхъ разстроитъ сперва, а потомъ «все хорошо и все прекрасно»...

— Ахъ, ты! — Софья Николаевна любовно потрепала по щекѣ внучку.—Тоже распекаетъ... Ну, прости коли такъ—видишь, бабка изъ ума выжила, да и немудрено: ломалась всю жизнь, ломалась...

— Бабушка!—вспыхнула Маруся.—Ты меня выведешь изъ себя. Что ты говоришь и когда!..

— Ну, порохъ, ужъ готова,—засмѣялась старуха.—Развѣ не правда? Вотъ и Ѳедоръ Ѳедоровичъ, милѣйшій нашъ, то же скажетъ—поклонникъ старинный: я ломалась, а онъ въ ладоши билъ.

Генералъ укоризненно покачалъ головой.

— Софья Николаевна, вы всегда того... чудачка

были... эксцентричная—подчеркнуть день,—не сегодня... не думать, право, не гадать, не предполагать.

— Ахъ, батюшка, мало ли что Богъ и Гамлетъ говорить: «Есть многое, другъ Горацио, чего не снилось мудрецамъ...» Нѣтъ, я все думаю — просто хотѣлось, чтобы забыли этотъ день... прошелъ бы онъ незамѣтно. А вспомнили... ну, и спасибо, что пришли...

Горничная внесла кипящій самоваръ.

— А-а, вотъ и нашъ домашній затѣйникъ! Давай, давай его сюда, матушка, умираю просто — пить хочу, замучилась въ церкви. Олечка, — обратилась старуха къ дочери, — родная, бьемъ тебѣ челомъ: утоли нашу жажду — похозяйничай... Вотъ ужъ чего никогда не любила и съ молоду-то, а теперь ужъ и Богъ проститъ.

Ольга Петровна начала разливать чай. Это была полная, немного флегматичная брюнетка съ голубыми глазами и мягкими, красивыми движеніями. Говорила она медленно, точно нехотя роняя слова.

— А мы сегодня были съ Марусей у Александра Сергѣевича... Ахъ, какой милый! Онъ ее прослушалъ, нашелъ способности, только сказалъ: пусть кончитъ гимназію и тогда поступитъ къ нему въ школу, сказалъ...

— Экъ у васъ чѣмъ голова набита,—сердито перебила дочь Софья Николаевна.— Зачѣмъ это ей, къ чему?

— Бабушка ты опять? Сама пятьдесятъ лѣтъ служила искусству...

— Ну, что было, то быльемъ поросло и вспоминать нечего; другія птицы — другія пѣсни. Теперь я бы на мѣстѣ твоей матери ..

— Завтра пятьдесятъ лѣтъ, бабушка. Ты не смѣешь!—чуть не со слезами, быстро заговорила Маруся.

Ну, ну, ладно, ладно, — ласково потрепала по щекѣ внучку старуха. — А какія странныя бываютъ вещи,— задумчиво проговорила она. — Вотъ сегодня, напримѣръ: вѣдь люблю я это свое дѣло—всю жизнь отдала, положила всѣ силы, душу, можно сказать, и вдругъ такое на меня сегодня напало непонятное — удивительно! Стою я въ церкви, молюсь, и стало мнѣ стыдно. Не то что грѣхи вспомнила, ну, какіе грѣхи, человѣческіе: позавидовала кой кому и сподлила подчасъ, безъ этого нельзя—вонъ и пишутъ даже умные люди: «борьба за существованье»... Но вотъ что ужасно—начала я думать: зачѣмъ собственно пришла молиться, о чемъ? Вся-то жизнь передъ глазами раскинулась — и стало стыдно... Дѣло?... Что же я собственно дѣлала? Ломалась...

— Бабушка!

— Ахъ, не серди!... Да, ломалась и больше ничего. Пока въ этой сутолокѣ живешь, все кажется, будто серьезное дѣло дѣлаешь, а какъ выйдешь изъ нея, вотъ какъ я теперь, да при старости лѣтъ — будто и стыдно... Да что это, Оля, копаешься — давай мнѣ скорѣй чаю... И не говорите вы ради Бога объ этомъ,— вдругъ нервно оборвала рѣчь Софья Николаевна, — не мучьте меня!...

Всѣ притихли и, точно сконфуженные, стали молчаливо пить чай.

— А вы знаете?... Левъ Николаевичъ дѣло въ судѣ выигралъ... Присудили ему двадцать тысячъ, — прервалъ наконецъ молчаніе генералъ.

— Ну-у? Слава Богу, обрадовалась Софья Николаевна. — Славный онъ, голубчикъ, такой... Да-а... Левъ Николаевичъ... тоже поклонникъ былъ ярый. Она улыбнулась какой-то юной, плутовской улыбкой. Ярый!.. Да вѣдь время-то было какое! Молодость са-ма зеленая... Какъ не вспомнить! Ахъ, да и люди тогда другіе были, все другое... а теперь...

— Ну, ну, не будемъ, не будемъ, а то опять насъ всѣхъ разносить начнете, — шутилъ генералъ.

— Да не васъ же... Какъ это, право, понять не хотятъ... Стара стала, милый, нервы... вспоминаешь, ну и раздражаешься...

— Раздражаться не будемъ и вспоминать лучше не будемъ,

— Нѣтъ, а я знаете, что вспомнила? снова засмѣялась добродушно Софья Николаевна. «Бойкую барыню»!.. Потѣха!... Я первый разъ играла и отъ юнкеровъ стихи получила... даже вашего сочиненія глупые, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, простите, уморительные.

Ѳедоръ Ѳедоровичъ тоже улыбнулся въ отвѣтъ сконфуженной улыбкой.

— Какъ-же, помню, помню... Зато отъ сердца... Молодо и горячо, а ужъ насчетъ ума и литературныхъ достоинствъ хромали стишки, хромали, ваша правда... Мы вамъ овацію тогда какую устроили, а?

— Фуррорную!

— А когда Лизу въ «Горѣ отъ ума» вы играли первый разъ...

— Ахъ, вотъ боялась-то!... А какъ вы тогда неистовствовали, помните?...

— Ну еще бы, да вѣдь послѣ того никто не игралъ

такъ: ни этой правды, ни простоты... А «Школа женщинъ»?... А Дорина?

— Да, я любила Дорину, но позвольте: а «Прежде маменька»? А субретка въ «Капралѣ»? Чѣмъ хуже? А «Весною», а...

— Да, да, да... не говорите...

— А Шарлотта въ «Мальвинѣ»?

— Вотъ тоже прелесть... Грація, изящество... Мы вамъ и тогда, въ одинъ изъ спектаклей, блестящую овацію устроили.

— Ахъ, какъ же... Шарумова злилась—она злючка была — Мальвину играла, а я Шарлотту. Ахъ, потѣха...

Софья Николаевна засмѣялась тихимъ, добродушнымъ смѣхомъ.

— Вотъ видишь, бабушка: тебѣ же пріятно было, ты любила свое дѣло прежде, — вмѣшалась въ разговоръ Маруся, — отчего-же теперь?...

— Кто говоритъ, что не люблю! Сердцемъ болѣю— оттого и злюсь... Тоже что вспомнила, съ чѣмъ сравнила? То былъ театръ... театръ — храмъ... и люди, и все другое; а теперь все не то, не то... Нашла тоже что сказать, заволновалась Софья Николаевна.—Вѣдь какія силы—колоссы: Щепкинъ... Господи, еще Мочалова даже застала, Васильевъ Сергѣй Васильевичъ, Полтавцевъ... Эхъ, вѣдь вспомнить — въ восторгъ придешь! Геніи, творцы!...

Ѳедоръ Ѳедоровичъ молча шагалъ по комнатѣ. Черные глаза Маруси загорѣлись восторженнымъ огнемъ, она такъ и впилась въ бабушку. Студентъ, со скучающимъ видомъ, мѣшалъ ложечкой въ стаканѣ; Ольга Петровна съ аппетитомъ ѣла тортъ, повидимому, не

обращая большого вниманія на разговоръ окружающихъ.

— Д-д-а, — задумчиво устремивъ въ одну точку глаза, произнесла Софья Николаевна,— есть что вспомнить... А удивительное это дѣло — судьба! Вотъ хоть-бы я: значитъ, такая моя судьба была, и ничего не подѣлаешь. Говорятъ: призванье, призванье... Нѣтъ, главное судьба.

— Но вѣдь не можетъ-же быть, чтобы ты не чувствовала призванья — съ живостью встрепенулась Маруся.

— Какъ сказать?... Ахъ, да нѣтъ... просто Богъ судилъ: такъ, значитъ, надо было. И какъ прослѣдишь жизнь человѣческую — точно все это заранѣе предначертано, назначено... Удивленье! Я, напримѣръ, отца не помню, мать жила экономкой у богатыхъ помѣщиковъ; сама барыня меня очень любила, баловала наравнѣ съ своими дѣтьми... Спектакли дѣтскіе затѣвать была охотница, сама и пьесы сочиняла, больше все французскія, и меня заставляла играть: я маленькая болтала по-французски — дѣти вѣдь переимчивы, что обезьяны—потомъ ужъ все забыла, а съ малолѣтства довольно бойко лепетала.

— Ну, хоть одну пьесу помнишь? — допрашивала Маруся.

Софья Николаевна улыбнулась блаженной улыбкой...

— «Красная шапочка», сказка. Представляли мы въ лицахъ. Я была волкъ... Всѣ умирали со смѣху. Гостей много приглашенныхъ на этотъ вечеръ было... И такъ ясно теперь помню всѣ мои впечатлѣнья, точно вчера.

— А сколько тебѣ лѣтъ было?

— Шесть. Ну, послѣ этого моего фурора матери и посовѣтовали опредѣлить меня въ театральную школу. Привезли малютку Божью въ Москву, а тамъ графиня Озерская большое участье тогда въ моемъ дѣлѣ приняла—хлопотала сама и опредѣлила меня въ школу..

— А потомъ?

— Потомъ... батюшка, царство ему небесное,— Софья Николаевна съ благоговѣньемъ перекрестилась,— Щепкинъ, Михаилъ Семеновичъ... Это былъ человѣкъ!— докончила она взволнованнымъ голосомъ.

— Да, да,—съ живостью подтвердилъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ,—ваша правда. Это былъ человѣкъ.. Обаянье таланта...

— Ахъ, нѣтъ,—нетерпѣливо перебила Софья Николаевна,—вы не можете все знать, вѣдь вы говорите такъ, вообще, а я... я другое дѣло: онъ былъ моимъ учителемъ, отцомъ, другомъ... Я его знала въ школѣ, знала дома, принята была у него въ семьѣ, какъ родная; такъ я могу говорить...

— Да что-же вы волнуетесь, дорогая моя,—кротко, точно извиняясь, произнесъ генералъ,—я только согласился съ вами.

— Нѣтъ, продолжала восторженно Софья Николаевна,—надо было знать его близко, видѣть въ школѣ, напримѣръ. Любилъ онъ насъ больше, чѣмъ отецъ, берегъ, холилъ, всегда ласковъ, ни одного рѣзкаго слова, и мы, дѣти, такъ и рвались къ нему навстрѣчу. Онъ съ нами, съ малышами, занимался, стихи заставлялъ читать, басни.. Урокъ, бывало, наслажденье: вдохновляешься, горишь вся и такъ и смотришь, смо-

тришь ему въ глаза... Глаза у него удивительные были, читаешь въ нихъ какъ въ книгѣ... И если доволенъ,— кажется, рада, бывало, жизнь свою за этотъ мигъ отдать; а увидишь въ нихъ, въ этихъ глазахъ, тамъ далеко, на днѣ гдѣ-то грустное такое, озабоченное выраженье—ну, значитъ, твое дѣло плохо — огорченъ Михаилъ Семеновичъ... А потомъ ужъ взрослая я у него въ домѣ бывала. Молодежи всегда у него собиралось много — онъ страсть какъ молодежь любилъ, и мы его не за старика, а точно за сверстника своего считали: куралесимъ, хохочемъ... и онъ бывало добродушно такъ съ нами тутъ же вмѣстѣ шутитъ, смѣется... Зато другой разъ придешь — грустенъ Михаилъ Семеновичъ, почти ни съ кѣмъ не разговариваетъ, все ходитъ по комнатѣ и декламируетъ себѣ подъ носъ:

„Честь и слава всѣмъ трудамъ,
Слава каждой каплѣ пота,
Честь мозолистымъ рукамъ,
Да спорится въ нихъ работа!“.

Это стихи изъ «Жакартова станка» — онъ ихъ очень любилъ. А бывало, объ искусствѣ рѣчь зайдетъ— весь преобразится: говоритъ вдохновенно, голосъ дрожитъ, на глазахъ слезы... И на всю-то жизнь такъ и запечатлѣлись его слова въ моемъ сердцѣ... И чѣмъ только онъ не интересовался, чего не зналъ... Большой былъ умъ! Бывало, соберутся у него профессора, литераторы, покойный Грановскій, старикъ Аксаковъ...

Софья Николаевна остановилась. Кто-то постучалъ въ дверь.

— Войдите! - проговорила она, съ неудовольствіемъ прерывая свои воспоминанія.

На порогѣ показался мальчикъ изъ магазина. Онъ держалъ въ рукахъ довольно высокій картонъ.

— Что такое?

— Цвѣты-съ.

Маруся вскочила и съ своимъ обычнымъ проворствомъ, открывъ крышку картона, вынула оттуда чрезвычайно изящный букетъ съ широкой, красной, муаровой лентой; къ лентѣ была приколота маленькая визитная карточка и на ней тонкимъ, размашистымъ почеркомъ написано: «Представительницѣ лучшаго стараго времени. Генералу — отъ рядоваго, Елены Зотовой».

Мальчикъ изъ магазина нерѣшительно и медленно надѣвалъ картузъ на голову, собираясь уйти.

— Ахъ, да,—засуетилась Софья Николаевна,—сейчасъ, голубчикъ, совсѣмъ забыла, вотъ возьми на чай.

Мальчикъ взялъ деньги, нескладно поклонился и вышелъ.

— Ну, показывай, Маруся, что это выдумали всѣ баловать меня сегодня — и не къ лицу будто.

Софья Николаевна надѣла очки.

— Карточка отъ Зотовой. Ахъ, добродѣтельная фея. И вездѣ-то поспѣетъ эта представительница новаго времени... Отзывчивая душа! — язвительно усмѣхнулась старуха.

— Бабушка, это сама Елена Дмитріевна прислала, вотъ прелесть-то! Ахъ, милушка, я ее обожаю! Это такая моя слабость... — весело трещала Маруся.

— Эхъ!... не знаю... или я отстала... или, право, все это не то...

— То-есть, что-же собственно? — недоумѣвая спро-

силъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ. — Это очень мило съ ея стороны... вниманіе...

— Нѣтъ, я не по поводу букета, я собственно о ней самой вспомнила: право, все было прежде какъ-то по иному — никакихъ этакихъ реверансовъ... Кто говоритъ — не ангелы тоже были: и завидовали, и интриговали, да какъ-то все это проще было, по крайней мѣрѣ не рисовались, притворства не было.

— Ты, мама, сегодня такъ настроена — все не по твоему, всѣмъ недовольна, — замѣтила молчавшая до сихъ поръ Ольга Петровна.

— Нѣтъ, милая, — тихо отвѣтила Софья Николаевна, — мнѣ просто грустно. — Двѣ непрошенныя слезинки сверкнули въ ея глазахъ. — А сегодня... ты правду сказала: сегодня день тяжелый. Ѳедоръ Ѳедоровичъ, — она взглянула поверхъ очковъ на генерала, — вамъ это понятно: ровесники вѣдь мы съ вами, да?

Я нахожу, напротивъ, вы должны гордиться, радоваться — удовлетвореніе...

— Чего?

— Какъ чего?! Ну... ну, самолюбія, гордости... Сознанія, наконецъ, что не даромъ прошла жизнь.

— Вотъ вы и сказали, что нужно: прошла, милый, прошла — шестьдесятъ-седьмой стукнулъ... скоро пожалуй и того.. конецъ... Пятьдесятъ лѣтъ пронеслись какъ недѣля... пятьдесятъ... Труда? Нѣтъ, право, не знаю, какъ назвать: горячки какой-то — вотъ въ чемъ ужасъ; а вы говорите объ удовлетвореніи... Маруся, родная, дай мнѣ платокъ — не знаю, куда свой задѣвала, — вынь изъ комода, слезы вотъ дурацкія вытерать.

На порогѣ показался мальчикъ изъ магазина. Онъ держалъ въ рукахъ довольно высокій картонъ.

— Что такое?

— Цвѣты-съ.

Маруся вскочила и съ своимъ обычнымъ проворствомъ, открывъ крышку картона, вынула оттуда чрезвычайно изящный букетъ съ широкой, красной, муаровой лентой; къ лентѣ была приколота маленькая визитная карточка и на ней тонкимъ, размашистымъ почеркомъ написано: «Представительницѣ лучшаго стараго времени. Генералу — отъ рядоваго, Елены Зотовой».

Мальчикъ изъ магазина нерѣшительно и медленно надѣвалъ картузъ на голову, собираясь уйти.

— Ахъ, да,—засуетилась Софья Николаевна,—сейчасъ, голубчикъ, совсѣмъ забыла, вотъ возьми на чай.

Мальчикъ взялъ деньги, нескладно поклонился и вышелъ.

— Ну, показывай, Маруся, что это выдумали всѣ баловать меня сегодня — и не къ лицу будто.

Софья Николаевна надѣла очки.

— Карточка отъ Зотовой. Ахъ, добродѣтельная фея. И вездѣ-то поспѣетъ эта представительница новаго времени... Отзывчивая душа! — язвительно усмѣхнулась старуха.

— Бабушка, это сама Елена Дмитріевна прислала, вотъ прелесть-то! Ахъ, милушка, я ее обожаю! Это такая моя слабость... — весело трещала Маруся.

— Эхъ!... не знаю... или я отстала... или, право, все это не то...

— То-есть, что-же собственно? — недоумѣвая спро-

[illegible] Федоръ [illegible] — [illegible]

[illegible]

— Нѣтъ [illegible]

[illegible]

— [illegible]

— Нѣтъ [illegible]

Я [illegible]

— Чего?

— Какъ чего? [illegible] знанія. наконецъ, [illegible] не [illegible]

— Хоть вы [illegible] дый, прошла — [illegible] пожалуй и [illegible] конецъ... [illegible] ся какъ недѣля... [illegible] не знаю, какъ назвать [illegible] чемъ ужасъ; а вы говорите [illegible] руся, родная, дай мнѣ платокъ — не знаю, [illegible] задѣвала, — вынь изъ комода, слезы [illegible] вытерать.

Маруся молча подала платокъ бабушкѣ.

— Ѳедоръ Ѳедоровичъ, современникъ! Не хмурь лобъ-то,—улыбаясь сквозь слезы и перейдя вдругъ на ты, обратилась старуха къ генералу. — Ну, ну, старина, не огорчайся: все придетъ къ концу, и мы съ тобой также сгніемъ въ могилѣ, а на могилахъ у насъ цвѣты вырастутъ, и цвѣты завянутъ, и опять новые вырастутъ... Нѣтъ, впрочемъ, довольно! Что это я за панихиду завела! Ѳедоръ Ѳедоровичъ, милый! У васъ юбилей былъ вѣдь тоже?

— А? Что? — встрепенулся совсѣмъ уже мрачный Ѳедоръ Ѳедоровичъ. — Юбилей? Ну да, да, конечно. Развѣ вы не помните?

— Что же вы чувствовали?

— Что?... Хорошо очень... немножко грустно... минутами тѣ же мысли, что и у васъ... воспоминанія... итоги.. Но въ общемъ хорошо: я такъ былъ радъ вниманію со всѣхъ сторонъ... такъ тронутъ.

— Чѣмъ?

— Вниманіемъ!... Отъ друзей, товарищей, знакомыхъ.

— Такъ, такъ, такъ... И я была тронута, пожалуй: вотъ вы пришли... Ольга тутъ... Хоть и оборвала (все нервы и характеръ такой несдержанный), но тронута была — не утаю... А вотъ это,—она указала на букетъ, — меня злитъ и обидно до слезъ.

— Но почему же, почему?

— Вы говорите: товарищи, не знаю, какъ у другихъ, а въ нашей средѣ это — проклятое слово. Да, не удивляйтесь: проклятое! Ужъ среда, что ли, такая, не знаю, — говорю, что есть. Напримѣръ, юбилей:

«Какъ же, надо товарищамъ откликнуться, — иначе, что скажетъ общество? Ну ее, старуху! Собственно говоря хлопоты и скука, но товарищамъ нельзя, надо поддержать» .. И все это фальшиво, неискренне, съ напускной торжественностью... издѣвательство какое-то. И къ чему? Забыли бы меня въ моемъ углу, не прошу я о себѣ помнить и не надо мнѣ никого.

— Мнѣ кажется вы... какъ сказать... строги очень, несправедливы.

— Вѣчная исторія борьбы стараго поколѣнія съ современнымъ строемъ, — поправивъ pince-nez, небрежно проронилъ студентъ.

— Ну, ты не язви, — повернула къ нему свое взволнованное лицо Софья Николаевна, — молодъ, зеленъ и не тебѣ судить... Ѳедоръ Ѳедоровичъ, вотъ мы говорили о юбилеяхъ. Не знаю, но мнѣ кажется, всегда въ такихъ случаяхъ бываетъ обыкновенно иное настроене: всѣ соберутся, забыто все скверное, и юбиляръ, какъ покойникъ,—хорошій человѣкъ. Ну... обѣдъ, что ли тамъ... ужинъ... пьютъ, говорятъ рѣчи... разойдутся, и всѣмъ весело, и главное, безъ всякаго умиленія. А здѣсь нѣтъ — здѣсь, прежде всего, умиленіе передъ заслугами, которыхъ не признаютъ, передъ талантомъ, который въ душѣ отрицаютъ, потому что каждый вѣритъ только въ свой. Притворныя пожатія рукъ, притворныя сладкія улыбки, или вотъ надписи трогательныя,—она презрительно показала снова на букетъ. — Вѣдь какъ пишетъ, развѣ это не трогательно? А въ душѣ надо мной же смѣется, потому что не признаетъ никого, кромѣ себя: *она* только талантъ была, есть и будетъ — обожаетъ себя,

молится на себя и вретъ, вретъ, вретъ на каждомъ шагу, да еще думаетъ, что ей кто-нибудь вѣритъ... Право!... Всѣхъ за дураковъ считаетъ... вѣдь это возмутительно!

— Ну, бабушка теперь все разносить начнетъ,—проговорила недовольнымъ голосомъ Маруся.

Софья Николаевна пропустила мимо ушей замѣчаніе внучки.

— Вѣдь вотъ что самое ужасное во всемъ этомъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, — продолжала она, попрежнему преимущественно обращаясь къ генералу: — ужасно, когда отойдешь, какъ я, въ сторону и оглянешься безпристрастно на прошлое, безпристрастно потому, что когда дѣйствуешь, учишь роли, ничего этого не видишь, а когда вотъ какъ я теперь: живетъ себѣ обыкновенная старушка, въ меблированныхъ комнатахъ, скатерти вяжетъ, книжки, газеты почитываетъ, чаекъ пьетъ, въ церковь ходитъ, — да какъ посмотришь изъ этого своего угла на Божій міръ — какая все это безсмысленная толчея. А тамъ, на этихъ подмосткахъ, гдѣ я думала, что дѣлала какое-то дѣло — еще гнуснѣе: такъ, дѣло отъ бездѣлья, а тутъ отдано — шутка ли сказать — полвѣка жизни и сколько горя, сколько слезъ, сколько ночей безсонныхъ!.. Ахъ, когда все это вспомнишь — и тяжко и горько станетъ... Вотъ писатель, художникъ — счастливѣе, право; работаютъ свободно, что хотятъ, какъ хотятъ, а тутъ выучишь глупыя чужія слова — (вѣдь Гоголи, Грибоѣдовы да Островскіе не каждый годъ родятся, батюшка), — и все повторяешь и обманываешь честной народъ — выдаешь за умное да за благородное... Какое

же это свободное искусство?... Но одна радость: по крайней мѣрѣ вѣра, любовь была, что-то наивное, искреннее, да и вся обстановка и всѣ люди были тогда, правду сказать, какъ то лучше, чище, оттого и вспомнить все-таки радостно... И молодость была — это главное. Такъ зачѣмъ же тревожить мертвыхъ, бередить старыя раны? Зачѣмъ эти фальшивыя привѣтствія? Не нужно мнѣ ничего, пусть оставятъ меня въ покоѣ...

Въ дверь снова постучали.

— Войдите.

Въ комнату вошли трое: двое мужчинъ и молоденькая блондинка лѣтъ семнадцати. Одинъ изъ вошедшихъ былъ актеръ; бритое лицо его было блѣдно и сильно потрепано; большіе, сѣрые красивые глаза смотрѣли самодовольно, даже нахально, и онъ тщетно силился придать имъ мягкое, симпатичное выраженіе. Спутникъ его, маленькій, юркій человѣкъ съ бѣгающими быстро глазами, улыбающимся лицомъ и кокетливой бородкой — видимо очень довольный своей особой — подошелъ къ Софьѣ Николаевнѣ и низко наклонилъ свою, бобрикомъ стриженую головку.

— Позвольте представиться: Уховецъ, поклонникъ вашего таланта; прошу извинить мою смѣлость, но всѣмъ, кому дорого русское искусство, имя ваше близко, какъ родное... Сергѣй Львовичъ сказалъ мнѣ, что вы такая милая, не примете за дерзость, мой визитъ въ эту пору — намъ хотѣлось привѣтствовать васъ раньше другихъ, и мы рѣшились...

— Благодарю васъ, батюшка, сухо проговорила недовольная этимъ посѣщеніемъ Софья Николаевна, она не любила молодого актера, и неожиданное по-

явленіе его да еще со спутниками непріятно взволновало ее. — Присаживайтесь, чѣмъ Богъ послалъ... Позвольте познакомить: моя дочь, внучка, внукъ... Ѳедоръ Ѳедоровичъ Ковальскій...

— Очень пріятно, — развязно протянулъ руку молодой актеръ, еще не здороваясь съ хозяйкой и не ожидая своей очереди быть представленнымъ: — Силинъ... Я такъ много слышалъ о васъ отъ генерала Николая Петровича Волкова... мы съ нимъ пріятели... чудная личность! Вѣдь вы, господа, вы — послѣдніе могикане, вы — живые памятники нашего великаго прошлаго!... Знаете ли, какъ намъ, молодежи, всѣ вы дороги?! — говорилъ онъ восторженно, съ напускнымъ паѳосомъ, видимо желая казаться молодой, свѣжей натурой; но все это выходило неестественно, натянуто и только нахально.

— Софья Николаевна, — обратился онъ къ хозяйкѣ,—вы великая артистка, но главное — хорошій человѣкъ, и вотъ этому артисткѣ-человѣку я, какъ товарищъ...

Едва замѣтная усмѣшка пробѣжала по губамъ старухи.

— Какіе же мы, батюшка, съ вами товарищи?...

— Я очень хорошо понимаю: разница лѣтъ,—почтительно перебилъ ее Силинъ,—но мы служимъ однимъ богамъ, насъ связываетъ одно общее дѣло, и мнѣ, молодому представителю уже новой эры, вы дороги какъ носительница традицій лучшаго времени и, опять повторяю, какъ артистка и человѣкъ. Вотъ завтра явятся къ вамъ офиціальныя депутаціи, но я, вы знаете, врагъ всего показного, и мнѣ хотѣлось, наканунѣ

торжественнаго для васъ дня, принесите свое неподкупное, душевное привѣтствіе! Ну-съ, а теперь позвольте вамъ представить барышню, — онъ подвелъ къ хозяйкѣ стоявшую въ смущеніи у двери молодую дѣвушку: — Вѣра Григорьевна Торбина, большой талантъ, ученица Александра Сергѣевича, а главное,— человѣкъ... человѣчекъ-то ужъ очень хорошій .. Приласкайте ее, Софья Николаевна и ободрите.

Барышня, взволнованная и сконфуженная, посмотрѣла какими-то умоляющими глазами. Видъ этого ребенка тронулъ старуху.

— Садитесь, милочка, — проговорила она ласково,— очень рада, садитесь вотъ тутъ, рядкомъ съ Марусей: моя внучка, такой же цыпленокъ неоперившійся, что и вы... Садитесь.

Барышня зардѣлась еще больше, улыбнулась счастливой, дѣтской улыбкой и робко сѣла на указанный ей стулъ.

— Вы ученица Александра Сергѣевича?

— Да,—едва слышно прошептала барышня и, не зная, какъ справиться съ своимъ смущеніемъ, стала поправлять дрожащими руками шляпку на головѣ.

— Давно?

— Н-нѣтъ... давно... т. е. первый годъ. Я изъ провинціи... я прежде...

— Вѣра Григорьевна—маленькій герой, фанатикъ,— вмѣшался Силинъ, — она почти убѣжала отъ родителей, чтобы посвятить себя сценѣ.

Барышня опустила внизъ свои большіе, красивые глаза.

Софья Николаевна укоризненно покачала головой:

— Ай-ай-ай; крошечка! Какъ же это вы? Зачѣмъ?

— Призванье, — прерывающимся голосомъ проговорила Торбина, — призванье... Я... я играла еще въ гимназіи... «На хлѣбъ и на воду»... у насъ спектакль былъ... благотворительный... всѣ нашли у меня талантъ... посовѣтовали на сцену... Потомъ... потомъ я пошла къ Лукиной... у насъ въ театрѣ была примадонна... прочла стихи, и она тоже меня очень похвалила... А еще Ястребъ-Орлеанскій, драматическій герой, посовѣтовалъ мнѣ написать письмо сюда Зотовой... я написала... и вдругъ отъ нея телеграмма: «Благословляю васъ на трудный подвигъ. Пріѣзжайте». Мама плакала—не пускала... Папа тоже.. Потомъ согласились, на дорогу денегъ дали... а тутъ у меня тетя, и мнѣ обѣщаютъ стипендію...

— Ну, а у Зотовой вы тоже были?

— Была,—сконфуженно произнесла Торбина,—два раза... не приняли... а въ театрѣ подойти не смѣла...

— Ай-ай-ай!—снова покачала головой Софья Николаевна. — Кажъ же это вы?

— Я ничего не боюсь, — продолжала съ увлеченіемъ, уже переставшая смущаться Торбина.—Когда есть призваніе, чего же бояться?... Я буду бороться... Конечно, мнѣ трудно, очень трудно пока... у тети денегъ нѣтъ... мама, папа у меня тоже небогатые, высылать не могутъ, но я надѣюсь на стипендію, а когда кончу, буду получать большое жалованіе, и тогда сразу поправятся дѣла.

— А вы увѣрены, что сейчасъ же получите большое жалованье?—насмѣшливо спросилъ студентъ.

Барышня снова смутилась.

— Я не знаю... но говорятъ... вотъ Сергѣй Львовичъ,—она указала на актера, — тоже говоритъ; не нужно только на казенную, а на частную... Вотъ въ прошломъ году кончила у Александра Сергѣевича — Сабинская... такъ она служитъ уже большое жалованье получаетъ, и Сергѣй Львовичъ...

— Позвольте,—съ легкимъ раздраженіемъ перебилъ ее Силинъ,—я не говорилъ вамъ такой нелѣпости: сразу большое жаловалье. Напротивъ, я совѣтовалъ какъ можно больше терпѣнья. Работайте, у васъ призванье, огонекъ, работайте упорно, вѣрьте въ святость дѣла, въ принципы искусства... Смѣло идите навстрѣчу борьбѣ... развивайте собственное... собственное... самосознаніе... самочувствіе... Это лучшіе импульсы, чтобы идти впередъ. Тогда явятся результаты и вы выбьетесь на дорогу... Только надо быть прежде всего оригинальной въ пріемахъ... Сабинская— это особая статья и вамъ далеко не примѣръ.

Барышня съ испугомъ слушала эту горячую, но довольно безтолковую тираду, и готова была расплакаться. Софья Николаевна нахмурила брови, присутствіе и тонъ непрошеннаго гостя раздражали ее.

— Милая вы моя дѣвочка,—она ласково взяла за руку молодую дѣвушку,—послушайте старуху: вонъ у меня такой же несмышленокъ сидитъ,—указала она головой на Марусю,—такъ вотъ слушайте: пришли вы меня поздравить—спасибо—я цѣню и чувствую... Можетъ-быть, вамъ сказали, что я васъ ободрю и похвалю—это напрасно. Вотъ мой совѣтъ: идите домой, пишите письмо къ отцу, къ матери, чтобы высылали вамъ на дорогу, и поѣзжайте съ Богомъ обратно.

Молодая дѣвушка смотрѣла большими, изумленными глазами; въ нихъ былъ и испугъ, и нѣмая мольба.

— Бабушка! — вскипѣла Маруся, вскакивая съ мѣста. — Это ни на что не похоже. Ну, ты можешь меня, меня—я все равно не посмотрю, но здѣсь... Какое ты имѣешь право разбивать, уничтожать...

— Мы къ вамъ пришли за живымъ словомъ ободренія и призыва,—вмѣшался Силинъ.—Какъ въ первыя времена христіанства убѣжденные призывали къ борьбѣ съ невѣжествомъ и тьмой, какъ въ періодъ паденія римской имперіи ..

— Ну, батюшка, довольно!—остановила его Софья Николаевна.—Говоришь красно, но не въ этомъ дѣло: и безъ тебя знаютъ о временахъ христіанства и о римской имперіи, всѣ мы тутъ люди грамотные, ничего себѣ, слава Богу... Мы говоримъ о нашемъ жалкомъ, бѣдномъ русскомъ театрѣ—современномъ, ничтожномъ, и громкія слова сюда какъ-то не идутъ.

— Но почему же жалкомъ? Почему ничтожномъ? Если сплотиться всѣмъ воедино, горячо служить дѣлу, бороться, съ гордостью нести знамя искусства...

— Ну, и несите, кто вамъ мѣшаетъ, а я нахожу, что по нынѣшнимъ временамъ это не знамя, а пыльная тряпка какая-то и ничего общаго съ искусствомъ не имѣетъ, и всякій честный, уважающій себя человѣкъ долженъ не поощрять вотъ такихъ несмышленковъ, какъ эта милая барышня, а открыть ей глаза и сказать: уйди! Жалко молодыя, свѣжія силы! Вѣдь на что-нибудь пригодятся онѣ—на дѣйствительную пользу. Помилуйте! Теперь женщинѣ сколько дорогъ открыто,

за что же ее обрекать на безсмысленное толченье воды въ ступѣ, на безплодную трату силъ?

— Но почему же безсмысленное, почему безплодную?

— Положимъ, театръ упалъ, кто говоритъ,—вставилъ свое слово Ѳедоръ Ѳедоровичъ,—кто помнитъ старое—неудовлетворенъ, но мнѣ кажется, если есть талантъ...

— Ахъ, батюшка мой,—съ живостью обернулась въ его сторону Софья Николаевна,—не надо теперь таланта, тутъ ему дѣлать нечего... Вы говорите: упалъ театръ,—и вы, и другой, и третій... и всѣ говорятъ и пишутъ: упалъ, а ничего не подѣлаешь... Кто виноватъ: общество ли, время? Можетъ-быть, этого театра, такого, каковъ онъ есть, совсѣмъ не нужно, можетъ-быть обновленье необходимо—вонъ говорятъ всѣ: народный нуженъ. Можетъ-быть, и правда: настанетъ часъ, и онъ самъ собой создастся, сильный, новый, необходимый обществу и государству, а теперь у насъ театръ безъ субсидіи нигдѣ существовать не можетъ. Какое же это дѣло? Полезное общественное учрежденіе?..

— Но если любишь больше жизни, если готова пожертвовать всѣми силами и бороться!—воскликнула почти съ отчаяніемъ Торбина.

— Съ кѣмъ, съ чѣмъ бороться, милушка? Какая тутъ борьба? Попадете туда и сгинете, вотъ вамъ и борьба ваша... Э, да много теперь разнаго народу за совѣтомъ ко мнѣ приходитъ, и всѣ на сцену, вотъ какъ вы — повальная болѣзнь какая-то! Придетъ за совѣтомъ (все равно не послушаетъ) самоувѣренная, расфранченная—трещитъ, трещитъ: видѣлъ ее такой-

то, хвалилъ такой-то, и протекція-то у нея большая, и поступитъ она безъ дебюта, прямо на первыя роли... Ну, это еще безвредная,—такъ, шальная какая-нибудь бабенка: либо денегъ много—хочетъ позабавиться, либо съ мужемъ разошлась и не знаетъ куда дѣваться... Но есть и другія—вотъ то опасныя: трещать она не будетъ, говоритъ серьезно, будто скромно — это убѣжденная, отмѣченная, значитъ, Богомъ,—вотъ тутъ ужъ, батюшка, и времена христіанства, и римская имперія—все есть. Девизъ у этой скромницы: цѣль оправдываетъ средства. Тутъ Рашель, Ристори, Сара Бернаръ только вспомогательныя ступени для новаго будущаго свѣтила. Вотъ такимъ я прямо говорю: идите! Ихъ время, ихъ царство... Такой и бороться нечего ко двору!

— А въ ваше хваленое время такихъ развѣ не было?

— Нѣтъ, батюшка, въ наше время съ девизами ничего подѣлать было нельзя, талантъ нуженъ былъ, батюшка, талантъ. Кто знаетъ, можетъ, были въ душѣ и подлыя, и завистливыя, но безъ таланта — ни-ни. Эти самыя традиціи, за которыя вы пришли меня привѣтствовать, такъ вотъ эти-то традиціи ходу не дали-бъ.

— И теперь безъ таланта не пробьешься.

— Нѣтъ, ужъ извините... Вотъ что я вамъ скажу: было неважно, все шло къ упадку и къ упадку, но за послѣднее время не знаю, что и творится... Поѣхала какъ-то въ театръ, захотѣлось взглянуть, давно не была. Пріѣхала, сижу, смотрю—ничего не понимаю: все новые какіе-то, незнакомые, да словно я на любительскомъ спектаклѣ, право! Ни стать, ни сѣсть, ни

говорить путемъ не умѣютъ. Я и спрашиваю — подошелъ тутъ ко мнѣ актерикъ, изъ маленькихъ: «Что это, батюшка, объясни, сдѣлай милость: кто эта рыженькая и зачѣмъ ей такую отвѣтственную роль дали?» — «Ученица Александра Сергѣевича, любимая», отвѣчаетъ онъ таинственно. «А эта вонъ, долговязая — понять нельзя, что говоритъ?« — «Влюбленъ въ нее Матвѣй Павловичъ...» Тьфу ты пропасть! Я разозлилась и ушла. Смотрѣть противно. Вотъ вамъ и боритесь!

— Мнѣ кажется, вы ошибаетесь—вкрадчиво вступилъ въ разговоръ молчавшій до того Уховецъ.—Вы, если позволите, слишкомъ къ намъ строги: и у насъ есть имена, есть даровитые люди, горячо преданные дѣлу и завоевавшіе себѣ положеніе исключительно талантомъ.

— Есть, батюшка, я не отрицаю, да мало... И что могутъ подѣлать единицы?.. Есть, правда: вотъ Струкинъ, Кириллова, Поповъ.

— А Елена Дмитріевна?

— Н-ну, она...

— Помилуйте, развѣ она не талантъ, развѣ не любитъ свое дѣло?

— Талантъ, пожалуй, есть, не спорю, да толку въ этомъ мало, а любви къ дѣлу, извините, не вижу. Это, батюшка, не велика штука: самой о себѣ кричать. Всѣ сейчасъ и повѣрятъ, только кричи... Нѣтъ— ты докажи на дѣлѣ, фразами-то васъ не проведешь... Какая же это любовь? Фанаберія одна, жажда первенства и ничего больше. Ну, попробуйте, заговорите съ ней объ искусствѣ, о роляхъ... Одинъ разговоръ:

въ четвертомъ актѣ удивительное платье, во второмъ поразительный капотъ, да бахвальство: двѣсти рублей, пятьсотъ, тысячу... Такъ развѣ въ этомъ дѣло? Мы вотъ кромѣ коленкороваго чехла да кисейной покрышки другихъ платьевъ не знали... И въ восторгъ приводили, и плакать заставляли! Эхъ!..

— Но вы забываете одно, Софья Николаевна,— горячился Силинъ,—требованья современной интеллигенціи. Вотъ вы тогда французскими мелодрамами пробавлялись, а теперь другіе запросы отъ актера и отъ автора, теперь импонируетъ реализмъ, нужна дѣйствительная жизнь, а не слезоточивая французская стряпня...

— Комикъ, батюшка, комикъ, ей-Богу!—язвительно засмѣялась Софья Николаевна.—Не только одну мелодраму, милый, мы и Шекспира, и Мольера поигрывали—чѣмъ не авторы?.. Что жъ, и мелодрамѣ тоже своя очередь была... Да ваши-то современныя драмы, вы думаете, дѣйствительная жизнь?.. Послѣ Островскаго засохли, завяли совсѣмъ... не впередъ, а назадъ пошли... Французская мелодрама—та безъ претензій по крайней мѣрѣ: злодѣй такъ злодѣй, добродѣтель такъ добродѣтель, и всегда трогаетъ, всегда дѣйствуетъ на добрыя душевныя чувства; а ваши авторы: напишетъ какую-нибудь злокачественную чушь, но съ претензіей непремѣнно: тутъ и непонятная женская натура, и семейный раздоръ, и незаконныя дѣти—чортъ знаетъ—каша какая-то, и навязываютъ ее зрителю: смотри, молъ, наслаждайся... Возмутительно!.. Сочинитъ новый геній ерунду и начнетъ поучать съ подмостковъ людей гораздо умнѣе себя. Возмущаться надо

и протестовать, а не пѣть въ одну дудку съ вашими авторами.

— Я съ вами не согласенъ, нѣтъ, не согласенъ! Жизнь идетъ впередъ... культура... реализмъ повсюду... Вотъ и Легуве говоритъ...

— Ахъ, оставь ты меня, батюшка, съ своимъ Легуве. Легуве, Легуве!.. Ты мнѣ талантъ покажи, ты мнѣ правду дай, настоящую, а гдѣ талантъ, тамъ и правда, безъ всякаго Легуве будетъ... Да на сцену-то идешь—трепещи, а не воображай, что поучать идешь. Щепкинъ, бывало, съ трепетомъ къ каждой роли приступалъ—Щепкинъ! А нынче что? Сегодня мимо театра прошелся, а на завтра ужъ — глядь — Гамлетъ такъ Гамлетъ, Отелло такъ Отелло, ужъ—играетъ!..

— И отлично,—продолжалъ кипятиться Силинъ,— я совсѣмъ не понимаю этого холопства передъ авторитетами: если такой-то и такой-то когда-то тамъ выступали въ этой роли — такъ я не смѣй! Почему? Я скорѣй склоненъ думать, что мы преувеличиваемъ талантъ Мочалова и другихъ... Мы ихъ не видали, не знаемъ, можетъ быть, явись они теперь — ихъ освистали-бы.

— Вотъ одолжилъ... одол-ж-илъ, милый человѣкъ, освистали бы, пожалуй и впрямь освистали бы. Если вамъ хлопаютъ — ихъ освистали бы. Смотрѣла тоже вашу игру, батюшка, въ какой-то пьесѣ... дай Богъ память... ну, да все равно... Вы правы: Мочалова освистали бы!..

— Мама!—укоризненно замѣтила Ольга Петровна.

— Я что жъ? Я соглашаюсь...

— Но меня признала толпа, признаетъ современ-

ная критика, и мнѣніе, несовсѣмъ даже безпристрастное, мнѣ безразлично. Если публика...

— Э-э-э, батюшка, критикой нынче никого не удивишь: все друзья, пріятели, знакомые — извѣстное дѣло; а публика... всегда дитя малое было; отвыкла отъ хорошаго наша публика, всякій вкусъ потеряла. Молодежь выросла на ломакахъ да на бездарной белибердѣ, съ нея нечего и спрашивать. Въ наше время, помню я, студенты были—посмѣй только что-нибудь — театръ разнесутъ, а нынче... вонъ сидитъ,-- указала она на внука, — распорядителемъ тоже на вечерѣ на студенческомъ былъ: пригласили какую-то дѣвицу — позоръ! Читала стихи—понятія не имѣетъ. Ну, зачѣмъ, спрашиваю, привезли этого идола? Нельзя, говоритъ, въ нее влюбленъ Иванъ Петровичъ, такъ если онъ участвуетъ—и она должна участвовать. Какое же это студенчество? Ничтожество, пигмеи.

— Ой-ой-ой! Однако, какъ вы разносите бѣдную публику! Не щадите насъ грѣшныхъ,—шутливо вмѣшался Уховецъ, наклонивъ на бокъ свою бобриковую головку.

— Льстить, батюшка, съ молоду не привыкла, а теперь и не къ лицу—шестьдесятъ шесть на плечахъ ношу—не шутка! Да развѣ неправда? Неправда? Вотъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ живой человѣкъ—пусть скажетъ! Бывало изъ театра придутъ—весь вечеръ полонъ разговоровъ объ исполнителяхъ, замѣчательныхъ моментахъ... А нынче—какія ваши впечатлѣнія? Вы бѣдные и жалко васъ: бѣлое платье, желтое платье, бальное платье, вышитый капотъ... Что жъ, вы не виноваты.. И не скажу, чтобы вы не хотѣли лучшаго: спросишь

того, другого - довольны? Нѣтъ не удовлетворены,—а молчите. Ну, протестуйте, кричите, требуйте! Нѣтъ, безличная нынче публика!

— Любопытно было бы, если бы воскресли Щепкинъ, Мочаловъ, Шумскій, Самаринъ—вотъ-бы обличительный хоръ грянулъ, оглушили бы совсѣмъ, — ввернулъ свое слово Силинъ.

Софья Николаевна вздрогнула, глаза ея вспыхнули недобрымъ огнемъ.

— Нѣтъ, батюшка мой, не стали бы метать бисера...

— Мама! вступилась опять Ольга Петровна.

— Я что жъ, Олечка, я отвѣчаю. Вотъ что, молодой человѣкъ,—уже громкимъ, слегка дрожащимъ голосомъ, обратилась она къ Силину,—я виновата, позволила себѣ говорить слишкомъ откровенно—минута нашла такая, но мнѣ шестьдесятъ шесть лѣтъ, я пятьдесятъ—слышите!—пятьдесятъ лѣтъ положила на дѣло, которому вы служите и говорите, что любите... Я безъ слезъ не могу произнести имена Щепкина, Мочалова, Садовскаго... и ужъ при мнѣ, въ моей квартирѣ, какому-то щенку такъ говорить о нихъ я не позволю и прошу васъ...

— Но что же я сказалъ, я шутилъ... что-же я собственно сказалъ? Не понимаю, — сконфужено бормоталъ струсившій Силинъ.

— Зачѣмъ вы пришли ко мнѣ? Зачѣмъ? – задыхающимся голосомъ продолжала Софья Николаевна.— Ломаться, рисоваться?! Чужихъ заслугъ вы не признаете, авторитетовъ у васъ нѣтъ, дорогихъ сердцу святынь нѣтъ... Зачѣмъ вы пришли? Уходите, прошу васъ уходите...

— Мама!.. — Софья Николаевна!..—Бабушка!—посыпалось со всѣхъ сторонъ.

— Ахъ, да не элите вы меня!—вспыльчиво вскрикнула Софья Николаевна. Не могу я выносить такихъ нахаловъ, не могу!

Силинъ, блѣдный, стоялъ посреди комнаты и съ растерянным видомъ натягивалъ дрожащими пальцами перчатку на руку.

— До свиданья... Извините... Пойдемъ, Уховецъ... Вѣра Григорьевна...

Уховецъ смущенно искалъ шляпу; найдя ее, онъ молча, ни къ кому опредѣленно не обращаясь, поклонился, и пріятели исчезли.

Барышня замѣшкалась въ дверяхъ; ея встревоженные, заплаканные глаза смотрѣли просительно на Софью Николаевну; но всѣ были подавлены и заняты только-что происшедшимъ, никто не предложилъ ей остаться; она еще съ минуту постояла и безшумно скользнула въ дверь.

— Ахъ мама, мама!—первая заговорила Ольга Петровна.—И когда только ты уходишься!

— Въ могилѣ, матушка, въ могилѣ,—отрывисто отвѣтила Софья Николаевна.—Вѣдь это возмутительно, снова загорячилась она,—не трогаю я никого, ушла, ну и забудьте... Нѣтъ! Лѣзутъ, тревожатъ, являются разные нахалы и оскорбляютъ!...

— Вы слишкомъ приняли къ сердцу,—кротко высказалъ генералъ свое мнѣніе.—Молодой человѣкъ немножко самонадѣянъ... Ну, молодъ еще...

— Нѣтъ, нѣтъ, не говорите! Нахалъ, а не само-

надѣянъ. Вѣдь это нужно быть слѣпымъ, чтобы оспаривать... и я еще мало его, мало...

— Ужъ чего больше, вскользъ замѣтилъ студентъ.—Ну, бабуня, до свиданья. завтра лекціи и противъ обыкновенія—пойду. Почивай и не поминай лихомъ современнаго студента.

Софья Николаевна крѣпко поцѣловала внука и почему-то заплакала.

— Чего ты?—удивленно посмотрѣлъ сквозь pince-nez молодой человѣкъ.

— Такъ... грустно... что-то съ сердцемъ... сердце, знаешь, у меня не ладное,—всхлипывала Софья Николаевна.

Ольга Петровна, взявъ съ камина пузырекъ съ какимъ-то лѣкарствомъ, отсчитала нѣсколько капель въ рюмочку и подала старухѣ.

— На, выпей. И охота тебѣ тревожится по пустякамъ.

— Н-не-могу, Олечка, н-не-могу, — продолжала всхлипывать старуха.

— Ты-бы легла, мы пойдемъ всѣ... Лягъ, успокойся.

Софья Николаевна отрицательно покачала головой.

— Лягъ, бабушка,—просила Маруся.

Старуха улыбнулась сквозь слезы, выпила лѣкарство, взяла голову внучки обѣими руками и крѣпко прижала ее къ губамъ.

— Прощай!

Она поднялась съ мѣста и ласково протянула руку генералу.

— До свиданья, голубчикъ, теперь отдохнуть пойду; замаялась, правда. Спасибо, что не забыли—пришли;

а я вотъ какая дурная - разстроила только васъ. Простите! Ну, Олечка, доведи—ослабѣла и ноги не идутъ... и одышка... Нервы проклятые... Спасибо, милая, тебѣ... Всѣмъ спасибо!...

Ольга Петровна осторожно повела мать къ альковy, за которымъ стояла вся покрытая бѣлымъ, чистенькая кровать. Софья Николаевна присѣла на стулъ, пока дочь приготовляла постель.

— Еще капель дать?

— Нѣтъ, не надо, пройдетъ.

— Христосъ съ тобой мама!

— Прощай! Ѳедоръ Ѳедоровичъ, современникъ, по клонникъ милый, прощайте!—засмѣялась за альковомъ Софья Николаевна.

— До свиданья,—весело откликнулся генералъ,— я завтра зайду опять. Смотрите: будьте молодцомъ.

— Непремѣнно.

За альковъ вошла Маруся въ шляпкѣ и пальто. Софья Николаевна уже лежала; ея маленькая съ мелкими чертами головка вся утонула въ подушкахъ.

— Видишь, какая ты хорошенькая—прелесть! говорила Маруся, чмокая ее въ обѣ щеки.

— Ну, не тормоши... довольно...

— Оставь бабушку,—вмѣшалась Ольга Петровна, оттащила дочь и, поцѣловавъ руку у матери, вышла изъ комнаты, осторожно притворивъ за собой дверь.

* * *

Старуха осталась одна. Глаза сомкнулись, сладкая истома разлилась по тѣлу—Софья Николаевна заснула только сонъ какой-то мучительный... сердце болѣзненно ноетъ . . . . . .

Маруся... видъ у нея такой встревожанный... Тутъ и Ѳедоръ Ѳедоровичъ, только молодой, въ мундирѣ... держитъ въ рукахъ букетъ цвѣтовъ, глядитъ влюбленными глазами.... Аплодисменты... «Каневскую! Каневскую!!» «Первыя времена христіанства»... «Римская имперія»... «импонируетъ реализмъ»... доносится точно изъ сосѣдней комнаты непріятно рѣзкій голосъ Силина. А это кто? Кто этотъ низенькій, приземистый старичокъ?.. Знакомыя черты.... знакомый взглядъ добрыхъ голубыхъ глазъ...

«Честь и слава всѣмъ трудамъ,
Слава каждой капли пота,
Честь мозолистымъ рукамъ—
Да спорится въ нихъ работа».

вдохновенно декламируетъ старичокъ.

....Михаилъ Семеновичъ! Михаилъ Семеновичъ... Онъ... онъ!!

II.

Ровно въ одиннадцать часовъ утра у дубовой двери раздался рѣзкій, энергичный звонокъ. Еще не совсѣмъ одѣтая горничная съ изумленіемъ впустила въ корридоръ четверыхъ бритыхъ господъ во фракахъ, съ какими-то свертками въ рукахъ.

Это была депутація, пришедшая привѣтствовать Софью Николаевну.

— Каневская здѣсь?.. Можно?.. — громкимъ голосомъ, развязно спросилъ высокій, красивый брюнетъ.

За нимъ стоялъ низенькій старичокъ, съ лицомъ, напоминающимъ лисицу, и маленькими моргающими глазками. Важно пріосанясь, съ сознаньемъ серьез-

ности наступающей минуты, полный, гладко причесанный блондинъ озабоченно перечитывалъ какую-то бумагу. Коренастый толстякъ, съ добродушнымъ лицомъ, громко откашливаясь, старательно отиралъ свой низкій вспотѣвшій лобъ.

— Можно?—шопотомъ переспросилъ горничную старичокъ съ лисьей мордочкой.

— Не знаю-съ.

— Голубушка, доложите...—хлопотливо суетился старичокъ, сунувъ горничной въ руку какую-то мелкую монетку, — очень нужно... Скажите: депутація... Поняли? Депутація отъ товарищей... Поняли?..

— Какъ-же-съ, поняла-съ...

— Депутація,—такъ и скажите.

— Хорошо-съ, скажемъ, обождите тутъ, сейчасъ...

— Постой, красавица,—остановилъ уже готовую итти горничную толстякъ,—вотъ эту самую исторію возьми къ себѣ на кухню,—онъ передалъ ей завязанную тонкой бечевкой бѣлую плетенку:—здѣсь шампанское, прелесть моя. Поняла?..

— Поняла-съ.

— Слушай дальше: ежели можно, ледку достань и обложи бутылочки, а ежели нельзя, такъ и снѣжкомъ ладно... Поняла?

— Поняла-съ.

— Ну, теперь ступай.

Горничная, шлепая туфлями, пошла къ Софьѣ Николаевнѣ и черезъ минуту появилась снова въ коридорѣ.

— Пожалуйте; онѣ кофей пьютъ.

Актеры вошли въ комнату.

Софья Николаевна, принаряженная, съ бѣлой кружевной наколкой на головѣ, сидѣла за столомъ передъ небольшимъ томпаковымъ кофейникомъ, поставленнымъ надъ спиртовой лампочкой. Она видимо была очень добродушно, по-праздничному настроена. Въ углу передъ маленькимъ кіотомъ теплилась лампада. На столѣ аккуратно были разставлены въ тарелочкахъ остатки вчерашняго угощенія. При входѣ актеровъ Софья Николаевна встала и привѣтливо протянула руку.

— А, Иванъ Петровичъ!.. Александръ Николаевичъ, здравствуйте... Прохоръ Ивановичъ... Матвѣй Матвѣевичъ... милый! Очень рада... Садитесь, родные, садитесь!..

— Мы къ вамъ собственно по дѣлу,—вкрадчиво, ласковымъ голосомъ началъ полный блондинъ,—и, если позволите, мы на нѣсколько минутъ утомимъ ваше благосклонное вниманіе. Уважаемая Софья Николаевна, мы являемся уполномоченными отъ лица всѣхъ товарищей, чтобы привѣтствовать васъ въ столь дорогой для васъ день и передать посильный даръ на память отъ товарищей и друзей,—онъ красивымъ округленнымъ жестомъ взялъ футляръ изъ рукъ моргающаго старичка и, эффектно раскрывъ его, поставилъ передъ взволнованной и слегка сконфуженной Софьей Николаевной.

— А затѣмъ, прошу васъ позволить прочесть слѣдующее.

Онъ бережно развернулъ украшенный изящной виньеткой большой листъ толстой глянцовитой бумаги и началъ читать, внятно произнося и подчеркивая слова:

«Софья Николаевна!

«Сегодня исполнилось пятьдесятъ лѣтъ вашей славной дѣятельности на пользу родного искусства, пятьдесятъ лѣтъ вы неуклонно и твердо шли по тернистому пути труда и волненій, свято сохраняя завѣтъ своего великаго учителя Михаила Семеновича Щепкина, служа примѣромъ для окружающихъ и возбуждая восторги толпы своей правдивой, художественной игрой. Въ драмѣ вы трогали сердца, вы заставляли зрителей проливать слезы, но никогда ваша игра не переходила той неуловимой грани, за которой впечатлѣніе дѣлается уже болѣзненнымъ и неблаготворнымъ. Вашъ комизмъ всегда носилъ на себѣ отпечатокъ того тонкаго изящества и благородства, который доступенъ только избраннымъ, исключительно одареннымъ натурамъ. Въ своемъ исполненіи ролей вы вполнѣ достигли того, повидимому, несложнаго, но въ сущности трудно достижимаго идеала, который великій геній Шекспира выразилъ устами Гамлета, поучающаго актеровъ—какъ слѣдуетъ играть на сценѣ. И будущій историкъ русскаго театра, разбираясь въ скудныхъ источникахъ относительно бѣдной талантами нашей русской сцены, облегченно вздохнетъ на вашемъ достойномъ имени и поставитъ его на ряду съ лучшими именами нашихъ сценическихъ дѣятелей. Мы, ваши собратья по искусству, почитаемъ себя особенно счастливыми, что съ своей стороны можемъ вплести нѣсколько лишнихъ скромныхъ листковъ въ вѣнокъ вашей славы, привѣтствуя васъ какъ добраго товарища и честную, почтенную труженицу».

Софья Николаевна, безотчетно подкупленная тор-

жественностью минуты и лаской произносимыхъ актеромъ теплыхъ словъ, прослезилась. Она забыла, что передъ ней стоялъ, ловко разыгрывая роль искренно сочувствующаго товарища и человѣка, одинъ изъ ядовитѣйшихъ людей въ театральномъ мірѣ — Иванъ Петровичъ З., и, убаюканная звуками его бархатнаго баритона, придающаго особенную задушевность каждому слову, чувствовала какую-то истому любви въ сердцѣ.

«Да... да... пятьдесятъ лѣтъ... родное искусство... великій учитель... геній Шекспира... завѣты — святые завѣты... и всѣ *они* такіе милые, внимательные — и Иванъ Петровичъ, и Матвѣй Матвѣевичъ»... думала она, разсматривая сквозь туманъ заволакивающихъ глаза слезъ бритыя, упитанныя лица актеровъ.

— Господа,—произнесла она наконецъ взволнованнымъ голосомъ.—Спасибо!.. Простите... красно говорить не умѣю... не обезсудьте... Заслугъ особенныхъ своихъ не признаю .. Одно скажу: любила сцену, и все... и душу, и молодость, и силы — все, можно сказать, отдала... Работала честно, и если оцѣнили — спасибо!

Моргающій старичокъ все время нервно подергивался и выражалъ нетерпѣнье, видимо съ трудомъ вынося пассивную роль безмолвнаго зрителя. Онъ въ душѣ былъ чрезвычайно недоволенъ тѣмъ, что чтенье адреса и главенство центральнаго лица взялъ на себя Иванъ Петровичъ; онъ искалъ теперь случая оттереть этого ненавистнаго ему Ивана Петровича на задній планъ и обратить на себя общее вниманье.

— Униженіе паче гордости, униженіе паче гордости,

родная моя,—торопливо заговорилъ онъ, схвативъ и крѣпко потрясая въ своихъ рукахъ руку Софьи Николаевны,- я... я живой свидѣтель вашихъ заслугъ и славы. Я протестую! Когда я былъ еще студентомъ... (онъ посѣщалъ университетъ въ качествѣ вольнослушателя только втеченіе года, но почти увѣрилъ себя и упорно поддерживалъ о себѣ мнѣніе другихъ, что кончилъ блестяще университетъ) — когда я былъ на послѣднемъ курсѣ, я помню, какое высокое эстетическое наслажденіе вы намъ доставляли своей игрой. И весь нашъ факультетъ тогда, я помню... Я былъ естественникомъ... естественникомъ...

— Ну, однако, соловья баснями не кормятъ,— добродушно пробасилъ коренастый толстякъ,—тутъ можно, какъ я вижу, и червячка заморить съ позволенія хозяйки, и естественную исторію къ дѣлу примѣнить,—весело подмигнулъ онъ на разставленныя тарелки.

Естественникъ, желая скрыть свою досаду, принужденно хихикнулъ.

Софья Николаевна всполошилась:

— Простите, господа, не обезсудьте, я вѣдь не собиралась праздновать, а такъ... чѣмъ Богъ послалъ... Прошу, садитесь, батюшка, садитесь.., Да вотъ вино, вино-то я не поставила... Ахъ ты, Господи, безтолковая какая!.. Вѣдь есть,—спохватилась Софья Николаевна,—и хорошее.

Она спѣшной походкой направилась къ маленькому шкапчику, гдѣ сохранялась у ней посуда и разные припасы.

— Да вы не хлопочите, матушка, только скажите,

гдѣ и что,—сами все мигомъ достанемъ,—помогалъ ей около шкапа коренастый толстякъ.

— Вотъ, вотъ, Матвѣй Матвѣевичъ, еще... мадера тутъ.

— Мадера! Потащимъ и ее, мадеру.

— А вотъ наливка домашняя—малиновая.

— Отлично... давайте, давайте и ее голубушку, малиновую сюда.

— Постойте, родной, вотъ угощу: малороссійская сливянка у меня, бутылочка завѣтная, племянница прислала.

— Мы и сливяночку присовокупимъ, за здоровье племянницы. Все годится... Э-э-э, да тутъ я вижу маненечко бельвейнчику есть давайте-ка намъ его, русскаго батюшку, на починъ.

— Однако, Матвѣй Матвѣевичъ, вы того, совсѣмъ по россейски распоряжаетесь,—съязвилъ моргунъ.

— Ничего-о,—протянулъ въ отвѣтъ Матвѣй Матвѣевичъ, неся въ обѣихъ рукахъ бутылки,—свои люди, не чужіе,—сочтемся, да и я, братецъ, самъ знаешь, русакъ, форменный, по иностранному не обучался, мы по просту безъ затѣй.

— Пожалуйста, господа, присаживайтесь: Иванъ Петровичъ, Прохоръ Ивановичъ, Александръ Николаевичъ, Матвѣй Матвѣевичъ!..—любезно приглашала гостей къ столу Софья Николаевна.—Ужъ меня, старуху, простите: угощенье не важное, сервировка тоже.

— A la guerre comme à la guerre, какъ говорятъ французы, а въ русскомъ переводѣ: чѣмъ Богъ послалъ,—пріятно улыбнулся моргунъ, суетливо разставляя на столѣ принесенныя рюмки.

— Да ужъ не взыщите.

Всѣ стали шумно усаживаться за столъ. Около хозяйки по одну сторону расположился осанистый блондинъ—Иванъ Петровичъ, а по другую поскорѣе поспѣшилъ занять мѣсто моргунъ — Прохоръ Ивановичъ, или какъ называли его, заглаза, всѣ актеры, «Прошка злокачественный»; напротивъ помѣстились Матвѣй Матвѣевичъ и Александръ Николаевичъ, до сихъ поръ непроизнесшій ни слова и какъ-будто слегка иронизирующимъ взглядомъ посматривавшій сквозь свое pincenez на окружавшую его сутояку.

Матвѣй Матвѣевичъ, точно священнодѣйствуя, тихо наливалъ водку въ рюмки.

— За здоровье хозяйки!

— Я, господа, предупреждаю, не пью,—отклонила Софья Николаевна протянутую рюмку.

— Пей, свѣтикъ, не стыдись... Что ежели и пить ты мастерица?..

— Почтенный собратъ,—обратился красивый брюнетъ къ Матвѣю Матвѣевичу,—мы цѣнимъ твою находчивость и остроуміе, но въ данную минуту я нахожу, что мы какъ бы уклоняемся отъ цѣли. Мы пришли чествовать выдающуюся русскую артистку и надо чествовать ее достойно, безъ шутокъ и каламбуровъ.

— Вуй, компрене!—шумно поднялся съ мѣста Матвѣй Матвѣевичъ и вышелъ изъ комнаты.

Черезъ минуту онъ показался снова, красный отъ напряженія, осторожно неся въ рукахъ подносъ съ двумя бутылками шампанскаго и стаканами.

— Медамъ, месіе, салю мерси, больше не проси,—

произнесъ онъ съ легкой одышкой, поставивъ подносъ на столъ и грузно опустившись на свое мѣсто.

Все засмѣялись.

— Господа, это чересчуръ — смущенно заговорила Софья Николаевна, — это очень мило съ вашей стороны, но вы меня конфузите, право... Я какъ дура расплачусь...

— Москва слезамъ не вѣритъ — проговорилъ, по привычкѣ, Матвѣй Матвѣевичъ, всецѣло поглощенный разливаніемъ шампанскаго.

Какъ-то умилительно вытянувъ губы и посапывая, онъ нетерпѣливо выжидалъ, пока осядетъ пѣна и тихо-тихо, точно боясь пролить напрасно хоть каплю драгоцѣнной влаги, доливалъ снова стаканъ.

— Ну, [illegible] — произнесъ онъ, поставивъ наполненный стаканъ передъ Софьей Николаевной.

— Не пью, батюшка, не пью, — ужъ сказала.

— Нѣтъ, ужъ позвольте. Такъ нельзя... Вы насъ обидите... Помилуйте... — громко въ одинъ голосъ запротестовали актеры.

Софья Николаевна весело смѣясь зажала уши.

— Оглушили, батюшки, оглушили.... Ну, видно надо себѣ измѣнить: вамъ потѣшить стаканчикъ этотъ выпью, а больше ни-ни, не просите, уговоръ лучше денегъ... Слышите?

— Спасибо, родная, — прочувствованно не сказалъ, а скорѣе пропѣлъ блондинъ съ слащавой, дѣланной улыбкой, цѣлуя у ней руку. — Спасибо. И за присутствующихъ здѣсь, и за приславшихъ насъ сюда, остальныхъ товарищей.

— И мнѣ-съ, и мнѣ-съ ручку позвольте, вотъ

вался моргунъ, хватая и громко чмокая другую руку Софьи Николаевны.

— Слова!.. Господа, прошу слова!..—и красивый брюнетъ приподнялся съ мѣста.

— Господа!... началъ онъ.—Въ этотъ великій для изслѣдователя въ будущемъ, русскаго историка, день, какъ уже сказано въ сегодняшнемъ адресѣ, который мы имѣли счастье поднести уважаемой юбиляршѣ... Итакъ... Мы... м... въ этотъ великій для будущаго историка день, мы—собравшаяся здѣсь небольшая группа людей, какъ бы... такъ сказать... пріобщаемъ себя.. да!... именно пріобщаемъ себя къ этому дню... т.-е. я хочу сказать: къ событіямъ исторіи... Но дѣло не въ этомъ... Мы, актеры настоящихъ, такъ сказать, дней видимъ въ почтенной, уважаемой юбиляршѣ... какъ бы, если можно такъ выразиться, отзвукъ далекаго прошлаго... того далекаго прошлаго, когда... мм... мм... когда русская сцена подобно... я хочу сказать... подобно русской боярышнѣ, сорвавъ съ себя... э-э-э... сорвавъ съ себя оковы тюремной жизни... расцвѣла, такъ сказать, расцвѣтомъ... вообще... расцвѣтомъ... самобытной красоты... И мы, актеры настоящаго... мы... вотъ именно... и привѣтствуемъ эту русскую красавицу въ лицѣ нашей дорогой, высокочтимой Софьи Николаевны...

Тутъ ораторъ сдѣлалъ короткую паузу, откашлянулся, развернулъ небольшой листокъ почтовой бумаги и продекламировалъ, нѣсколько приподнявъ тонъ, слѣдующее стихотворенье, для котораго, очевидно, самая рѣчь служила только предисловіемъ.

Въ воспоминаніяхъ теряясь далекихъ,
Среди титановъ тѣхъ прошедшихъ, славныхъ дней,
Я точно вижу васъ въ стремленьи чувствъ высокихъ
И вѣрную завѣту ихъ тѣней...
И дочери любимой Мельпомены,
Носительницѣ правды и добра,
Мы, современные питомцы русской сцены,
Кричимъ вамъ громкое ура!

— Браво! Ура! Ура!... Урра!!

И руки съ наполненными бокалами протянулись къ хозяйкѣ.

Она, глубоко растроганная, готова была не на шутку разрыдаться отъ умиленья, наполнявшаго ея сердце.

— Родной... родной... батюшка,—бормотала она прерывающимся голосомъ,--спасибо... за все спасибо... и стихи... отъ сердца... чувствую... спасибо!..

Она поднялась съ мѣста, и прижавъ руку къ груди, низко, въ поясъ поклонилась.

— Ваше сіятельство, вы-бы, того... пригубить изволили,—кивнулъ Матвѣй Матвѣевичъ на непочатый стаканъ хозяйки.

— Ахъ, простите! забыла уговоръ,—улыбнулась она счастливой, растерянной улыбкой и дрожащими отъ волненья руками поднесла стаканъ къ губамъ. —Ну, вотъ и пригубила,—она опять сѣла,—вотъ и пригубила...

— Ваше здоровье, дорогая, — сказалъ приподнявъ свой стаканъ, Иванъ Петровичъ.—Очень радъ, что такъ все удалось мило и задушевно... Я всегда хлопочу прежде всего о томъ, чтобы было отъ души... и на этотъ разъ я очень доволенъ... чрезвычайно доволенъ... душевно радъ за васъ.

— Спасибо, родной, спасибо...

— А я такъ нахожу, что всего этого мало и даже очень мало,—махая руками, возбужденно, точно захлебываясь, заговорилъ Прохоръ Ивановичъ.—Развѣ мы умѣемъ цѣнить наши таланты? развѣ мы умѣемъ устраивать свои сценическіе праздники!?. Нѣтъ-съ, нѣтъ-съ и нѣтъ-съ! Вы изволите говорить, Иванъ Петровичъ, „отъ души“... Вотъ именно-съ этой-то самой души у насъ всегда и не хватаетъ.

— То-есть какъ это?..—съ едва замѣтнымъ безпокойствомъ, скользнувъ взглядомъ по собесѣднику, спросилъ блондинъ.—Что собственно вы подразумѣваете?

Онъ, продолжая держать стаканъ въ рукѣ и прищуриваясь на одинъ глазъ, съ особеннымъ вниманіемъ, казалось, слѣдилъ за игрой недопитаго имъ шампанскаго.

Моргунъ злобно скривилъ губы.

— Я-съ собственно... конечно не имѣлъ въ виду присутствующихъ. Я коснулся вопроса вообще... вообще... Понимаете?

—А-а!—протянулъ, успокоившись, Иванъ Петровичъ и съ очевиднымъ удовольствіемъ хлѣбнулъ изъ стакана.

— Ну, да!.. Вообще. Мнѣ, напримѣръ, случалось въ бытность мою за границей видать-съ подобныя торжества. Французы, напримѣръ, вотъ я вамъ скажу —мастера. При мнѣ банкетъ былъ одному журналисту устроенъ, такъ это, я вамъ доложу, банкетъ-съ.

— Что говорить, хитрая бестія эти французы,— буркнулъ Матвѣй Матвѣевичъ.

— Нѣ-ѣ-ѣтъ-съ, батенька, тутъ дѣло не въ хитрости, а въ единодушіи, въ е-ди-но-душіи, повторяю я вамъ.

— Что говорить, и то правда.

Моргунъ выпилъ залпомъ свой стаканъ.

— Мы, напримѣръ, соберемся ужинъ какой-нибудь устраивать или подписку на подарокъ своему товарищу... Гдѣ у насъ единодушіе? Гдѣ, я васъ спрашиваю?..

— Твоя правда, братецъ. Свиньи мы—вотъ что!— подтвердилъ слегка захмѣлѣвшій Матвѣй Матвѣевичъ.

— Ну, это немножкослишкомъ сильно сказано,— бросилъ въ его сторону выразительный взглядъ Иванъ Петровичъ.

— Да вѣдь я не про тебя, мил-лый!—Матвѣй Матвѣевичъ, потянувшись черезъ столъ, похлопалъ по плечу блондина.—Вѣдь ты у насъ душа, всѣ знаютъ, а я въ *своей* немощи сознаюсь, въ *своей*, пойми ты меня.

Онъ незамѣтно уже добрался до наливокъ, до которыхъ былъ большой охотникъ, и теперь, подъ шумокъ пріятельскихъ преній, уничтожалъ рюмку за рюмкой.

— Положимъ, покаянье въ грѣхахъ дѣло хорошее,—проговорилъ Иванъ Петровичъ, съ неуловимо тонкой ироніей,—но я позволю себѣ сказать: въ дѣлахъ общественныхъ—безцѣльное. Я, по крайней мѣрѣ, всегда находилъ лучшимъ избѣгать гамлетовщины, я дѣйствовалъ иначе, я,—продолжалъ онъ недопускаю-

щимъ возраженій тономъ—всегда старался, прежде всего забывать о своемъ личномъ самолюбіи и думалъ объ общемъ дѣлѣ, и все, что было предпринято мной до сихъ поръ,—онъ возвысилъ голосъ, чтобы остановить порывавшагося все время что-то сказать Прохора Ивановича,—я надѣюсь, вы отрицать этого господа, не можете: все удавалось какъ нельзя лучше.

Брюнетъ что-то промычалъ въ отвѣтъ, не то отрицая, не то соглашаясь.

— Да мы всѣ за тебя!.. Всѣ за тебя... милый!..— опять потрепалъ собрата по плечу Матвѣй Матвѣевичъ.

— Совершенно вѣрно, совершенно вѣрно,—обрадованный возможностью снова говорить, выкрикивалъ фистулой моргунъ,—прежде дѣло общественное, а потомъ свое «я», нужно умѣть затушевать себя—я вполнѣ согласенъ, а это не легко-съ, нѣтъ не легко-съ...

— Что и говорить,—поддакнулъ Матвѣй Матвѣевичъ, потягивая изъ рюмочки.

— Вотъ я, напримѣръ,—продолжалъ Прохоръ Ивановичъ,—въ вопросахъ общественныхъ такъ дѣйствительно забываю себя... забываю—мнѣ дорого дѣло, самое дѣло...

— Ну, кому-же оно недорого? — вставилъ свое слово брюнетъ.

— Но что меня возмущаетъ всегда это полное у насъ отсутствіе общественности... Ну вотъ, вотъ вамъ примѣръ, — не далеко искать — нашъ сегодняшній адресъ.

Иванъ Петровичъ тревожно навострилъ уши.

— Вы довольны, да?.. А я недоволенъ, положительно недоволенъ,—горячился Прохоръ Ивановичъ.

— То-есть почему-же?

— А очень просто: положимъ, писалъ нашъ адресъ Урываевъ... Я нисколько не отрицаю его способностей, но вѣдь онъ газетчикъ, онъ свои фельетоны хорошо писать можетъ, а наши интересы ему развѣ дороги? Вѣдь нужно самому, самому актеромъ быть, чтобы понимать, что нашему брату, батенька, нужно... Ну, и вышло холодно, и вышло безъ души.

— Ахъ, вы находите?—Иванъ Петровичъ уничтожающимъ взглядомъ посмотрѣлъ въ упоръ на своего противника.

— Да-съ, нахожу-съ и всегда-съ останусь при своемъ мнѣніи, что текстъ адреса, написанный мной, былъ во сто кратъ лучше и душевнѣе.

— Авторское самолюбіе, — поддразнивалъ Иванъ Петровичъ.

Совершенно позабывъ, что предметомъ распри служитъ она сама, Софья Николаевна съ любопытствомъ слѣдила за спорящими; радостное настроеніе незамѣтно слетѣло съ души, и въ большихъ сѣрыхъ глазахъ, такъ недавно еще затуманенныхъ слезами, свѣтилась теперь насмѣшка.

— Нѣтъ-съ, не самолюбіе, а любовь, истинная любовь, любовь къ дѣлу-съ,—продолжалъ выкрикивать моргунъ:—мнѣ дѣло дорого, мнѣ Софья Николаевна, какъ дѣятель, дорога! Вы вотъ изволили возмутиться словами: „великая артистка“, что я въ своемъ адресѣ написалъ...

— Такъ вѣдь мной руководило...

— Нѣтъ-съ, позвольте-съ!.. Вы нашли, что я хватилъ черезъ край... А вотъ господа Калымаевъ и Хвостовъ наотрѣзъ отказались подписаться даже и подъ этимъ адресомъ, нашли, что и тутъ переоцѣнены заслуги. Нѣтъ у насъ единодушія; эгоисты, эгоисты и больше ничего!

Тѣнь пробѣжала по лицу Софьи Николаевны.

— Миленькіе, не ссорьтесь!..—уговаривалъ Матвѣй Матвѣевичъ.

— Я нахожу, господа, что мы злоупотребляемъ терпѣніемъ хозяйки,—попробовалъ было остановить товарищей брюнетъ.

— Да позвольте, любезный другъ, — внутренно дрожа отъ злости, но продолжая сохранять милую улыбку, обратился къ моргуну Иванъ Петровичъ,— вы, насколько я понялъ, недовольны, что забракованъ вашъ текстъ адреса, что я (я вовсе этого не скрываю) протестовалъ противъ нѣкоторыхъ выраженій по моему слишкомъ сильныхъ, и я увѣренъ,—онъ любезно наклонилъ свою голову въ сторону хозяйки,— что и уважаемой Софьѣ Николаевнѣ, какъ умной женщинѣ, онѣ тоже показались-бы нѣсколько утрированными... И такъ вы, насколько я понялъ, возмущены тѣмъ, что отвергнуто ваше писаніе?

— Я вовсе не въ этомъ смыслѣ, вовсе не въ этомъ смыслѣ.

— А почему-бы это, любопытно было-бы знать,— допекалъ своего врага Иванъ Петровичъ, — когда былъ поднятъ вопросъ, какъ подавать подарокъ,— съ адресомъ или нѣтъ, — вы были противъ адреса вообще?

— Нѣтъ, нѣтъ, вы меня не такъ поняли: я вовсе не въ этомъ смыслѣ,—бормоталъ струсившій моргунъ не зная какъ вывернуться.

— Да ужъ въ томъ-ли, въ другомъ-ли смыслѣ, а на дѣлѣ оно было такъ!

Иванъ Петровичъ побѣдоносно окинулъ взглядомъ окружающихъ.

— Ха-ха-ха-ха! громко захохоталъ брюнетъ.

— Играй, братецъ, назадъ, влопался:—всѣмъ тѣломъ трясясь отъ смѣха и закашлявшись, крикнулъ Матвѣй Матвѣевичъ.

Яркая краска, минутнымъ заревомъ заливъ морщинистыя щеки Софьи Николаевны, снова отхлынула прочь. Старуха сидѣла блѣдная, трепещущая, сурово сдвинувъ брови и едва сдерживая свое негодованіе.

Ошеломленный неожиданнымъ для себя пораженіемъ, моргунъ скоро оправился и, набравшись храбрости, опять съ прежней запальчивостью накинулся на противника.

— Мы адресъ оставимъ въ сторонѣ-съ, а вы вотъ что намъ скажите: почему вы были за адресъ и вѣнокъ и противъ подарка... вы это намъ скажите!

— Да вы съ ума сошли!

— Нѣтъ-съ, не сошелъ, нѣтъ, не сошелъ-съ!! И если бы не я...

— Вы забываетесь!

— Миленькіе, не ссорьтесь! —умолялъ совершенно осовѣвшій Матвѣй Матвѣевичъ.

— Господа!.. Господа!..—безуспѣшно пытался брюнетъ вставить свое слово.

— Если бы не я, такъ и подарка то вовсе-бы не было—да-съ!—крикнулъ задыхаясь моргунъ.

Софья Николаевна вздрогнула.

— Послушайте... Повторяю: вы съ ума сошли!.. Насъ выбрали какъ представителей... а вы... вы...

Иванъ Петровичъ не зналъ, что ему сказать. Онъ какъ-то сразу потерялъ весь свой апломбъ и имѣлъ самый несчастный, сконфуженный видъ.

— Нисколько-съ, нисколько-съ!.. Я развѣ за себя?.. Мнѣ что! Я за дѣло общественное ратую... Я защищаю артистку,—злорадно шипѣлъ моргунъ,—отстаиваю слабую женщину... Я...

— Постой! батюшка,—сдержанно, но строго остановила его Софья Николаевна.—Защиты твоей не просила и защитить себя всегда сама съ умѣю. Вотъ что, милые,—окинувъ окружающихъ презрительнымъ взглядомъ, произнесла она слегка дрожащимъ отъ негодованія голосомъ:—Пришли вы—спасибо, а лучше-бы совсѣмъ не приходили.

— Но позвольте, дорогая,—пробовалъ улыбнуться Иванъ Петровичъ.—Неужели припадокъ единичнаго болѣзненнаго самолюбія можетъ показаться вамъ...

— Нѣтъ, батюшка, довольно! Что другъ на друга клепать—всѣ однимъ миромъ мазаны, всѣ хороши—меня не обманешь, старый я воробей...

— Прошу слова,—заявилъ громко брюнетъ.—Господа! Я нахожу, что въ наши дни, на рубежѣ, такъ-сказать, двадцатаго вѣка, мы вообще.. э... мм... м... люди... новыхъ... новыхъ... ну, словомъ: новые люди... не должны отравлять, или проще; омрачать хорошія

минуты въ жизни. И потому я предлагаю тостъ за уважаемую, достойную юбилярку... Ура!

— Урра!—рявкнулъ Матвѣй Матвѣевичъ.

Моргунъ и Иванъ Петровичъ молчали.

Грустными, точно потухающими глазами смотрѣла на брюнета Софья Николаевна; ея блѣдное лицо подергивалось нервной судорогой; на дрожащихъ губахъ застыла горькая, унылая улыбка.

— Спасибо, милый,—кивнула она головой,—хотѣлъ примирить... Напрасно! Да и не къ чему... И вотъ что еще я хочу сказать...—Она заикнулась и перевела духъ.—Дайте, батюшка, чего-нибудь – горло промочить...

Брюнетъ ловкимъ движеньемъ руки влилъ въ ея стаканъ нѣсколько капель оставшейся мадеры.

— Спасибо... Такъ вотъ... вотъ что я хочу сказать: подарокъ вашъ... не нужно... Возьмите!—И она брезгливо оттолкнула лежавшій передъ нею футляръ.

— Но позвольте-съ, такъ нельзя: это оскорбленье всѣмъ товарищамъ,—возмутился Иванъ Петровичъ.

— Софья!.. Н-не дури!—усовѣщевалъ Матвѣй Матвѣевичъ.

— Ради тѣхъ, кому вы, такъ сказать, дороги...—началъ было брюнетъ.

Софья Николаевна нетерпѣливо замахала руками

— Довольно! Довольно! Довольно! Не желаю больше ни рѣчей, ни поздравленій... Спасибо! Спасибо!..

— Однако, когда мы пришли, вы и поздравленія выслушали охотно, и подарокъ приняли,—язвительно замѣтилъ Иванъ Петровичъ.

— Да, батюшка! Мало того—плакала, искренними

слезами плакала: „вѣщуньина“, знаешь, „съ похвалъ вскружилась голова“—растрогали слова сладкія... и день такой особенный... Ну, и размякла, дура старая! —Горькая нота обиды и оскорбленнаго чувства прозвучала въ словахъ Софьи Николаевны.

— Но вѣдь есть товарищи, которые относятся къ вамъ искренно,—забормоталъ немного смущенный моргунъ.

— Ха-ха-ха!.. Кто это, милый? Не ты-ли?

— Ну, и я конечно...

— Оставь!.. Ты и отца родного за пятакъ продашь. Нашелъ что сказать!.. Комикъ, право комикъ!..

— Конечно, если не вѣрить...

— Да вы-то сами себѣ вѣрите, что-ли?—вспылила Софья Николаевна.—Точно я не знаю: вонъ Иванъ Петровичъ тебя задавить хочетъ, а ты-бы радъ его, да силенокъ мало... На что Матюша—добрая душа,—показала она на толстяка,—и тотъ только и норовитъ кому нибудь каверзу устроить.

Матвѣй Матвѣевичъ обидѣлся:

— Ну, это ты, мама, напрасно...

— Нечего обижаться, голубчикъ, правду говорю. Главное: зачѣмъ вы себя обманываете и передо мной ломаться пришли?.. Счеты мои съ театромъ да и съ жизнью почти кончены... Для чего-же издѣваться? Вѣдь я не просила, не просила...

— Ну, однако, я считаю возложенное на меня порученіе оконченнымъ. Позвольте засвидѣтельствовать почтеніе,—сказалъ Иванъ Петровичъ, сухо раскланиваясь передъ хозяйкой,—и, если вы считаете себя обиженной...

Что-то злобное и негодующее подступило къ сердцу старухи и отразилось во внезапно вспыхнувшихъ лихорадочнымъ блескомъ глазахъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Обиженной себя, батюшка, не считаю,—отвѣтила она, стараясь по возможности казаться спокойной.—Я благодарна за все... за все... Меня извините, если виновата въ чемъ, а подарочекъ прошу принять обратно, чтобы не тревожиться, батюшка, воспоминаніями...

— Софья Николаевна, вы насъ обидите. Мы желали отмѣтить въ вашей памяти этотъ день,—проговорилъ брюнетъ, болѣе другихъ чувствовавшій всю неловкость положенія, въ которое попалъ, благодаря товарищамъ.

— Что же, и отмѣтили... такъ отмѣтили—на всю жизнь помнить буду! Ну-съ, а теперь...

Софья Николаевна взглянула вопросительно на присутствующихъ и поднялась съ мѣста. Нечаянно задѣтая ея рукою рюмка скатилась со стола и звонко разбилась. Моргунъ бросился подбирать осколки.

— И такъ, вы рѣшительно отказываетесь принять знакъ вниманія отъ товарищей?—официально спросилъ Иванъ Петровичъ.

— Рѣшительно.

— И позволяете мнѣ передать имъ это?

— Сдѣлайте одолженье.

Иванъ Петровичъ бережно взялъ въ руки футляръ, еще разъ поклонился и вышелъ.

— До свиданья, батюшка,—не подавая руки обратилась Софья Николаевна къ моргуну, который подобралъ уже осколки и, повидимому, собирался о чемъ-то заговорить.

Она протянула руку брюнету:

— Спасибо, родной, прощай.

Тотъ почтительно поцѣловалъ паданную ему руку.

— И напрасно ты, мама, всѣхъ насъ обидѣла,—лепеталъ въ конецъ охмѣлѣвшій Матвѣй Матвѣевичъ.

— Ну, пойдемъ, пойдемъ.

Брюнетъ поднялъ его съ мѣста. Всѣ трое вышли. Въ передней ихъ ожидалъ уже совсѣмъ одѣтый Иванъ Петровичъ.

— Вы куда?—обратился онъ, игнорируя остальныхъ къ брюнету.

— Домой.

— А я попросилъ бы со мной, на репетицію.—Онъ вынулъ часы:—еще рано—только первый—репетиція не кончилась. Необходимо сообщить обо всемъ.

Актеры вышли на лѣстницу и стали медленно спускаться.

— Это называется: начали за здравіе, а свели за упокой,—разсуждалъ коснѣющимъ языкомъ, тяжело дыша, Матвѣй Матвѣевичъ.—И за что только бабу обидѣли?

— Нѣтъ-съ, какова штучка! Какова штучка-съ, я вамъ скажу!—волновался моргунъ.

— Ну ужъ ты, братъ, хорошъ тоже: нашелъ время и мѣсто!—рѣзко оборвалъ его брюнетъ.

— Но все-таки позвольте: это не давало ей права такъ оскорблять цѣлую корпорацію,—вмѣшался Иванъ Петровичъ.—Должна была благодарить, что вспомнили.. Талантъ ея—еще вопросъ открытый, заслуги тоже не ахтительныя...

— Всегда, всегда, всегда подлая была, тѣмъ только и прославилась,—быстро подхватилъ моргунъ.

Софья Николаевна сидѣла все на томъ же мѣстѣ. Передъ ней лежалъ оставленный актерами адресъ. Надѣвъ очки, старуха внимательно просматривала его уже во второй разъ.

...«Возбуждая восторги толпы», читала она съ разстановкой, «будущій историкъ»... «вздохнетъ на вашемъ имени»... «достойномъ имени», повторила она еще разъ... «Мы ваши собратья по искусству»... «вплести нѣсколько листковъ въ вѣнокъ вашей славы»... Да, да!... Вотъ Колымовъ и Хвостовъ не подписались —нашли, что заслуги переоцѣнены... Оцѣнщики тоже!»

Она опять подняла глаза къ началу. «Сегодня исполнилось пятьдесятъ лѣтъ вашей славной дѣятельности», тихо-тихо произнесла она глухимъ голосомъ и задумалась. И вдругъ, точно движимая какой-то посторонней силой, медленно разорвала листъ пополамъ... Возбуждая восторги толпы...» бросилась ей въ глаза знакомая строчка... Она разорвала еще... «Проливать слезы»... «вашей славѣ»... «трогали сердца... «трудно достижимый идеалъ»—мелькали отдѣльные обрывки фразъ... Вотъ и виньетка, часть маски... рука съ пальмовой вѣтвью... лира... Софья Николаевна рвала оставшіеся клочки бумаги все мельче, а передъ глазами, казалось, въ воздухѣ носились точно огненными буквами написанныя все тѣ же дорогія, неотвязныя слова «родное искусство»... «братья по искусству».. «восторгъ толпы»...

— Иллюзіи... все это иллюзіи,—шептали блѣдныя, сухія губы.—А какъ бы хотѣлось, чтобы это была правда!

И опустивъ на столъ свою сѣдую голову, старуха горько заплакала.

ПЕТЛЯ.

Разсказъ.

Кто пойметъ эту бездну отчаянья,
Этотъ адъ безнадежной тоски?!
Т. Гудъ.

I.

По одной изъ отдаленныхъ улицъ Петербурга быстро шла высокая худощавая женщина. На видъ ей казалось лѣтъ тридцать. Блѣдное лицо носило слѣды тревогъ и безсонныхъ ночей; большіе черные глаза смотрѣли какъ-то вопросительно-испуганно. На ней была короткая, суконная, на ватѣ, кофточка. Потерявшая форму и цвѣтъ шапка, подъ котикъ, надвинутая плотно на лобъ, старила еще больше эту, повидимому, когда-то красивую женщину. Она шла неровной торопливой походкой, по временамъ останавливаясь, какъ бы желая что-то припомнить, сообразить, и опять продолжала путь.

На углу одного изъ переулковъ Марья Павловна Стрѣшнева—такъ звали худощавую женщину—нерѣшительно остановилась и, какъ бы внезапно озаренная новой мыслью, повернула за уголъ.

«Зайти развѣ къ Васильевымъ?.. Онъ недавно получилъ двадцать-пять рублей отъ матери, изъ провинціи... Нѣтъ, что же!.. Совѣстно—сами они люди бѣдные, всегда въ нуждѣ... Тоже, вѣрно, къ празднику ничего не осталось... Можетъ-быть, мужъ достанетъ?»—

Горькая усмѣшка пробѣжала по губамъ Марьи Павловны, и, понуривъ голову, она вернулась на улицу, по которой шла раньше.

Около низенькаго каменнаго дома, съ мелочной и портерной лавками въ подвальномъ этажѣ, тянулся длинный деревянный заборъ, окрашенный въ коричневую краску; за полуоткрытой калиткой виднѣлся грязный дворъ съ кучками невывезеннаго снѣга. Стрѣшнева робко шагнула въ калитку; пугливо озираясь по сторонамъ, она прошла дворъ и, взбѣжавъ по темной, сырой лѣстницѣ, запыхавшаяся, нетерпѣливо позвонила у низенькой одностворчатой двери.

— Сейчасъ!—послышался женскій сиповатый голосъ.

Дверь отворилась, на порогѣ показалась суроваго вида, среднихъ лѣтъ женщина, одѣтая въ темное ситцевое платье и съ деревенскимъ повойникомъ на головѣ. Изъ- за нея выглядывали три дѣтскія головки.

— Мама! Мама!—раздались веселые голоса.

— Дворникъ опять приходилъ,-протянула женщина.

— Знаю,—отрѣзала Марья Павловна и прошла въ смежную съ кухней комнату.—Матрена!—крикнула она оттуда.

— Чего вамъ еще?

— Матрена, тамъ... тамъ у насъ... чаю больше совсѣмъ нѣтъ?

— Чего спрашивать—извѣстно, нѣту, — дерзко буркнула Матрена.

— А дѣти?

— Извѣстно, неѣвши.

— Мама,—изъ-за двери выглянула бѣлокурая головка старшей дѣвочки лѣтъ девяти,—чай будетъ?

— Ахъ, отстань... Видишь, что нѣтъ!

Дѣвочка испуганно скрылась.

Марьѣ Павловнѣ и досадно было на себя, и тоска подступила къ сердцу,—гнетущая, мучительная тоска...

— Матрена,—черезъ минуту, овладѣвъ собой, робко обратилась она къ угрюмо молчавшей служанкѣ, Матрена, можетъ-быть... въ лавкѣ?

— Намеднясь сказали, чтобъ больше не ходила.

— Ну, еще... въ послѣдній... Получимъ, все отдадимъ,—съ трудомъ выговариваетъ каждое слово Марья Павловна.

— Ужъ наши получки!...—Матрена сердито повела плечами.—Ну, да все одно, дѣтямъ не пропадать же... Пойду!

Она быстро повернулась и вышла изъ комнаты.

II.

У Матрены была вообще страсть къ дѣтямъ. Неряшливая, лѣнивая, грубая на видъ, она ради чужихъ даже дѣтей готова была на всевозможныя жертвы. Взрослаго, по ея мнѣнію, и жалѣть нечего—«самъ всѣмъ дѣламъ виноватъ», но дѣти—«Божьи души».

Вынося страшную нужду, зачастую голодая, она и не думала искать себѣ лучшаго мѣста; терпѣливо ждала она по нѣскольку мѣсяцевъ своего грошоваго жалованья и опять тратила его въ ту же семью, на дѣтей, а, ужъ въ очень тяжелыя минуты, даже не задумываясь тащила въ закладъ свое послѣднее тряпье.

— Матрена, зачѣмъ идешь?—раздались въ кухнѣ дѣтскіе голоса.

— Купи мнѣ ситникъ съ изюмомъ.

— А мнѣ плюшку...

— И мнѣ...

— Ладно.

Дверь хлопнула.

— Пойдемъ къ мамѣ.

— Сидите здѣсь,—послышался голосъ старшей дѣвочки.—Мама сердится: денегъ нѣтъ.

— Нѣту денегъ, нѣту денегъ, денегъ нѣту, денегъ нѣтъ!—запѣлъ мальчикъ.

— Молчи! Ужасно какъ умно,—опять суетливо заговорила дѣвочка,—вотъ погоди, сейчасъ придетъ мама и задастъ тебѣ.

Дѣти притихли.

А Марья Павловна, между тѣмъ, стоя посрединѣ своей комнаты, уныло оглядывалась кругомъ. «И заложить нечего... Лампа?... Нельзя... все таки нужно—приходится переписывать и ночью иной разъ... Часы?.. Грошъ дадутъ, и за новые-то заплачено два рубля, да и какъ безъ часовъ? Проклятая жизнь! Хоть бы мужъ скорѣй пришелъ, ужъ въ какомъ видѣ все равно, только бы пришелъ... будто легче... Самостоятельный женскій трудъ?,.. Эхъ!... Мѣсто бы какое достать... постоянное... На мужа рукой махнуть... Да вездѣ кандидатокъ этихъ видимо-невидимо... знакомство нужно... Записалась, просилась... да что толку»...

Вдругъ, точно вспомнивъ что-то, Марья Павловна быстро подошла къ комоду. Тамъ во второмъ ящикѣ среди убогаго тряпья, важно именуемаго Матреною бѣльемъ, была спрятана ложка, завѣтная столовая, ложка, съ вырѣзаннымъ вензелемъ и обозначеніемъ года и числа окончанія Марьей Павловной гимназическаго

курса,—послѣдній подарокъ ея матери. Сколько разъ, бывало, когда ужъ очень тяжко приходилось, Марья Павловна, подержавъ въ рукахъ эту свою единственную драгоцѣнность, опять укладывала ее на прежнее мѣсто, не рѣшаясь разстаться съ ней даже на время, считая преступнымъ, чуть не святотатственнымъ снести эту ложку въ закладъ. Но сегодня она рѣшилась «Мама чай будетъ?» точно все еще тоскливо звучитъ у нея въ ушахъ тоненькій голосокъ дѣвочки... А тамъ еще двое—и всѣ ждутъ... Обѣдать отвыкли... одинъ чай, и того нѣтъ.., «Будетъ, будетъ родные, будетъ»... рѣшительно, почти отчаянно шепчетъ Марья Павловна въ отвѣтъ грустно звенящему въ ея ушахъ тоненькому голоску и продолжаетъ рыться въ комодѣ, комкая и переворачивая въ немъ все... Ложки нѣтъ... она съ испугомъ выдвигаетъ другіе яшики—нѣтъ, и тутъ нѣтъ. «Неужели, неужели?.. Не можетъ быть», пытается отогнать она отъ себя налетѣвшую внезапно мысль, судорожно, съ возрастающимъ волненіемъ перерывая вещи въ комодѣ...

— Нѣтъ!—Она безпомощно опустилась на близъстоявшій стулъ, подавленная этимъ открытіемъ, и заплакала горько, горько.—Унесъ! Пропилъ!..

Стукнули дверью. Вернулась Матрена.

— Плюшка есть?.

— А мнѣ?

— По плюшкиной дорогѣ пошла... На-те ситникъ, и то ладно.

Матрена завозилась около самовара.

— А вамъ чаю надыть, барыня?—спросила, просунувъ въ дверь голову, Матрена.

— Нѣтъ.

— На сегодня будетъ—пейте, все одно.

— Да нѣтъ же.

Марья Павловна заплаканная, улеглась въ кровать.

— И не грѣхъ ему, не грѣхъ! Послѣднее, что оставалось, память матери...

Краска гнѣва и горькой обиды залила блѣдныя щеки Марьи Павловны; ей сдѣлалось точно жутко всего, даже самой темноты вокругъ нея, и хотѣлось уйти куда-нибудь, убѣжать... она спрятала голову въ подушку.

«Заснуть, что ли?.. Вѣдь вотъ, какъ нарочно, не заснешь... Мысли одна другой нелѣпѣе лѣзутъ въ голову, мысли отрывистыя, не ясныя... Что дѣлать? Что?... Опять безработица... Жди, когда подвернется работа; послѣднюю только что отнесла... четыре дня сидѣла, не разгибаясь—переписывала... устала ужасно, а получить не пришлось—тоже человѣкъ не богатый, у самого къ празднику ничего неосталось... обѣщалъ послѣ праздниковъ... Охъ, ужъ эти праздники! Всѣ точно съ ума сойдутъ... Живутъ себѣ ничего, спокойно и вдругъ—какъ помѣшаются: забѣгаютъ, засуетятся... Мы вотъ тоже праздники встрѣчаемъ... весело... Эхъ, лучше не думать... заснуть... заснуть...

Въ кухнѣ, между тѣмъ, шла оживленная бесѣда.

—Чаю, чаю накачаю, ко-о-фію наварю!..—раздается голосъ мальчика.

— Вотъ погоди, тебѣ ужо отецъ-то накачаетъ,— ворчитъ Матреа.

— Матрена, разскажи, какъ ты у генерала жила?— упрашиваетъ дѣвочка.

— Чего тамъ жила. Извѣстно, не по нынѣшнему.

— Зачѣмъ ты ушла?

— Ушла изъ-за самой,—такая характерная была—невозможно: у нихъ изъ-за этого и прислуга не жила, а онъ ужъ, можно сказать, баринъ настоящій.

— Онъ самодѣлешній генералъ былъ?

— Какъ же, съ эполетамъ. Бывало, придетъ въ дѣтскую, дитенка сваво всего какъ есть перецѣлуетъ и сейчасъ это со мной: «Какъ тебя, кормилка, кормятъ?—и насчетъ всей жизни вообче начнетъ это допрашивать. — «Всѣмъ довольна, ваше превосходительство».—А онъ и скажетъ бывало: „Ты смотри, ни въ чемъ не сумлевайся, все мнѣ объясни". А она, бывало, какъ взойдетъ, хвать изъ рукъ дитенка, кричитъ, кричитъ—даже нутро заболитъ, ее слушавши: все нечисто, и все грязно, и все не по-ейному. Изъ-за того и ушла, какъ дитенка откормила... Енаралъ оставлялъ — ушла. Къ мужу, въ деревню, поѣхала, тутъ и мой дитенокъ померъ.

— А потомъ, какъ ты къ попу попала?

— Ну-у, это уже апосля, это въ нашемъ городѣ. Мужа схоронила, со свекровкой жить не захотѣла... уѣхала, значить, да къ батюшкѣ прямо и поступила.

— Ну, ну, и что же? допрашивали дѣти.

— Онъ нича-во-о былъ, грѣхъ сказать, и она ничаво, только скупа, ахъ скупа,—сгноитъ, а человѣку не дастъ. И кому копила? Одинъ сынъ у нихъ былъ, и тотъ большой. Жениться задумалъ, попадья-то и поѣхала—прослышали въ одномъ богатомъ селѣ у батюшки дочка есть... Такъ онъ: нашъ-то, такъ мать умолялъ, такъ умолялъ, чтобы безпремѣнно невѣста

была съ черными глазамъ—безпремѣнно, а то не хочу. Попадья, значитъ, ни съ чѣмъ и пріѣхала, только деньги задаромъ стратила.

— Ну-у, отчего?

— Въ невѣстѣ глаза-то сѣрые. Попадья страхъ убивалась: и сына-то жалко, а пуще денегъ—рублевъ десять, почитай, проѣздила.

Въ дверь постучались.

— Ну, кто тамъ?

Матрена лѣниво поднялась съ мѣста. Вошелъ дворникъ.

— Нѣту нашихъ, и не приходили.

— Чего нѣту? Хозяинъ велѣлъ получить, потому праздникъ, и то снисхожденіе было.

— Нѣту, нѣту, и нѣту.

— Чего нѣту? — возвысилъ голосъ дворникъ.— Выселить велятъ.

— Ну и выселяй, а нѣту.

— Все одно—лучше барынѣ скажи.

— Да гдѣ я те барыню-то возьму, чортъ-лѣшій.

— Чего лаешься?

— Ничаво не лаюсь, а видишь—нѣту. Вотъ сидимъ тутъ, чай пьемъ, дожидаемся.

Дворникъ еще постоялъ съ минуту, тряхнулъ головой и вышелъ.

Матрена опять принялась за чаепитіе.

— Ну, ну, что же дальше?—приставали дѣти.

— Ну, жила я, жила, да и заскучала, такъ заскучала, такъ заскучала—страсть. Хочу повидать скормленника, да и все тутъ. Попадья не пущаетъ: „да куда ты поѣдешь, да зачѣмъ, да ты пропадешь тамъ“. Ну, не могу и не могу, хочу да и только. А сюда пріѣхала—

и никакихъ концовъ не найти: енералъ-то померъ, а они всѣ уѣхамши незнамо куда; назадъ ворочаться не охота. Подумала, подумала, тутъ и осталась, да въ скорости къ вамъ и поступила. Вотъ теперь и путаюсь словно какъ путаникъ, прости Господи.

Опять раздался, стукъ въ дверь. Матрена, не обращая вниманія, бережно подносила къ губамъ блюдечко съ горячимъ чаемъ.

— Стучатъ,—шопотомъ проговорили дѣти.

— Пущай, не горитъ.

Стукъ повторился съ новой силой. Стоявшая на столѣ посуда задребезжала.

— Стучатъ, Матрена!

Дѣти испуганно вскочили.

— Тьфу ты, прости Господи, и чаю-то не дадутъ напиться... Вѣрно баринъ нашъ, Григорій Ивановичъ.

Слышу! Чего ломитесь? Дѣтей испужали.

Матрена сердито пошла къ двери.

III.

Въ дверяхъ показался высокій, худощавый брюнетъ блѣдный, съ красиво окаймлявшей лицо бородою и черными выразительными глазами на выкатѣ. На немъ былъ помятый цилиндръ и осеннее коротенькое пальто Онъ покачивался, но, видимо, старался казаться бодрымъ и сохранить франтоватый видъ.

— Не умѣешь служить, деревня!—по-мальчишески запальчиво крикнулъ Григорій Ивановичъ, задорнымъ, презрительнымъ взглядомъ окидывая Матрену. Ему, видимо, хотѣлось толкнуть ее поэнергичнѣе, но, оче-

видно, побаиваясь сильныхъ, мускулистыхъ матрениныхъ рукъ, онъ только слегка отстранилъ ее и прошелъ, покачиваясь, мимо.

— Д-деревня!

— Ну, ну, ладно! «Деревня, деревня,!»—передразнила Матрена.—Ладно, давай пальто-то!... Куда идешь въ пальтѣ-то?

Григорій Ивановичъ, очевидно, желая отомстить Матренѣ, на этотъ разъ сдѣлалъ болѣе энергичный жестъ, но рука, описавъ въ воздухѣ неправильный кругъ, потеряла равновѣсіе и упала на ручку двери, ведущей въ комнату.

Матрена, не смущаясь, стала стаскивать пальто. Григорій Ивановичъ продолжалъ отмахиваться руками, наконецъ съ шумомъ распахнулъ наотмашь дверь и шагнулъ въ комнату. Марья Павловна вздрогнула. Она приподнялась на кровати и испуганными глазами всматривалась въ темноту, «Ну-у, явилось... сокровище»!—прошептали блѣдныя губы, и голова снова упала на подушку.

— Маня, Маня, представь, какой к-у-у-ріозъ!..

— Отстань!—послышался въ отвѣтъ глухой голосъ.

— Ахъ, я такъ и зналъ! Исторія... опять сцены... Эти женщины ни-к-ка-ко-го чутья... ни... Хотѣлъ разсказать встрѣчу...

— Оставь меня въ покоѣ!—рѣзко отчеканила Марья Павловна.

— Х-х-характерецъ!—процѣдилъ иронически Григорій Ивановичъ.

Онъ подошелъ къ кровати, на которой лежала жена.

— Слушай ты!.. Если бъ я не былъ честный человѣкъ... честный чекъ,—то повышая, то понижая голосъ, запинаясь бормоталъ онъ,—я... я... я бы тебя и всѣхъ твоихъ поросятъ.

Онъ поднесъ указательный палецъ къ лицу Марьи Павловны.

— Ну, хорошо, хорошо!

— Нѣтъ... не хорошо... нѣтъ!..

— Матрена, Матрена!—безпомощно звала Марья Павловна·

— Матрена показалась въ дверяхъ.

— Ради Бога, уберите его отъ меня, раздѣньте, уложите спать... Только возьмите, ради Бога, возьмите!

— Не смѣть!—крикнулъ было Григорій Ивановичъ.

Но Матрена, не обращая вниманія на этотъ возгласъ, проворными руками стала стаскивать визитку, Григорій Ивановичъ отчаянно отмахивался и, волнуясь, издавалъ полубезсвязные звуки.

— Ддд-рянь!.. Баба!...

— Ладно, ладно, проспись, а тамъ и ругайся, безстыдникъ! Еще баринъ, отецъ дѣтямъ...

— Не смѣть!—напрягая послѣднія усилія, опять выкрикнулъ Григорій Ивановичъ, но Матрена ужъ усадила его на кровать и энергично стаскивала съ него сапоги.

— Вотъ сапоги въ дырахъ... Объ чемъ только думаешь?

— Н-н-не смѣть!—уже коснѣющимъ языкомъ пробормоталъ Григорій Ивановичъ, и грузно повалился на подушки.

Матрена поправила голову, подняла и уложила на

кровать свѣсившіяся ноги, закрыла ихъ и вышла изъ комнаты. Въ кухнѣ присмирѣвшія дѣти тихо сидѣли на полу.

Матрена стала убирать посуду.

— Ну, ребятки, и мы что ли спать?

— Нѣтъ, нѣтъ, разскажи еще про генерала?

— Дѣти, спать!—раздался голосъ Марьи Павловны.

— Слышь, мамаша серчаетъ... Завтра день—и разскажу. Неча по ночамъ полуношничать.

Долго еще было слышно шлепанье туфель Матрены, дѣтскіе голоса, плесканье воды.. Наконецъ, все затихло.

IV.

Марья Павловна поднялась съ постели, чтобы раздѣться и окончательно улечься спать. Раздавшійся позади легкій скрипъ двери заставилъ ее вздрогнуть, оглянуться. На порогѣ стояла маленькая фигурка съ тоненькими ножками и ручками; спустившаяся съ одной стороны ветхая рубашонка обнажала блѣдное, худое плечико; бѣлокурые волосы были туго заплетены въ одну косичку. Дѣвочка дрожала отъ холода и страха.

— Что тебѣ? Иди спать, ради Бога,—простудишься...—проговорила испугавшаяся мать.

— М-ма-мочка, покойной ночи, тихо всхлипнула дѣвочка.

Марья Павловна бросилась къ ней и, взявъ на руки блѣдное, трепещущее тѣльце, перенесла ее къ себѣ на кровать. Безпомощно перекинувъ за шею матери свои худенькія ручки и крѣпко прижавъ лицо къ ея лицу, дѣвочка плакала тяжелыми. неутѣшными слезами.

— Ну, чего ты? Чего, моя миленькая?...—пыталась успокоить ее Марья Павловна. Съ мучительной болью въ груди, прижимаясь все ближе и ближе къ рыдающему ребенку, она чувствовала, какъ порывисто билось и трепетало его крошечное сердце, такъ рано постигшее горе жизни,—и готова была сама разрыдаться...

— Ну, чего ты? Чего?...—повторяла она, задыхаясь и теряя самообладаніе.

— Онъ спитъ?—тревожно спрашивалъ ребенокъ. И того... что тогда... не будетъ?..

Вспомнивъ, какъ нѣсколько дней тому назадъ рано утромъ, еще въ постели, она услышала громкій споръ за дверьми, потомъ глухой стукъ, будто отъ паденія какого-то тяжелаго предмета, и раздавшійся вслѣдъ за этимъ не то крикъ, не то стонъ своей матери,—дѣвочка залилась еще больше слезами.

— Ну, довольно,—убѣждала Марья Павловна, стараясь придать какъ можно больше твердости дрожавшему, постоянно ей измѣнявшему голосу,—если ты любишь маму, ты перестанешь... Онъ спитъ—отецъ... и ничего не будетъ... Ты тоже лягъ и спи... понимаешь?.. Если меня любишь... Ты добрая дѣвочка, ты моя дочка, милая, ты родная моя... да?.. да?...

Она гладила ребенка по головкѣ, говорила долго, долго, полушопотомъ нѣжныя ласковыя рѣчи, она цѣловала блѣдныя прозрачныя ручки, съ трудомъ сдерживая подступавшія къ горлу рыданія и глотая слезы. Убаюканная лаской матери, согрѣтая теплотой ея близости, дѣвочка стала всхлипывать рѣже и рѣже, потомъ раза два еще судорожно вздрогнула всѣмъ сво-

имъ маленькимъ худымъ тѣльцемъ и, склонивъ бѣлокурую головку на плечо матери, наконецъ, тихо заснула. Боясь встревожить этотъ сонъ, Марья Павловна осторожно отвела висѣвшія, какъ плети, вокругъ ея шеи ручки дѣвочки, бережно положила ее на свою кровать и стала поспѣшно раздѣваться.

Въ комнатѣ раздается храпъ Григорія Ивановича; гдѣ-то залаяла собака, хлопнула дверь внизу, кто-то прошелъ по лѣстницѣ, напѣвая пьянымъ голосомъ пѣсню. «Праздничный»... Марья Павловна легла на кровать... «И сна вѣдь нѣтъ». Блѣдный лучъ луны скользитъ по убогой комнатѣ, освѣщая своимъ фосфорическимъ свѣтомъ раскинувшуюся на постели дѣвочку. Мать, съ щемящей тоской въ груди, разглядываетъ безмятежно-невинное лицо ребенка съ невысохшими еще слезинками, оставшимися и словно застывшими въ углахъ его закрытыхъ глазъ.

— Прости, прости ты меня,—шепчетъ Марья Павловна, беззвучно прильнувъ губами къ высокому, бѣлому лбу дѣвочки.—Прости ты меня грѣшную... несчастную... Что я могу тебѣ дать, что?.. Даже накормить до сыта не могу... И впереди просвѣта не вижу... Петля, петля!..

И руки ея инстиктивно хватаются за горло, точно на самомъ дѣлѣ пытаются освободить его, сорвать съ него накинутую чьей-то невидимой рукой, неотступно давящую страшную петлю.

— Завтра хоть въ прорубь головой—вотъ какъ подошло! Дождались... Воззвать къ общественной благотворительности, что ли?

Марья Павловна вздрогнула отъ какого-то внутрен-

няго протеста, и точно ища нравственной поддержки, изнывающая, безпомощная, жалась къ своему ребенку...

И вспомнилось ей ея собственное дѣтство. Отца она не знала... Онъ былъ врачомъ и умеръ очень рано, заразившись дифтеритомъ отъ больного, оставивъ безъ всякихъ средствъ жену и дочь. Помнитъ Марья Павловна себя совсѣмъ маленькой дѣвочкой, на постели рядомъ съ матерью, въ узкой, полутемной комнатѣ при библіотекѣ, гдѣ служила библіотекаршей ея мать—худенькая блондинка, вѣчно озабоченная, нервная и больная... Помнитъ любимую куклу, Надю, въ малороссійскомъ костюмѣ, и помнитъ, какъ, бывало, въ интимныхъ бесѣдахъ дѣлилась она съ этой Надей своими мечтами, воображая себя взрослой, помогающей мамѣ, зарабатывающей много денегъ... Затѣмъ видитъ себя Марья Павловна уже дѣвочкой, подросткомъ, читающей по праздникамъ съ матерью «Жанну д'Аркъ» и чувствующей въ своей груди жажду знанія, геройскихъ подвиговъ и борьбы со зломъ... Потомъ... послѣдній годъ гимназіи—печальный годъ: библіотека закрыта, мать Марьи Павловны частной работой, корректурой и перепиской, едва-едва доводитъ до конца образованіе дочери... Вотъ наступилъ, наконецъ, и желанный день. Видитъ Марья Павловна себя веселой, полной жизненныхъ силъ, вѣры въ будущее, и тутъ же рядомъ счастливую, заплаканную мать... А тамъ мечты о высшихъ курсахъ,—неосуществившіяся мечты... болѣзнь матери... ея смерть... нужда... встрѣча съ Григоріемъ Ивановичемъ... благородное желаніе спасти его... ненужное тяжкое замужество... несчастныя дѣти... опять нужда... случайный и невѣрный заработокъ, вѣчный

страхъ за завтрашній день. За что все это, за что?..

Утомленныя вѣки смыкаются—не то сонъ, не то дѣйствительная жизнь.

... Голубое небо... солнца нѣтъ... теплый, теплый воздухъ... кругомъ сѣрыя скалы... Марья Павловна стоитъ у подножія одной изъ нихъ... Темныя волны моря набѣгаютъ сердито, разольются возлѣ самыхъ ногъ и, будто чѣмъ-то недовольныя, мѣрно отхлынутъ назадъ...

А на берегу устрицы... много, много устрицъ... «Надо собирать скорѣй—не успѣешь»... Снова слышенъ какой-то особенный, не то грозящій, не то ласкающій шумъ, и темныя волны, покрытыя бѣлой пѣной, опять набѣгаютъ... Откуда-то голосъ, точно въ тактъ отбою и прибою, отчеканиваетъ слова: «Въ отлива часъ не вѣрь измѣнѣ моря... Въ отлива часъ не вѣрь измѣнѣ моря... Въ отлива часъ...»

Марья Павловна очнулась.

— Что за чушь! и сны какіе-то дурацкіе!... Устрицы и море, которое и видѣла только на картинахъ.. А завтра?.. Господи!.. Петля... петля...

Часы шипятъ и жалобно отбиваютъ три удара.

Марья Павловна безпокойно замѣталась на кровати.

— Къ кому идти?.. Куда?.. Просить?.. Какъ это пишутъ въ газетахъ: «обращаемъ вниманіе гг. благотворителей...» А это что еще?... Какой-то цыганскій романсъ лѣзетъ въ голову... Ахъ... какъ это глупо!

— Не смѣть...—бормочетъ во снѣ Григорій Ивановичъ.

— Ну, еще этотъ несчастный... Э, да что, взять и уйти... бросить. Ну, а уйдешь—развѣ легче? Кому онъ

нуженъ? Пропадетъ, какъ собака... Человѣкъ тоже...

Опять какой-то неуловимый знакомый мотивъ раздается въ ушахъ. Несносно! Мотивъ звучитъ все назойливѣе, потомъ тише... тише... и Марья Павловна забывается подъ эти звуки.

... Большой домъ. Солнце яркимъ свѣтомъ освѣщаетъ комнаты. Дѣвочки въ коричневыхъ платьяхъ, бѣлокурыя, черноволосыя, красивыя и некрасивыя, ходятъ, о чемъ-то волнуясь говорятъ... Видимо, ожидается что-то необычное. Марья Павловна тоже въ коричневомъ платьѣ, съ волосами, зачесанными гладко въ одну косу. Она принимаетъ дѣятельное участіе во всеобщемъ волненіи. Экзаменъ, и какой противный—географіи. Учитель—чистая жаба, придира, какихъ свѣтъ не создавалъ... Батюшки!.. Гдѣ же книга? Марья Павловна испугана, чувствуетъ, что все перепутала, забыла, а книгъ нѣтъ.. «Сейчасъ, вотъ сейчасъ нужно отвѣчать...» Она быстро сбѣгаетъ внизъ по лѣстницѣ, въ швейцарскую, начинаетъ искать около своего платья—нѣтъ... «Домой бѣжать? Все равно—не успѣешь вернуться...» И хочется ей куда-нибудь спрятаться, уйти отъ этого страха, чтобы и отыскать нельзя было...—«Григорьева!» слышитъ она нѣжный дѣтскій голосъ. Передъ нею стоитъ тоненькая бѣлокурая дѣвочка съ наивными голубыми глазами.—«Григорьева, не бойся, это я, Женя Добровольская!.. Тебѣ нужны книги—возьми». Дѣвочка подаетъ книги. «Ахъ, да вѣдь это Добровольская!...» Онѣ вмѣстѣ сидятъ уже третій годъ на одной скамейкѣ... Конечно, нужно было у нея спросить... Марья Павловна опять торопится наверхъ,

чтобы не опоздать къ экзамену... Чье-то всхлипыванье... Кто-то зоветъ ее по имени...

Марья Павловна открыла испуганные глаза—передъ ея кроватью стоялъ мужъ.

V.

— Маня... я подлецъ... Прости!..

— Ахъ, какъ ты меня испугалъ!.. Отстань, пожалуйста, ступай, ложись, ради Бога!

— Подлецъ, я самъ сознаю, подлецъ!

— Дашь ты мнѣ, наконецъ, покой?

— Какъ это пошло!..—съ запальчивостью, нервно вскрикиваетъ Григорій Ивановичъ.—Я пришелъ говорить съ тобой, какъ съ другомъ, а ты...

— Тише,—перебиваетъ его Марья Павловна,—здѣсь ребенокъ... Уйди, я спать хочу.

Молчаніе.

— Маня!

Марья Павловна не откликается.

— Я съ тобой, кажется, говорю,—раздражительно произноситъ Григорій Ивановичъ.—Ахъ, вы сердитесь, вѣрно, за ложку, возмущены, что я ее взялъ... Ну, взялъ. Взялъ! Скажите, какое преступленіе! Значитъ, было нужно...

Марья Павловна продолжаетъ молчать.

— Что же вы молчите... не отвѣчаете?.. Что же, лакей я, по-вашему? Собака? Неодушевленный предметъ?..

— Ахъ, это несносно!—Марья Павловна не въ силахъ больше сдерживаться. Давъ полную волю наки-

пѣвшему въ ней негодованію, она вдругъ заговорила торопливымъ полушопотомъ, чтобы не разбудить ребенка, захлебываясь отъ слезъ, задыхаясь:—Ты мнѣ надоѣлъ, понимаешь, надоѣлъ и... жить съ тобой надоѣло... прощать надоѣло... жалѣть тебя надоѣло... все... все... и твои обидныя выходки, и приступы раскаянья, и безполезное самобичеванье, и этотъ вѣчный страхъ, что въ одинъ прекрасный день раздавятъ тебя гдѣ-нибудь пьянаго... изуродуютъ, и что я бьюсь одна безъ поддержки, безъ помощи... все надоѣло... Понимаешь ты меня? Понимаешь?

Все понимаетъ Григорій Ивановичъ, но почему-то ему кажутся не заслуженными эти упреки, и даже напротивъ, онъ чувствуетъ себя чѣмъ-то въ родѣ жертвы, оскорбленной въ своихъ лучшихъ чувствахъ.

— Ну, что же!.. Вы правы,—съ саркастической улыбкой произноситъ онъ обиженнымъ голосомъ.— Конечно, я не могу вамъ дать комфорта и обезпеченнаго существованія, но я васъ не обманывалъ—вы знали, на что шли, что я не имѣю средствъ... А теперь... Что жъ... уйти спокойнѣе, чѣмъ дѣлить горе и нищету со мной, съ дѣтьми... И я васъ не держу— уходите...

— И уйду.

— И уходите!

Марьѣ Павловнѣ вдругъ почему-то дѣлается жалко, до боли жалко это выброшенное, за бортъ, еще воображающее себя человѣкомъ, безвольное, погибшее, никому ненужное созданье.

— Послушай,—обращается она черезъ минуту къ нетерпѣливо шагающему по комнатѣ мужу.—Послушай

ну... ну... подойди ко мнѣ и дай руку... Прости... Ахъ, такая жизнь, самъ знаешь, тяжелая!..

Григорій Ивановичъ крѣпко жметъ и подноситъ какъ-то сконфужено къ губамъ протянутую ему руку. Самыя разнообразныя ощущенія волнуютъ его душу: и будто стыдно чего-то, и будто совершенно правъ онъ, а сердце бередитъ гнетущая, тупая боль.

Часы пробили пять. Не спится обоимъ. Тяжелыя, упорныя думы сверлятъ мозгъ. Тихо. Только мѣрно стучитъ маятникъ, да изъ сосѣдней комнаты доносится храпъ Матрены да сладкое причмокиванье во снѣ одного изъ дѣтей.

«Маня удивительная женщина... Да! Но нѣтъ чуткости этой, понять ничего не можетъ, уяснить себѣ»,—думаетъ Григорій Ивановичъ и, успокоенный этимъ выводомъ, сново начинаетъ засыпать.

Марья Павловна тревожно ворочается на своей постели. Упорныя, неотступныя, требовательныя мысли то соберутся тучами надъ ея головой, то разсѣются, и не поймать ихъ смысла, то сново налетятъ вихремъ и крѣпко держатъ въ своихъ тискахъ; сердце усиленно бьется, передъ глазами мелькаютъ какіе-то неопредѣленные образы: не то змѣи, не то молніи и среди этого безформеннаго хаоса рѣзко выдѣляется чей-то бѣлокурый образъ. «Добровольская»... проносится въ полусонномъ сознаніи Марьи Павловны. «Да, она славная была, теперь замужемъ, я слышала, отъ кого не помню... за Иткарскимъ... директоръ банка... Важная барыня... богачка»...

— Что это, сонъ или правда? — Взволнованная Марья Павловна приподнимается на постели.—Добро-

вольская: вотъ идея... Великолѣпно! Точно внушеніе какое-то. Завтра же пойду къ ней: чтожъ дѣлать— лучшій исходъ... идти надо: петля.

Часы, попрежнему предварительно зашипѣвъ, отбили равномѣрно шесть ударовъ.

— Еще только шесть... охъ, какъ долго... Чтожъ, спать надо.

Голова Марьи Павловны снова упала на подушку.

«Добровольская...

... И вотъ опять выплываетъ откуда-то изъ тумана все та же Женя Добровольская... Она протягиваетъ руку съ книгой и улыбается... улыбается, словно дразнитъ... а туманъ наростаетъ все больше и больше... Опять мелкнули голубые глазки... покрылись легкой дымкой... вокругъ все тускнѣетъ... тускнѣетъ... и ничего не видно... одинъ мутный, сплошной туманъ...

VI.

Девятый часъ на исходѣ. Въ комнатѣ чуть брезжится полусвѣтъ петербургскаго зимняго чахоточнаго утра.

Съ раскраснѣвшимися щеками, раскинувшись на постели, крѣпко спитъ Марья Павловна.

— Вставать пора! Аль никуда не пойдете?—раздается надъ самымъ ухомъ грубый Матренинъ голосъ

— А что?—встрепенулась Марья Павловна. Она сладко потянулась на кровати, чувствуя себя совершенно разбитой. Все болитъ, буквально все... и лежала бы только, лежала... спала...—Который часъ?— произноситъ она слегка осипшимъ, полусоннымъ голосомъ.

— Неча валяться, пора вставать... Ужъ и спите,—

недовольно ворчала Матрена.—Дитенка сваво чуть-что не раздавили; я унесла, положила въ кровать. У васъ все не какъ въ людяхъ... Сочельникъ, дѣтямъ чаю нѣтъ... Надыть чего къ празднику припасать...

Марья Павловна быстро вскакиваетъ и начинаетъ одѣваться. Что-то упорное, неотвязное шевелится въ мозгу; что—она сама хорошенько не можетъ уяснить, но что-то нужное, особенное...

— Неужели такъ поздно?—испуганно спрашиваетъ она Матрену, указывая на убранную уже мужнину кровать.—Гдѣ же? Всталъ?

— И слѣдъ простылъ... Ему все одно!..—Матрена безучастно махнула рукой.

«Надо торопиться». Марья Павловна сама не понимаетъ, «почему», но только «надо, надо». Она поспѣшно бѣжитъ въ кухню умываться.

«Что же мнѣ сегодня было необходимо сдѣлать неотложное?» думаетъ она, плеская на лицо холодную изъ подъ крана воду. Матрена молча подаетъ старенькое полотенце. Марья Павловна крѣпко третъ свои покраснѣвшія отъ холода руки и лицо и торопливо возвращается въ комнату доканчивать свой незатѣйливый туалетъ.

— Барыня, а барыня, чего припасать будемъ?—глядя исподлобья, мрачно спрашиваетъ Матрена.—Я дѣтей не бужу—пущай спятъ... Проснутся—ѣсть запросятъ... Тамъ отъ ситника малость оставши, а я въ лавку больше не пойду... ну, ихъ—черти.

— Ахъ, отстань, пожалуйста, съ своимъ нытьемъ. Все будетъ!

— Будетъ, будетъ! У насъ завсегда такъ,—про-

должала сердито ворчать Матрена,—зато все и есть. Вотъ Сашеньки послѣдняя наволочка вся въ дырьяхъ пошла, Костя, тоже, почитай, голый... Собрала кое-что бариново тряпье—ковыряла, ковыряла да и бросила-просто ужасти!

— Оставь ты меня! Отвяжись!

— Чего кричать-то? Ваши дитенки... не чужіе... Вонъ у Мани тоже...

Въ груди Марьи Павловны вдругъ поднялось какое-то гнѣвное чувство.

— Ахъ, да уйди ты отъ меня, убирайся!—рѣзко крикнула она на Матрену.

— И уйду, и совсѣмъ уйду, не очень спужалась. Изъ-за дитенковъ только и живу—жалѣю!.. Эхъ, совѣсть господская!

Матрена, сердито хлопнувъ дверью, вышла изъ комнаты. Марьѣ Павловнѣ неловко, она чувствуетъ, что неправа: «Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, за что терпитъ эта горемычная Матрена? У другихъ, по крайней мѣрѣ, хотъ сыта была бы, а тутъ... И что у меня сегодня за странное настроеніе?..» думаетъ она, одѣваясь въ сильно поношенное коричневое платье. «Точно пустила я мой челнъ по вѣтру и плыву, не задумываясь... Все равно—думай, не думай—лучше не будетъ. Угодно Господу Богу—спасетъ, нѣтъ—значитъ, ложись и умирай.

«Ай-ай-ай! опять локоть прорванъ... Хорошо, что увидала, да какъ тутъ зашить—кругомъ штопано-перештопано... Ну, какъ-нибудь...

«Ужъ не жду отъ жизни ничего я
И не жаль мнѣ прошлаго ничуть...»

тихо мурлыкаетъ она, штопая рукавъ.

«Эка темень какая! Столичное утро!»

«Я бъ хотѣлъ забыться и заснуть!..

«Забыться... да!.. Заснуть... Ну ужъ ночь сегодня была у насъ—ужасъ!.. сплошной кошмаръ... Тоже стихи какіе-то... сама кажется пѣла. Или нѣтъ? Ахъ, да! Море... что же дальше?.. вотъ не могу припомнить... что-то знаменательное... Ну, ладно, кое-какъ тутъ заштопала! Противный цвѣтъ! Вотъ надоѣлъ-то!»

Марья Павловна разсматриваетъ въ зеркалѣ свое блѣдное, истомленное лицо.

«Ахъ, какая красавица! Отъ коричневаго еще будто желтѣе стала. И прежде-то онъ не шелъ ко мнѣ, когда въ гимназіи была... Боже мой, да вѣдь я сегодня ночью гимназію видѣла. Вотъ вѣдь исторія... да, да... да!.. И экзаменъ держала... книги забыла... а Женя Добровольская выручила... да.·. да!.. Иткарская... Отчего же не пойти?.. Попытаюсь—вѣдь голову не снимутъ, а можетъ-быть тутъ и спасеніе».

— Матрена, Матрена!

Матрена сидѣла въ кухнѣ, печально облокотясь на подоконникъ. Она была очень недовольна барыней и въ эту минуту находила ее и незаботливой, и безтолковой.

— Ишь, въ церковь идтить надо—такой день, а она пѣсни поетъ.

«Чтобъ въ груди дрожали жизни силы...»

доносилось изъ комнаты.

— У, ты! Дитенковъ только разбудитъ! И объ чемъ только думаетъ?..

— Матрена!

— Сича-а-съ—не оглохши...

Лѣниво шлепая туфлями, Матрена плетется въ комнату.

— Что вамъ?

— Матрена, милая, вотъ мнѣ необходимо въ адресный столъ—адресъ узнать. У тебя нѣтъ ли денегъ? Дай...

— Каки таки у меня деньги?..

— Ахъ, ты, Господи Что же дѣлать?.. Ну, ну, просто не знаю. Можетъ быть, достать гдѣ?.. Матрена..

— Что вамъ?

— Что жъ ты молчишь?.. Я тебѣ говорю.

— Слышу.

— Такъ достать можно? Сегодня отдадимъ.

— У кого достать-то? Тоже скажутъ...

— Господи! Ну, у кухарки, что ли... напротивъ.. вѣдь ненадолго.

— Сколько?—Матрена сурово взглянула на барыню.

— Ну... такой вздоръ... двѣ копейки... справка... знаешь...—пробормотала та сконфуженно.

— Ладно.

Матрена скрылась за дверью. Черезъ нѣсколько минутъ голова ея снова показалась въ дверяхъ.

— На-те трешникъ... У сусѣдской кухарки, чертовки, взяла... Страмъ, ей Богу!

Марья Павловна вспыхнула.

— Матрена я пойду сперва въ адресный... Еще въ одно мѣсто... Должно-быть, скоро вернусь—принесу все что нужно.

Матрена недовѣрчиво посмотрѣла на барыню.

— Ладно.

— Ты ужъ какъ-нибудь до меня справься...

— Да ладно, чего тутъ, ступайте!

Марья Павловна поспѣшно одѣвается въ свою обдерганную, суконную, на ватѣ кофту и плотно надвигаетъ на лобъ плюшевую порыжѣвшую, шапку.

— Такъ до свиданія, Матрена!

— Прошшайте!

VII.

Съ смѣшаннымъ чувствомъ стыда и нетерпѣнья выходитъ Марья Павловна изъ квартиры.

Еще пытка: надо пробраться черезъ длинный узкій дворъ, такъ чтобъ не встрѣтить дворника. Боязливо озираясь близорукими глазами, неувѣренной, робкой походкой проходитъ, наконецъ, Марья Павловна злополучный дворъ.

— Миновала, слава Богу.

На дворѣ ни души. Еще нѣсколько шаговъ—шмыгъ въ калитку и уже внѣ опасности.

На улицѣ не разберешь: не то зима, не то осень... Съ неба летятъ огромные, растрепанные бѣлые хлопья, а подъ ногами сѣрая грязь; съ крышъ течетъ, сырой сѣверный вѣтеръ, предательски забираясь за воротникъ, пронизываетъ насквозь холодомъ. Плотно прижавъ локти къ бокамъ и засунувъ кисти рукъ въ рукава, Марья Павловна шла поспѣшнымъ шагомъ, тщетно стараясь согрѣться. Несмотря на отвратительную погоду, по тротуарамъ, взадъ и впередъ снуетъ толпа озабоченныхъ предпраздничными закупками... Толкаются, спѣшатъ... Марья Павловна глядитъ уди-

вленными глазами: «Что за толчея такая? Ахъ, да вѣдь сегодня послѣдній день». Вонъ у дверей какой-то лавки цѣлый лѣсъ елокъ и простыхъ, и безвкусно разукрашенныхъ цвѣтными колечками изъ бумаги.

«Ну, эта роскошь не для насъ,—думаетъ Марья Павловна.—Третій годъ обѣщаю... да гдѣ ужъ тутъ... до елки ли? Авось когда-нибудь... А какая эта Женя Добровольская *теперь*?.. Любопытно... Сколько лѣтъ прошло!.. Удивительныя бываютъ вещи въ природѣ: предчувствія эти... сны... Ну, какъ объяснить? Надо же было видѣть сонъ, и вотъ я иду, даже съ надеждой, отчего, не знаю—но надѣюсь и вѣрю... Удивительно!» Совершенно незамѣтно для себя Марья Павловна очутилась на Садовой.

Вотъ и адресный столъ. Народу по случаю сочельника было не особенно много и Марья Павловна скоро опять вышла на улицу, держа въ рукѣ справочный бланкъ, на которомъ значилось, что Евгенія Сергѣевна Иткарская живетъ по Сергіевской, домъ № 5.

Бѣлые хлопья уже не летѣли съ неба; на смѣну имъ явилось солнце, такое холодное, не грѣющее, но все же солнце!.. и все вокругъ словно повеселѣло: еле живыя извозчичьи клячи точно подбодрились и легче тянули вязнущія въ грязи сани, и Садовая—всегда грязная Садовая—показалась Марьѣ Павловнѣ такой прибранной, и оборванныя, вѣчно снующія около Сѣнной, подозрительныя личности тоже будто подбодрились и повеселѣли съ чего-то.

Около Гостинаго двора не пройти: дѣти, барыни тѣснятся у ларчиковъ, пристроенныхъ съ наружной стороны. Мелькаютъ пестрые грубо сдѣланные цвѣты,

огромные маки, розаны... Бюсты Рубенштейна, смахивающіе на Пушкина, и Пушкина, какъ двѣ капли воды похожаго на Рубинштейна... Вотъ Щедринъ, Тургеневъ... Какія-то никому ненужныя раковины. глиняныя пестрыя вазы...

Шумъ, говоръ, суета...

«Развѣ посмотрѣть, что другіе дѣлаютъ», думаетъ Марья Павловна, пробираясь въ толпу.

— Купите, барыня, цвѣточковъ,—притворно слащавымъ голосомъ окликаетъ ее молодая бабенка, одѣтая въ ватное, опоясанное пестрымъ поясомъ пальто и съ платкомъ на головѣ.

— Цвѣтовъ угодно?—любезно обращается какая-то дѣвица въ шляпкѣ и коротенькой модной кофточкѣ.

Марьѣ Павловнѣ дѣлается совѣстно: точно всѣ знаютъ, что попала она сюда случайно, и даже хорошенько не понимаетъ, для какого собственно назначенія служатъ эти цвѣты, вазы, кувшинчики и почему съ такой нескрываемой жадностью набрасываются на нихъ всѣ проходящія мимо барыни.

— Позвольте,—слышится сбоку чей-то сиплый голосъ и ее отталкиваетъ довольно безцеремонно толстая дама въ шелковой ротондѣ.

— Почемъ?—категорически обращается дама къ цвѣточницѣ.

— По двадцать пять.

— Пятнадцать.

— Что вы,—обижено протестуетъ цвѣточница,—по всему Гостиному пройдете—наши цвѣты первые...

— Пятнадцать,—Дама снова толкается.—Почемъ?—слышится уже дальше ея сиплый голосъ.

— Позвольте пройти,—опять раздается около Марьи Павловны.

«Что это я у всѣхъ сегодня поперекъ дороги стою», думаетъ Марья Павловна и съ трудомъ пробирается дальше.

— Купите, барыня, мольбертикъ, бумага, конверты послѣдняя новость,—старательно выкрикиваетъ бѣлокурый мальчишка лѣтъ пятнадцати.

Большое окно слѣва приковываетъ къ себѣ вниманіе Марьи Павловны. Тутъ и лампы, и вазы, и бронзовыя статуэтки, и цвѣты опять, всюду цвѣты: въ длинныхъ овальной формы корзинахъ, въ фарфоровыхъ кувшинахъ, на абажурахъ лампъ... Изъ магазина выходитъ въ сопровожденіи офицера, молодая дама. Офицеръ нагруженъ всѣхъ возможныхъ величинъ пакетами, даже на пуговицахъ пальто болтаются зацѣпленные за веревочки маленькіе свертки. Дама и офицеръ останавливаются у окна.

— Ce n'est pas chêr vraiment, — глубокомысленно, произноситъ офицеръ, указывая на фарфороваго амура, держащаго букетъ изъ сирени въ рукахъ.

Дама волнуется.

— Mais il cédera, il cédera p cinq...

Офицеръ лѣниво пожимаетъ плечами, дама опять входитъ въ магазинъ

«Однако, что же это я,—встрепенулась Марья Павловна,—дома дѣти голодныя, по дѣлу иду и вздумала по окнамъ глазѣть?» Она поспѣшно стала пробираться сквозь толпу на улицу. «Господи, какая роскошь, а говорятъ, денегъ въ Россіи нѣтъ! И вотъ не хочешь завидовать, а зависть сама собой точитъ сердце и такая злоба,

такая злоба поднимается... Ну, чѣмъ эта барыня, покупающая амура, виновата, что я бьюсь всю жизнь бьюсь и выбиться не могу, а я ее ненавижу!.. И эти магазины, и эту толпу, и этотъ шумъ—все ненавижу!.. Ѣдутъ, торопятся... Брр!.. Однако, ни солнце, ни моя кофта не грѣютъ»...

— Берегись!— раздается почти надъ самымъ ухомъ и испуганная Марья Павловна отскакиваетъ назадъ. Мимо проносится вороной рысакъ; въ узенькихъ щегольскихъ санкахъ сидитъ вся ушедшая въ бѣлый пушистый мѣхъ стройная женская фигура.

«И чего я испугалась? Отлично было бы!.. Коротко и ясно... минута—и конецъ... Дама, пожалуй, оказалась бы добродѣтельной феей, и судьба моихъ дѣтей была бы устроена... Матрена нашла бы другое мѣсто... Мужъ,—ироническая улыбка скользнула по губамъ Марьи Павловны,—напился бы по этому случаю... всѣмъ удовольствіе, а мнѣ—покой. Право... вѣдь нужно же было!.. Однако, цѣль моего путешествія приближается, а я и не думаю, какъ и что... Э, да самое лучшее не думать... Сразу... Помню, раза два я даже была въ гостяхъ у этой Жени... Она жила съ отцомъ... Двѣ гувернантки—матери не было... она еще мнѣ всегда завидовала, что у меня мать жива... Помню, даже гостить къ себѣ на лѣто въ имѣніе звала, да я не поѣхала—стѣснялась... А теперь куда и стыдъ дѣвался!.. Какъ это—есть такая поговорка—ахъ, да! «какая тутъ честь, коли нечего ѣсть»... Господи, да что же мнѣ дѣлать? Ну, я приду... Ну, что же дальше?.. Я васъ видѣла во снѣ, по этому случаю позвольте денегъ... Да нѣтъ не пойду совсѣмъ... Не могу!»...

Марья Павловна остановилась возлѣ витрины какого-то магазина.

Въ окнѣ висятъ бусы изъ коралла и горнаго хрусталя, развѣшаны цѣпочки для часовъ, въ раскрытыхъ футлярахъ браслеты, серьги... Надъ окномъ большая черная вывѣска, на ней бѣлыми буквами написано: «Покупка и продажа золотыхъ и серебрянныхъ вещей».

«Покупка и продажа... Вотъ, взяла бы и продала, если бы было что... Купила бы всего дѣтямъ, всего—Матренѣ на радость... Однако, мнѣ самой тоже ѣсть хочется... слабость такая... Вотъ это колечко—ничего себѣ: съ краснымъ камнемъ... Удивительное существо человѣкъ—ей Богу!.. А вотъ самое лучшее стать сейчасъ на углу и... тихимъ-тихимъ голосомъ: «прошу не откажите для праздника!»... Однако, у меня, кажется, умъ за разумъ заходитъ!.. Ну все равно, идти такъ идти!..

VIII.

Марья Павловна быстро повернула направо и вошла въ улицу, гдѣ жили Иткарскіе.

Вотъ и указанный домъ. У подъѣзда сидитъ солиднаго вида пожилой швейцаръ, съ черными бакенбардами.

— Иткарскіе здѣсь?—робко обращается къ нему Марья Павловна.

Швейцаръ подозрительнымъ взглядомъ окидываетъ ея костюмъ.

— Здѣсь,—лѣниво пропускаетъ онъ сквозь зубы.—Вамъ по дѣлу—ступайте въ управленіе... Баринъ на дому не принимаетъ...

Марья Павловна вспыхнула.

— Я къ барынѣ.

— Къ ба-а-рынѣ?!—швейцаръ нехотя поднялся съ мѣста.— Идите, только врядъ ли... день такой...

Пріятная теплота отъ горящаго въ каминѣ угля охватываетъ Марью Павловну. Отъ стѣнъ лѣстницы, окрашенныхъ въ темно-красный цвѣтъ, вѣетъ такой-же теплотой. На окнахъ цвѣты, ступени покрыты краснымъ сукномъ, поверхъ сукна лежитъ бѣлая холщевая дорожка. Солнце, проникая въ окна сквозь листву растеній, играетъ свѣтлыми пятнами на темныхъ стѣнахъ. Гдѣ-то точно щелкнули замкомъ. Передъ Марьей Павловной открытая дверь; на порогѣ стоитъ миловидная горничная въ коричневомъ платьѣ, бѣломъ передникѣ съ кружевами и въ чепцѣ.

— Вамъ кого-съ?

— Евгенію Сергѣевну Иткарскую.

— Позвольте фамилію.

— Скажите... скажите,—запинается Марья Павловна,—ну... просто... одна дама по дѣлу... все равно

Горничная не шевелилась.

— Я не могу такъ доложить.

— Григорьева—скороговоркой произноситъ Марья Павловна,—моя дѣвическая фамилія... Только скажите—онѣ знаютъ...

Горничная сдѣлала гримасу и, безцеремонно захлопнувъ дверь, скрылась.

— Барыня не очень здоровы, ежели по дѣламъ обчества, такъ онѣ извиняются, раньше седьмого принимать не будутъ. Всѣ распоряженія къ празднику

сдѣланы и перемѣнъ никакихъ нельзя,—жеманно произнесла вновь появившаяся на порогѣ горничная.

Марья Павловна чувствуетъ приливъ какого-то злого, упрямаго чувства.

— Вы, вѣрно, не такъ передали фамилію,—заговорила она нарочно громкимъ голосомъ.—Я—Григорьева, передайте барынѣ: ея подруга по гимназіи.

— Не знаю, какъ сказать... Барыня нездоровы,—съ презрительной гримасой тянула горничная.—Ежели по дѣламъ обчества...

Острое ощущенье точно электрическимъ токомъ ударило по нервамъ Марьи Павловны и чувствуетъ она что вотъ-вотъ сейчасъ можетъ произойти нѣчто безобразное: еще минута и она способна будетъ просто избить эту нахальную самодовольную физіономію, съ завитой челкой и кокетливо приколотымъ бѣлымъ чепцомъ на головѣ.

— Я васъ прошу доложить,—крѣпко стиснувъ зубы произнесла она почти задыхаясь.

Горничная пожала плечами и сердито захлопнула дверь.

— Что же это?... Нѣтъ бѣжать лучше!.. Безобразіе!.. И чего я лѣзу? Господи!.. Униженіе, срамъ!..

Дверь снова отворилась...

— Пожалуйте.

Марья Павловна, не глядя на горничную, бокомъ входитъ въ большую темную переднюю, освѣщенную съ потолка висячимъ фонаремъ. Сбросивъ кофточку, она нагибается, чтобы снять калоши.

— Позвольте, я помогу,—съ напускной вѣжливостью

Марья Павловна вспыхнула.

— Я къ барынѣ.

— Къ ба-а-рынѣ?!—швейцаръ нехотя поднялся съ мѣста.— Идите, только врядъ ли... день такой...

Пріятная теплота отъ горящаго въ каминѣ угля охватываетъ Марью Павловну. Отъ стѣнъ лѣстницы, окрашенныхъ въ темно-красный цвѣтъ, вѣетъ такой-же теплотой. На окнахъ цвѣты, ступени покрыты краснымъ сукномъ, поверхъ сукна лежитъ бѣлая холщевая дорожка. Солнце, проникая въ окна сквозь листву растеній, играетъ свѣтлыми пятнами на темныхъ стѣнахъ. Гдѣ-то точно щелкнули замкомъ. Передъ Марьей Павловной открытая дверь; на порогѣ стоитъ миловидная горничная въ коричневомъ платьѣ, бѣломъ передникѣ съ кружевами и въ чепцѣ.

— Вамъ кого-съ?

— Евгенію Сергѣевну Иткарскую.

— Позвольте фамилію.

— Скажите... скажите,—запинается Марья Павловна,—ну... просто... одна дама по дѣлу... все равно

Горничная не шевелилась.

— Я не могу такъ доложить.

— Григорьева—скороговоркой произноситъ Марья Павловна,—моя дѣвическая фамилія... Только скажите—онѣ знаютъ...

Горничная сдѣлала гримасу и, безцеремонно захлопнувъ дверь, скрылась.

— Барыня не очень здоровы, ежели по дѣламъ обчества, такъ онѣ извиняются, раньше седьмого принимать не будутъ. Всѣ распоряженія къ празднику

сдѣланы и перемѣнъ никакихъ нельзя,—жеманно произнесла вновь появившаяся на порогѣ горничная.

Марья Павловна чувствуетъ приливъ какого-то злого, упрямаго чувства.

— Вы, вѣрно, не такъ передали фамилію,—заговорила она нарочно громкимъ голосомъ.- Я Григорьева, передайте барынѣ: ея подруга по гимназіи

— Не знаю, какъ сказать... Барыня нездоровы съ презрительной гримасой твердила горничная.—[illegible] по дѣламъ общества...

Острое ощущеніе точно электрическимъ токомъ ударило по нервамъ Марьи Павловны и [illegible] она что вотъ-вотъ сейчасъ можетъ [illegible] нѣчто безобразное: еще минута и она [illegible] будетъ просто избить эту нахальную, самодовольную физіономію, съ завитой челкой и кокетливо приколотымъ бѣлымъ чепцомъ на голову.

— Я васъ прошу доложить,—[illegible] произнесла она почти задыхаясь.

Горничная пожала плечами и [illegible] дверь.

— Что же это?... Это [illegible]! Безобразіе! И чего я жду? Господи! Униженіе какое.

Дверь снова отворилась...

— Пожалуйте.

Марья Павловна, не глядя на горничную, входитъ въ большую [illegible] съ потолка висящимъ фонаремъ, [illegible] она наклоняется, чтобы снять калоши.

—Позвольте, я помогу,— [illegible]

стараясь придать привѣтливый тонъ голосу, злобно цѣдитъ сквозь зубы горничная.

— Не надо.

Какъ нарочно, снѣгу понабилось въ калоши—не лѣзутъ; руки дрожатъ отъ волненья. Марья Павловна долго и безуспѣшно возится съ калошами: «проклятыя!»... Наконецъ-то справилась!..—Она обдергиваетъ измятое платье, торопливо снимаетъ передъ большимъ зеркаломъ рыжую, потерявшую всякую форму, шапку.

«Ахъ, эти красные пальцы!»..—Она вынимаетъ платокъ и усиленно третъ, покраснѣвшія отъ холода, руки.

— Пожалуйте сюда-съ, въ гостинную,—приглашаетъ горничная. Марья Павловна чувствуетъ на себѣ ея презрительный, уничтожающій взглядъ.

«Поскорѣй уйти, убѣжать отсюда, куда глаза глядятъ»...

Она входитъ направо, и вдругъ спотыкается обо что-то: тутъ лапа, а вотъ и голова--цѣлый тигръ расположился сбоку у входной двери—она и не замѣтила.

— Тише, пожалуйста,– напутствуетъ ее сзади голосъ горничной.

IX.

Длинная комната въ четыре окна, стѣна синевато-зеленая, мебель такая же; пестрыя драпировки красивыми капризными складками раскинулись надъ окнами и дверями. На стѣнахъ рельефно выступаютъ картины въ золоченыхъ рамахъ; уютные диванчики, табуретки, странной, прихотливой формы кресло, столики съ инкру-

стаціей и изъ разрисованнаго фарфора разставлены въ умышленномъ безпорядкѣ тутъ и тамъ. Среди общаго темнаго колорита комнаты красиво вырисовываются контуры массивныхъ лампъ съ огромными шелковыми абажурами. На диванахъ и креслахъ небрежно разбросаны вышитыя миніатюрныя подушки и въ бронзовыхъ, фарфоровыхъ, плетеныхъ корзинахъ—цвѣты: масса цвѣтовъ.

Тонкій, немного приторный запахъ гіацинтовъ и ландышей пріятно дурманитъ голову.

Въ среднемъ простѣнкѣ, между оконъ, огромное трюмо въ золоченой рамѣ. Въ зеркалѣ отражается какая-то жалкая фигура въ потертомъ коричневомъ платьѣ.

— Господи! Какое безобразіе,—волнуется Марья Павловна.—На что я похожа? Руки, какъ у рака... рукава сѣли... передъ платья вздернутъ... сапоги рыжіе.. И сѣсть, не знаю, какъ, еще сломаешь что-нибудь... Лучше такъ отойду отъ зеркала—постою. И зачѣмъ я только пришла, Господи, зачѣмъ?

Спущенная въ сосѣдней комнатѣ драпировка тихо зашевелилась и на порогѣ показалась маленькая бѣлокурая женщина съ хорошенькимъ дѣтски наивнымъ личикомъ. На ней былъ бѣлый суконный капотъ, опушенный соболемъ; на плечахъ накинута маленькая, тоже изъ соболя, пелерина.

Хорошенькая женщина щурила свои большіе голубые глаза.

— Извините,—нерѣшительно начала она, но вдругъ остановилась: Манечка Григорьева—да это ты! Какъ перемѣнилась!.. Душечка, очень рада!... Мнѣ и въ го-

лову не пришло... говорятъ, Григорьева... Какая Григорьева? Вотъ и не воображала, что это ты. Прости, душечка—по дѣтской привычкѣ—будемъ говорить другъ другу «ты»... Это такъ пріятно, не правда ли?.. Ну что же ты молчишь... Ахъ, какая странная!... Пойдемъ,—засмѣялась Евгенія Сергѣевна, протягивая свою бѣлую холеную ручку.

Онѣ вошли въ смежную съ гостиной нарядную, всю бѣлую съ голубымъ, небольшую комнату, въ два окна. Рѣзкость перехода отъ темноты къ свѣту была такъ велика, что Марья Павловна зажмурила глаза.

— Душечка, что съ тобою?

— Ничего.. Тамъ такой полумракъ, а здѣсь свѣтло.

— Тебѣ нравится? Вѣдь, правда—хорошо? а?.. Ну, я очень рада. Садись вотъ здѣсь,—указала она кресло и сама уютно расположилась, подобравъ подъ себя ноги, на близъ стоящей тутъ же, голубой шелковой кушеткѣ.—Ты выпьешь со мной чаю? Я велю подать... У насъ всегда въ три... Ну, можно немного раньше, все равно... Вѣдь «для милаго дружка»... или, можетъ быть, кофе? да? Ну, хорошо. Да что же ты все молчишь? Ахъ, такая же дикая, какъ прежде.

Марья Павловна, съ смущеннымъ видомъ, крутила въ рукахъ платокъ.

— Я не могу... такъ скоро... вдругъ...

— Ну, хорошо, хорошо—за кофе разговоримся.

Евгенія Сергѣевна позвонила.

— Кофе сюда,—приказала она вошедшей горничной.

— Ты меня нашла—это такъ мило... А тебя даже вотъ недавно мой папа вспоминалъ: «куда эта черненькая барышня дѣвалась?»... Ты знаешь, мой папа же-

нился вскорѣ, какъ мы гимназію кончили. Теперь у меня мачеха, еще молодая, мы въ дружбѣ большой. Послѣ гимназіи я хотѣла на курсы идти непремѣнно—папа не пустилъ, а тутъ скоро Сережа сдѣлалъ предложеніе... Ну, конечно, я о курсахъ и забыла. Ну, а ты? Я вѣдь такъ тебя изъ вида потеряла—ничего не знаю.

— Мнѣ тоже не удалось съ курсами...

— Ну-у-у? Отчего?

— Да... прежде... мама заболѣла—пришлось ей оставить мѣсто въ библіотекѣ... Я уроки нашла... такъ, не важные... Кое-какъ перебивалась... Очень трудно было—не до курсовъ.

А потомъ?

— Потомъ... маму схоронила...

— Что ты? Ахъ, какъ жаль—ты ее, кажется, очень любила... Да, вотъ... сколько перемѣнъ,—задумчиво произнесла Евгенія Сергѣевна и ея улыбающееся лицо приняло сосредоточенное выраженіе,—у меня тоже потеря была; Miss Іоллеръ, помнишь, меня воспитывала... англичанка? Умерла, бѣдняжка... Ахъ, какъ я плакала ужасно!... А француженка ничего, еще молодецъ... Живетъ теперь со мной... Дѣтей обожаетъ... Трясется, просто... избаловала... ни на что не похоже... Вотъ это мой мужъ. Ты никогда его не видѣла?—съ гордостью указала Евгенія Сергѣевна на висѣвшій надъ ея головой писаный масляными красками портретъ пожилого брюнета, съ холоднымъ взглядомъ стальныхъ сѣрыхъ глазъ. Постой... Да какъ же ты меня разыскала?.. Ты знала развѣ, что я замужемъ и за кѣмъ?..

— Да, давно ужъ кто-то сказалъ... Забыла даже кто...

Горничная внесла большой серебряный подносъ на которомъ въ красивой симмертіи были разставлены чашки, сухарница съ печеньемъ, серебряный кофейникъ, сахарница и молочникъ со сливками.

— Можетъ-быть ты любишь хлѣбъ съ масломъ?— съ любезной улыбкой обратилась хозяйка.—У насъ масло—ты не думай—свое.., изъ имѣнія... не петербургское... Можешь кушать спокойно... Принесите масло и бѣлый хлѣбъ,—приказала она горничной.

Черезъ минуту на столѣ стояла хрустальная, на серебряной подставкѣ, масленица и тонкими ломтями нарѣзанный бѣлый хлѣбъ.

Марья Павловна почувствовала жгучее нетерпѣніе голода. Вотъ-вотъ сейчасъ кажется, не дожидаясь приглашенья хозяйки, она набросится и станетъ съ жадностью поглощать все, что у нея передъ глазами, не заботясь о приличіяхъ, забывъ все, кромѣ желанья ѣсть, ѣсть до сытости.

Евгенія Сергѣевна, сдвинувъ узенькія брови, съ сознаніемъ важности исполняемаго дѣла, медленно и осторожно наливала кофе въ чашки.

— Ахъ, несносная—всегда забудетъ!

Она нетерпѣливо позвонила.

— Сколько разъ я васъ просила не забывать приносить кипятокъ въ чайникѣ,—скорѣе обиженно, чѣмъ сердито замѣтила она вошедшей горничной.—Не всѣ пьютъ крѣпкій кофе... Это мученье!.. вѣчно забудетъ.

Горничная изчезла и опять появилась, неся въ рукахъ высокій, серебряный чайникъ.

— Ступайте. Никого не принимайте... Слышите?

Наконецъ налитая чашка съ, кофе стоитъ передъ Марьей Павловной.

— Пожалуйста, кушай, милая.—Евгенія Сергѣевна предупредительно подвигаетъ хлѣбъ и масло.

И вдругъ отчего-то дѣлается стыдно Марьѣ Павловнѣ, стыдно чуть не до слезъ. Она протягиваетъ дрожащую слегка руку и беретъ изъ сухарницы самый маленькій сухарикъ.

— Можетъ быть, кусочекъ кэксу? У насъ поваръ печетъ самъ.

— Н-н-нѣтъ, не хочется...—Она низко наклоняетъ голову и, едва преодолѣвая жадность, старается прихлебывать кофе маленькими глотками вполнѣ сытаго человѣка.

Пріятная теплота разливается по тѣлу. Марья Павловна вдыхаетъ въ себя ароматъ душистаго горячаго кофе. Славно! Точно нектаръ какой-то пробѣгаетъ по жиламъ... Какъ хорошо! Эта уютная красивая комната, мягкое удобное кресло, хорошенькая женщина грѣющая свои ножки въ пушистомъ мѣховомъ коврѣ солнце, играющее на серебряномъ подносѣ, даже портретъ суроваго господина съ холодными стальными глазами—все хорошо!.. И забыла Марья Павловна нетопленную квартиру, Матрену, мужа пьянаго, дѣтей, мучительную ночь безъ сна, пронизывающій холодъ улицы, все забыла... забыла даже, зачѣмъ она здѣсь среди чуждой ей роскотной обстановки, въ обществѣ этой красивой и нарядной женщины... Сладкія воспоминанія шевелятся въ мозгу... встаютъ картины дѣтства... невеселаго, но все же дѣтства... Какіе-то обрывки безсвязныхъ мыслей бродятъ въ головѣ... О чемъ го-

ворятъ онѣ? Марья Павловна не знаетъ. Она сама вся куда-то исчезла и осталось только одно чисто животное наслажденіе голоднаго, иззябшаго человѣка.

— Милушка, ты куда-то улетѣла!—раздается звонкій смѣхъ Евгеніи Сергѣевны, показывающей свои мелкіе, какъ у мышонка, зубки. Помнишь, у тебя въ гимназіи тоже такая привычка была—тебѣ разъ единицу за это поставили. Помнишь?.. Еще чашечку можно? да?.. Я налью... Ахъ, и какъ я рада тебя видѣть, право, такія милыя воспоминанія, такія милыя... Я ни съ кѣмъ изъ нашихъ такъ и не встрѣчалась съ тѣхъ поръ... только водъ видаю Качановскую иногда... Она теперь, знаешь, пѣвица и хорошая... Ну, вотъ приходится обращаться съ просьбами для разныхъ благотворительныхъ концертовъ... Ахъ, эти концерты, просто измучили!.. Такая всегда съ ними возня, а мужъ любитъ, чтобы я тоже играла роль въ обществѣ, приносила пользу государству... Ну, вотъ я и должна. Ахъ! онъ у меня такой строгій финансистъ—просто бѣда! Евгенія Сергѣевна опять засмѣялась. Ты меня прости, милушка, что я тебя такъ заболтала, но когда долго не видишься,—все, все хочется разсказать. Впрочемъ ты добрая, и прежде мою болтовню охотно слушала, даже любила... А ты всегда такая солидная, солидная была, скромница... Папѣ моему ужасно нравилась!..

— Вотъ и мнѣ захотѣлось старое вспомнить,—немного покраснѣвъ, медленно проговорила Марья Павловна,—я и пришла.

— Отлично сдѣлала, отлично!.. Только если бы не такой день—ты бы меня не застала—такъ много дѣла, ужасно! Я принимаю по вторникамъ отъ 2-хъ

до 6, а вечеромъ у насъ субботы... Остальные дни просто на расхватъ!.. Не увидишь, какъ недѣля пролетаетъ... Другой разъ такъ устанешь—готова не раздѣваясь броситься въ кровать и спать спать, сорокъ дней... Вотъ и сегодня предстоитъ большая елка у однихъ знакомыхъ... Я бы не поѣхала—замучилась съ этими предпраздничными хлопотами; но Сережѣ нужно непремѣнно видѣть одного господина, тоже финансиста—тамъ у нихъ разные, проекты, конверсіи, сочиняютъ, придумываютъ... Сережа такой ретивый, даже отдыха не знаетъ... Ну вотъ я, значитъ, сегодня и отправляйся...

— Зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ?!—Съ мужемъ... Какая ты странная... Я должна ему помогать. Онъ у меня, я тебѣ говорю, строгій педантъ до мелочей, и въ дѣлахъ, и въ обществѣ. Зато посмотри, какъ его всѣ уважаютъ Да я сама понимаю, что, просто, не стою такого мужа и подчиняюсь ему безпрекословно. Ну, бываютъ маленькія недорозумѣнія... У кого же ихъ нѣтъ... но я говорю про серьезные... Только вотъ онъ требуетъ чтобы была спокойнѣе, а я не могу, ну не могу—волнуюсь изъ-за всего. Эту зиму, напримѣръ, такъ волновалась, такъ волновалась—даже сама себѣ надоѣла, не то что другимъ.

— О чемъ ты волнуешься?—безучастно тихо спрашиваетъ Марья Павловна.

— О, Боже мой! да нынче столько было событій—Развѣ ты не знаешь, сколько пришлось пережить?... Наши суда во Франціи, гибель «Русалки», смерть Чайковскаго... Ахъ, она такъ насъ всѣхъ поразила! Потомъ

эта возня съ подаркомъ французскимъ женщинамъ... А тутъ еще какъ нарочно постоянные споры съ Сережей: мнѣ хочется купить что-нибудь—онъ говоритъ «нельзя». Я нахожу это скупостью—онъ говоритъ «бюждетъ»... Самъ тратитъ на меня, сколько угодно, а я не смѣй, потому что ничего не понимаю въ бюджетѣ... Выпишетъ мнѣ платье изъ Парижа и считаетъ сколько котлетъ осталось отъ обѣда... Я опять говорю—скупость, а онъ говоритъ «бюджетъ»... Впрочемъ, онъ правъ: я, дѣйствительно, ничего въ финансовыхъ дѣлахъ не понимаю... мнѣ бъ только тратить, тратить, а онъ финансистъ настоящій.

Марья Павловна, какъ сквозь сонъ, слушая болтовню хозяйки, чувствуетъ какое-то странное головокруженіе. «Отчего бъ это?—думаетъ она... — Даже знобитъ какъ будто... Однако, что же я засидѣлась—надо идти... какъ въ гостяхъ ни хорошо... Въ гостяхъ... Господи! вѣдь я за дѣломъ шла... Ничего не соображаю—точно въ дурманѣ».

— Милушка, а ты о себѣ ни слова, — беззаботно трещитъ Евгенія Сергѣевна.—Разскажи же, какъ, что?

— Мои разсказы не веселые...

— Нѣтъ... Отчего... Говори... мнѣ всѣ интересно... Такъ ты маму свою схоронила... ну и что же? Евгенія Сергѣевна, приготовившись слушать, сдѣлала сосредоточенно внимательное лицо, что совсѣмъ не шло къ ея веселымъ глазамъ и маленькому, дѣтскому ротику.

— Что же?

— Право, не знаю... Такъ много всего непріятнаго... и хотѣлось бы... но какъ-то...

Марья Павловна неловкимъ движеніемъ провела рукой по волосамъ, глубоко всей грудью вздохнула, точно стараясь разомъ набрать побольше воздуха.

— Я собственно пришла... Такъ странно случается въ жизни... Да, такъ вотъ... Послѣ смерти мамы, ты спрашиваешь?...

Она заикнулась и стала нервно теребить находившійся въ рукахъ платокъ.

— Ну, такъ вотъ... я задолжала, переѣхала въ меблированныя комнаты... тамъ... на Забалканскомъ... плохія... Жилось, конечно не важно, а тутъ рядомъ познакомились... тоже жилъ... нуждался... увлеклась.. показался исключительной натурой... Ну, и вышла замужъ.

Марья Павловна снова глубоко вздохнула.

— Ахъ, ты замужемъ?

— Да.

— Онъ тоже служитъ?

— Какъ сказать?... Я не виню... Онъ самъ не радъ...—Она замялась.

— Какое-нибудь горе съ нимъ?... Безъ мѣста?

— Нѣтъ, не то, а...—Марья Павловна вспыхнула и заговорила торопливо, точно боясь противорѣчій:— Онъ очень хорошей семьи... былъ офицеромъ... красивый и умный, но... избаловали еще съ дѣтства—жить не умѣетъ. Прежде кутилъ, изъ полка ушелъ, потомъ занимался частными дѣлами... Съ кліентами приходилось... все дальше да больше... Ну и теперь совсѣмъ... каждый день...—Голосъ Марьи Павловны дрогнулъ— Не могу...—проговорила она шепотомъ.

— Бѣдная... Это ужасно! Пьетъ! Вотъ положеніе!—

съ участіемъ произнесла Евгенія Сергѣевна. Лѣчить!— вдругъ встрепенулась она, видимо, обрадованная этой мыслью.

Марья Павловна посмотрѣла на нее съ недоумѣніемъ.

— Ну да лѣчить! Непремѣнно! Я слышала... бываютъ примѣры... Ахъ, Боже мой, да чего лучше: въ нашемъ благотворительномъ обществѣ секретарь—докторъ... Я дамъ тебѣ свою карточку — поѣзжай къ нему—онъ, навѣрное, поможетъ Ну, хоть за совѣтомъ, къ нему обратиться. Поѣзжай... Хорошо?

Горькая улыбка пробѣжала по губамъ Марьи Павловны.

— Нѣтъ, нѣтъ, не то... Я, вѣрно, не умѣю... Вотъ сегодня видѣла во снѣ... и пришла... Ахъ... не знаю...— Она говорила, обрывая каждое слово, растерянно болѣзненнымъ голосомъ, стараясь не глядѣть на Евгенію Сергѣевну и кусая губы.

— Милая, да не волнуйся такъ... Какая ты нервная, право... Впрочемъ, у насъ, въ Петербургѣ, всѣ мы никуда не годимся... Ну что же—если не хочешь лѣчить— возьми отдѣльный видъ—это отлично... Ну какъ-нибудь устроимъ, наконецъ, что же отчаиваться... Сережа попроситъ, у него вездѣ знакомые...

«Что же это? Она смѣется надо мной, или, правда ничего не понимаетъ?.. Или же я сама такъ говорю непонятно...», стараясь разобрать въ происходящемъ вокругъ нея, думаетъ Марья Павловна, и ей кажется, что въ этой комнатѣ, помимо ихъ двухъ, присутствуетъ еще кто-то третій, какая-то стихійная властная сила схватила вдругъ и держитъ крѣпко въ своихъ тискахъ и не уйти отъ нея, никуда не уйти... Марья

Павловна безпокойно оглядываетъ комнату. На полу большое свѣтлое пятно отъ солнца, и хочется ей броситься на это пятно кричать, кричать дикимъ голосомъ что есть силы... Она отводитъ глаза отъ пола. Прямо передъ ней на стѣнѣ огромный черный кругъ... онъ приближается.., все ближе и ближе. Тукъ... тукъ... тукъ... тукъ... назойливо отдается въ ея ушахъ біенье собственнаго сердца.

Полулежа на кушеткѣ, Евгенія Сергѣевна съ озабоченнымъ видомъ играетъ кистями своего капота.

— Я сознаюсь, что совсѣмъ не умѣю... и пришла, конечно, съ цѣлью,—устремивъ воспаленные глаза въ пространство, точно обращаясь къ тому третьему невидимому лицу, прерываетъ молчаніе Марья Павловна,—Да самолюбіе проклятое!...– «Э, да что!.. и какая тутъ честь, коли нечего ѣсть», вихремъ проносится въ головѣ.—Я лучше прямо,—съ какой то неестественной развязностью, вызывающимъ рѣзкимъ голосомъ иронически улыбаясь и держась рукой за сердце, будто желая остановить его удары, обращаетъ уже къ хозяйкѣ свою рѣчь Марья Павловна;

— Приходится работать,—я вовсе не жалуюсь,— она усмѣхнулась,—но заработки ничтожные... переписка, уроки... трое дѣтей.. такъ жизнь сложилась... тяжело, долги за долгами, а тутъ еще это горе...

Нервное возбужденье возрастало все больше и больше

— Онъ все тащитъ изъ дому, положительно... потомъ плачетъ, мучается... Что я буду дѣлать? заложено все... бьюсь, бьюсь,—и выхода не вижу... Ахъ Боже мой, да немогу же я больше! Голова ея безпомощно

падаетъ на столъ... Не могу!.. шепчутъ воспаленныя губы.

— Душечка, что ты, что ты? Такъ нельзя отчаиваться,—суетливо заволновалась Евгенія Сергѣевна, сконфуженно моргая своими маленькими глазками. Это молодушіе! подумай у тебя дѣти... Но что же дѣлать? Ахъ, ты Господи!—еще больше конфузясь лепетала она. Вотъ послѣ праздниковъ я могу что нибудь устроить... въ твою пользу концертъ или спектакль, а теперь ужъ просто не знаю... Вѣдь этакая неудача,—сокрушенно качала она головой,—приди ты хоть не много раньше... ну, недѣли двѣ тому назадъ, я бы непремѣнно устроила... а теперь...

Евгенія Сергѣевна задумалась и стала, повидимому. что-то соображать.

— Постой!.. Постой!.. Да, нѣтъ,—вдругъ перемѣнила она тонъ, точно осѣклась,—Сережа правъ, я ничего не понимаю въ финансовыхъ дѣлахъ; вотъ сейчасъ мнѣ пришла мысль въ голову - попросить у папы денегъ и сейчасъ же я вспомнила: онъ только что подарилъ мнѣ абонементъ на ложу къ итальянцамъ... Сережа поскупился, а онъ подарилъ, и вдругъ я опять съ просьбой .. Вотъ было бы ловко!.. Вотъ хорошо!.. Сережа никогда мнѣ этого не простилъ бы. Но какъ же быть... какъ быть!—стала опять сокрушаться Евгенія Сергѣевна.—У меня самой тоже нѣтъ ни копѣйки —всѣ истратила... Ахъ Боже мой!

Марья Павловна тихо всхлипывала.

— Да не плачь, ради Бога, не плачь!..—жалобно просила Евгенія Сергѣевна.—Я не могу видѣть, когда плачутъ... Наконецъ, что же отчаиваться—можетъ-быть

все устроится къ лучшему... Что дѣлать? Наша жизнь—сама знаешь—страданіе... Главное, никогда не нужно падать духомъ... А ты знаешь—говорятъ, кому Господь посылаетъ испытанія, того Онъ любитъ,—наставительнымъ тономъ произносила Евгенія Сергѣевна.

— Марья Павловна не поднимала головы.

—Ахъ, Боже мой! да что же мнѣ съ тобой дѣлать? —совсѣмъ съ дѣтскимъ отчаяніемъ воскликнула Евгенія Сергѣевна, безпомощно озираясь вокругъ.

— Постой... я тебѣ дамъ гомеопатіи...

Она поспѣшно подошла къ маленькой шифоньеркѣ, порылась въ ящикѣ, и отыскавъ желаемый пузырекъ, съ дѣловымъ видомъ отсчитала пять крупинокъ.—

— Прими, это очень хорошо. Сережа мнѣ всегда даетъ отъ нервовъ... Ну, прими же...

Марья Павловна подняла заплаканное лицо и машинально проглотила крупинки.

Въ комнату вошла горничная.

— Барыня, м—elle васъ проситъ.

Хорошо, хорошо ступай,—скажи «сейчасъ»,—торопливо отвѣтила Евгенія Сергѣевна.

— Душечка, прости—тамъ вѣрно что-нибудь дѣти... У насъ сегодня маленькая елка для нихъ, въ дѣтской... Посиди тутъ, успокойся. Я приду скоро.

Она поспѣшно поцѣловала Марью Павловну и, шурша шелковыми юбками, быстро исчезла за портьерой.

X.

Тихо въ голубой комнатѣ.

Марья Павловна одна... Нѣтъ—«оно» опять тутъ,

это таинственное, роковое, нѣчто, вѣетъ въ воздухѣ, прячется въ цвѣтахъ, играетъ въ солнечномъ лучѣ, перерѣзывающемъ комнату, даже дышитъ какъ будто. Дыханіе такое глубокое... порывистое...

Марья Павловна подъ вліяніемъ безотчетнаго тупого страха закрываетъ глаза, а «оно» тутъ, все тутъ... Теперь въ видѣ густыхъ сѣрыхъ облаковъ: они вихремъ налетаютъ... заволакиваютъ... заволакиваютъ... И вдругъ—странно—Марьѣ Павловнѣ кажется, что это стихійное нѣчто не кто другой, какъ она сама... да, да, да! Она сама будто отрѣшилась отъ своей видимой оболочки и наполняетъ собой комнату, витаетъ въ пространствѣ... Все мало простора ей... все мало. Стѣны комнаты раздвинулись, окна вотъ—вотъ сейчасъ распахнутся настежъ и сольется она, Марья Павловна, съ чѣмъ-то свободнымъ, безграничнымъ, всеобъемлющимъ...

Она вздрагиваетъ и, широко раскрывъ испуганные глаза, съ удивленіемъ озирается вокругъ.

Голубая комната попрежнему освѣщена солнцемъ.. Вотъ кушетка... Бѣлая, подъ голубымъ атласнымъ балдахиномъ кровать, бюро, портретъ на стѣнѣ... Но почему-то страшно смотрѣть на тотъ уголъ, гдѣ зеркальный шкапъ—точно кто притаился тамъ, за нимъ, и подсматриваетъ...

«Какая чушь, кофе былъ крѣпкій, должно-быть—нервы расходились и сердце оттого бьется... а пульсъ, какъ сумасшедшій»... тревожно щупая пульсъ и стараясь успокоить себя, думаетъ Марья Павловна, а сама все боится, хотя бы даже нечаянно взглянуть на зло-

получный шкапъ и невольно отводитъ глаза въ противоположную сторону.

— Ахъ, здѣсь каминъ... я и не замѣтила... А какая красивая штука передъ нимъ вышитая... амуры и розы... Хорошо...

Она внимательно осматриваетъ экранъ.

«Да, кому все... кому—нѣтъ ничего... А вотъ говорятъ судьба... Охъ, судьба много значитъ... Что это? Голова качается у этой куклы—должно-быть, сломана... какая жалость! хорошенькая»...

Она бережно снимаетъ съ камина форфоровую маркизу въ напудренномъ парикѣ и подобранномъ фижмами платьѣ...

«Нѣтъ—цѣла... Что же это мнѣ показалось? Въ глазахъ двоится, или съ ума начинаю сходить... вотъ такъ сюрпризъ! А что-же—тѣмъ лучше! »Все дѣлается къ лучшему»... «Къ лучшему» злобно усмѣхается Марья Павловна, вспоминая недавній убѣдительный доводъ Евгеніи Сергѣевны.—Да, ей къ лучшему... А какое же тутъ лучшее, когда...

Что-то злое, дикое подступило къ сердцу, и хочется Марьѣ Павловнѣ со всего размаха бросить объ полъ эту напудренную маркизу, разбить на тысячу кусковъ и топтать ногами... и стереть въ порошокъ.

Сзади почудился шорохъ. Марья Павловна оглядывается—никого.

«Господи, что это со мной? Бѣжать отсюда надо скорѣй, а то совершу что-то совсѣмъ безумное... и зачѣмъ я пришла, зачѣмъ?.. Ахъ, эта кукла .. надо поставить... вотъ бѣда бы была... Безобразіе!»

Она дрожащими отъ волненія руками ставитъ на

мѣсто напудренную маркизу и, отирая выступившій на лбу холодный потъ, почти шатаясь, отходитъ отъ камина...

«Не упасть бы... Говорятъ, нужно наверхъ глядѣть, когда дурно».

Она поднимаетъ глаза на потолокъ.

— Какой интересный—голубой... Нѣтъ—тутъ и розовое, и бѣлое, и золото... Да, эти цвѣты... ахъ, какъ хорошо... цѣлые букеты... розы, лиліи... Только зачѣмъ черныя точки? Нѣтъ—это такъ... мелькаетъ въ глазахъ когда долго смотришь... да... черныя точки и вокругъ золотые ободки... такъ всегда... А вотъ опять потолокъ чистый, голубой... и цвѣты ясно... ясно, красиво... все ближе... ближе... да они падаютъ... Ай!.. слабо вскрикиваетъ Марья Павловна и, закрывъ глаза руками, опускается на близъ стоящій стулъ.

Все такъ же тихо въ голубой комнатѣ... Только издали откуда-то то сливаясь, то раздѣльно, такъ гулко, точно изъ пустого пространства, доносятся веселые голоса, раздается звонкій, рѣзвый смѣхъ.

Марья Павловна, боясь пошевельнуться, робко полуоткрываетъ глаза: передъ ней большое венеціанское зеркало... Что это она раньше его не замѣтила? «Ахъ, здѣсь туалетный столъ, должно-быть... вотъ что... Но какая я блѣдная,—пугается она своего изображенья, —и опять этотъ холодный потъ... Мучительное состоянье!.. Никогда не бывало... Тутъ ужъ не только нервы... Съ голоду, что ли?.. Еще у Некрасова есть, кажется такъ: «Съ голоду странничекъ, съ голоду, съ голоду, родименькій, съ голоду!..» Да, не интересна... точно мертвецъ... Глаза мутные, какъ у старухи, даже

морщины вездѣ,—внимательно разсматриваетъ она въ зеркалѣ свое лицо и... опять чудится ей присутствіе въ этой комнатѣ кого-то посторонняго, точно наблюдающаго за каждымъ ея движеньемъ... Вотъ теперь стоитъ сзади и такъ тихонько-тихонько толкаетъ въ спину...

— Фу, ты, чепуха какая!

Однако, безотчетно подчиняясь странному безпокойному чувству и стараясь на чемъ-нибудь другомъ сосредоточить свое вниманіе, Марья Павловна осторожно переводитъ глаза отъ зеркала на столъ.

«И тутъ опять фарфоровыя куклы... ахъ, нѣтъ—это подсвѣчники... въ видѣ амуровъ... Малохитовый ящичекъ... Бронзовая тарелка... на ней браслеты—много... много... блестятъ!.. Камни играютъ на солнцѣ... красиво..»

Точно въ полуснѣ протягивается рука къ одному изъ браслетовъ.

Такъ и сверкаетъ онъ... переливается, точно радуга—даже смотрѣть больно...

За дверью послышались легкіе шаги... Портьера шевельнулась... Марья Павловна вздрогнула... Что-то мучительно больно сжало ей сердце, звонкимъ гуломъ отдалось въ ушахъ и точно молоткомъ ударило по головѣ...

Браслетъ лежалъ уже въ карманѣ.

XI.

— Вотъ я пришла тебя повеселить и представить моихъ дѣтишекъ,—защебетала Евгенія Сергѣевна под-

водя за руки двухъ красивыхъ, изящно одѣтыхъ дѣтей—мальчика и дѣвочку.—Вѣдь тебѣ лучше? Да? Ага, видишь, какъ все отлично... Я тебѣ говорила: прими—поможетъ... и помогло—ужъ я знаю... Вотъ эта тетя—мамина подруга,—объясняла она дѣтямъ.—Мама была маленькая и она была маленькая, мама теперь большая—и она большая... А это вотъ Кока и Зося... Прошу любить и жаловать.

Дѣвочка подошла къ Марьѣ Павловнѣ и сдѣлала глубокій церемонный реверансъ. Та взглянула безучастными глазами и, какъ-бы вспомнивъ о чемъ-то, улыбнулась растерянной, виноватой улыбкой.

— Ну, а ты, Кока,—упрекнула мальчика Евгенія Сергѣевна.—Фи! какой стыдъ! фи!..

Кока, плотно прижавшись къ матери, исподлобья посматривалъ на гостью.

— Фи!.. не мой сынъ—не мой!.. Поди и поклонись, какъ нужно... ну!.. какой бука!—и слегка оттолкнувъ мальчика, Евгенія Сергѣевна стала усаживаться на кушетку. Кока примостился около, ничѣмъ, повидимому, не смущаясь. Онъ не обращалъ вниманія на окружающихъ и съ сосредоточеннымъ видомъ занялся своими ногами, то сдвигая ихъ вмѣстѣ—то раздвигая пятками врозь.

Мать посмотрѣла на него съ напускной строгостью.

— Кока, перестань. Ты знаешь, папа не любитъ... Онъ у насъ философъ, впрочемъ,—съ улыбкой обратилась она въ Марьѣ Павловнѣ,—всегда сосредоточенъ, всегда о чемъ-то думаетъ... Сережа называетъ его Боклемъ. Ну, Боклюся, будь же пай,—придвигая къ себѣ голову сына, принялась нѣжно уговаривать его

Евгенія Сергѣевна...—а то тетя подумаетъ, что ты всегда такой и разскажетъ своимъ мальчикамъ... У нея то же мальчикъ есть... Dit la poesie a madame. Самое легкое... Ну что бы?.. La cigale... хорошо? да?..

Кока лѣнивыми глазами вопросительно взглянулъ на мать: ну, чего ты пристаешь?—говорилъ краснорѣчиво этотъ взглядъ. Евгенія Сергѣевна сидѣла, выпрямившись на кушеткѣ и съ озлобленнымъ видомъ терпѣливо ждала начала басни.

— La cigale, да ну же Кока... la cigale.

Мальчикъ, тяжело дыша и снова уставясь глазами на свои ноги, произнесъ точно въ полудремотѣ: La cigale...

— Ayant chantée tout l'été съ оживленіемъ продолжала Евгенія Сергѣевна, желая, видимо, расшевелить ребенка.

— Ayant chantée tout l'été, на распѣвъ тянулъ мальчикъ, вертя въ рукахъ чайную ложку.

— Оставь! — нетерпѣливо отняла у него ложку Евгенія Сергѣевна... Мученье!.. Ну, что же, будешь ты продолжать?.. Se trouva fort de pourvue...

Se trouva fort de pourvue...
Quand la bise fut venux...

Картавя и растягивая каждое слово, апатично говорилъ мальчикъ.

Евгенія Сергѣевна сердилась.

— Ну, довольно. Что это сегодня съ тобой—не понимаю.

Кока съ равнодушнымъ видомъ теребилъ край салфетки.

— Можно?—онъ ткнулъ пальцемъ по направленію къ сухарницѣ съ печеньемъ.

— Возьми,—недовольнымъ тономъ отвѣтила мать.

Кока съ жадностью схватилъ первый попавшій сухарикъ и, грызя его, убѣжалъ изъ комнаты.

— Удивительный мальчикъ,—съ гордостью произнесла Евгенія Сергѣевна, — при немъ конечно, этого нельзя говорить... Ну, вотъ толкуютъ — воспитаніе, воспитаніе!.. Ахъ, это такая трудная задача!.. Сережа говоритъ: главное, не надо насиловать... И правда... вотъ напримѣръ, Кока: уменъ необыкновенно, но упрямъ и застѣнчивъ, самостоятеленъ,—признакъ сильной натуры... Ну, какъ тутъ насиловать? Можетъ быть, это будущій русскій Гладстонъ. Ужасно трудная задача!.. А вотъ у меня свѣтская дама,—указала она на дѣвочку, сидѣвшую умницей,—всѣ задатки... Et toi, tu dira la poesie àmadame?

— Avec plaisir, пролепетала та, жеманясь и кокетничая.

Она встала со стула, граціознымъ движеніемъ отбросила прядь распущенныхъ волосъ, свободно упавшихъ ей на грудь, и, склонивъ голову на бокъ, начала:

„Seigneur beni l'ouvrage“...

«Что я дѣлаю, что дѣлаю?—проносится въ головѣ Марьи Павловны,—ничего не понимаю... какой-то кошмаръ... Неужели она не видѣла? Нѣтъ, кажется, видѣла... Какое мученье, Боже мой!..»

— De mon sincere amour... лепечетъ дѣвочка и дѣлаетъ реверансъ.

Лицо Марьи Павловны перекашивается дѣланной улыбкой.

«Да... да... надо улыбаться... Хоть бы конецъ скорѣй—бѣжать безъ оглядки на воздухъ, дальше куда-нибудь... дальше...»

— Не правда ли, какъ мило?—доносится откуда-то сбоку.

«Ахъ, это Евгенія Сергѣевна... Да!.. Вотъ ея улыбающееся лицо, освѣщенное солнечнымъ свѣтомъ... И какъ граціозно наклонила голову... Все дѣлается къ лучшему... да!..»

— Ну, такъ я пойду,—нервно произноситъ Марья Павловна, вдругъ, порывисто срываясь съ мѣста.

— Такъ скоро? А впрочемъ, такой день—я не задерживаю. Ну, до свиданія, милушка... Значитъ, послѣ праздниковъ рѣшимъ. А адресъ?.. Боже мой... болтаемъ, болтаемъ и позабыли самое главное: куда же дать знать? скажи свой адресъ и фамилію мужа...

— Адресъ?.. плохо соображая, бормочетъ Марья Павловна,—да... да... Боровая, 17... Стрѣшнева.

Евгенія Сергѣевна вынимаетъ изъ кармана крошечную, въ переплетѣ изъ слоновой кости, записную книжку и наскоро записываетъ адресъ.

— Или, можетъ быть, сама зайдешь? Заходи непремѣнно... слышишь?

— Н-не знаю, право... Постараюсь, — торопится Марья Павловна, робко пожимая протянутую ей, для прощанья, руку.

— Непремѣнно, непремѣнно!.. Слышишь?..

— Хорошо,—она неловкимъ движеніемъ освобождаетъ отъ пожатій свою руку и быстро идетъ къ дверямъ.

— Можно?—онъ ткнулъ пальцемъ по направленію къ сухарницѣ съ печеньемъ.

— Возьми,—недовольнымъ тономъ отвѣтила мать.

Кока съ жадностью схватилъ первый попавшій сухарикъ и, грызя его, убѣжалъ изъ комнаты.

— Удивительный мальчикъ,—съ гордостью произнесла Евгенія Сергѣевна, — при немъ конечно, этого нельзя говорить... Ну, вотъ толкуютъ — воспитаніе, воспитаніе!.. Ахъ, это такая трудная задача!.. Сережа говоритъ: главное, не надо насиловать... И правда... вотъ напримѣръ, Кока: уменъ необыкновенно, но упрямъ и застѣнчивъ, самостоятеленъ,—признакъ сильной натуры... Ну, какъ тутъ насиловать? Можетъ быть, это будущій русскій Гладстонъ. Ужасно трудная задача!.. А вотъ у меня свѣтская дама,—указала она на дѣвочку, сидѣвшую умницей,—всѣ задатки... Et toi, tu dira la poesie àmadame?

— Avec plaisir, пролепетала та, жеманясь и кокетничая.

Она встала со стула, граціознымъ движеніемъ отбросила прядь распущенныхъ волосъ, свободно упавшихъ ей на грудь, и, склонивъ голову на бокъ, начала:

„Seigneur beni l'ouvrage"...

«Что я дѣлаю, что дѣлаю?—проносится въ головѣ Марьи Павловны,—ничего не понимаю... какой-то кошмаръ... Неужели она не видѣла? Нѣтъ, кажется, видѣла... Какое мученье, Боже мой!..»

— De mon sincere amour... лепечетъ дѣвочка и дѣлаетъ реверансъ.

Лицо Марьи Павловны перекашивается дѣланной улыбкой.

«Да... да... надо улыбаться... Хоть бы конецъ скорѣй—бѣжать безъ оглядки на воздухъ, дальше куда-нибудь... дальше...»

— Не правда ли, какъ мило?—доносится откуда-то сбоку.

«Ахъ, это Евгенія Сергѣевна... Да!.. Вотъ ея улыбающееся лицо, освѣщенное солнечнымъ свѣтомъ... И какъ граціозно наклонила голову... Все дѣлается къ лучшему... да!..»

— Ну, такъ я пойду,—нервно произноситъ Марья Павловна, вдругъ, порывисто срываясь съ мѣста.

— Такъ скоро? А впрочемъ, такой день—я не задерживаю. Ну, до свиданія, милушка... Значитъ, послѣ праздниковъ рѣшимъ. А адресъ?.. Боже мой... болтаемъ, болтаемъ и позабыли самое главное: куда же дать знать? скажи свой адресъ и фамилію мужа...

— Адресъ?.. плохо соображая, бормочетъ Марья Павловна,—да... да... Боровая, 17... Стрѣшнева.

Евгенія Сергѣевна вынимаетъ изъ кармана крошечную, въ переплетѣ изъ слоновой кости, записную книжку и наскоро записываетъ адресъ.

— Или, можетъ быть, сама зайдешь? Заходи непремѣнно... слышишь?

— Н-не знаю, право... Постараюсь, — торопится Марья Павловна, робко пожимая протянутую ей, для прощанья, руку.

— Непремѣнно, непремѣнно!.. Слышишь?..

— Хорошо,—она неловкимъ движеніемъ освобождаетъ отъ пожатій свою руку и быстро идетъ къ дверямъ.

«Скорѣй!.. Вотъ длинная полутемная гостиная... Мимо, мимо... скорѣй... Сколько понаставлено — не пройдешь... Ахъ, этотъ тигръ... почти у самаго выхода—опять не споткнуться бы!..»

— Мнѣ очень жаль, что ты не застала Сережу... Ну, впрочемъ, до другого раза... Сегодня такой день— всѣ хлопочутъ, всѣ не въ духѣ, и сама ты вѣрно торопишься... и у насъ начнутся сейчасъ же приготовленья къ вечеру, — доносился сзади звонкій голосъ Евгеніи Сергѣевны.

Въ передней уже стоитъ горничная, въ ожидающей позѣ и съ принужденной улыбкой на лицѣ.

Марья Павловна наклоняется искать свои калоши... «Кажется тутъ?.. Нѣтъ... все дѣтскія... Господи, да куда же я задѣвала ихъ?..»

— Катя! Что же вы?..—строго замѣчаетъ Евгенія Сергѣевна.

— Онѣ сами-съ... И давеча не желали,—съ видомъ угнетенной невинности, обиженно оправдывается горничная, нагибаясь граціозно, подобравъ платье и брезгливо вытаскивая старыя грязныя калоши.

— Позволите? кротко спрашиваетъ она Марью Павловну.

— Не надо!—«Какая пытка—всѣ смотрятъ... и эта противная рожа тоже издѣвается...»

Не глядя на горничную, Марья Павловна торопливо суетъ руки въ поданную кофточку... руки трясутся— не лѣзутъ, какъ на зло...

— И повѣрь, все устроится къ лучшему,—вырѣзывается какъ-то отдѣльно фраза Евгеніи Сергѣевны.— Ахъ, она все время говорила, да Марья Павловна ни-

чего не слышала—такой шумъ въ ушахъ, звонъ, мѣрно отбивающій, точно въ тактъ, за одно съ пульсомъ, гулъ... А эта рожа высматриваетъ что-то... Она догадалась, вѣрно... все видитъ... все...

Марья Павловна бросаетъ мелькомъ тревожный взглядъ на ненавистную ей горничную.

— Да, да, конечно, до свиданья,—говоритъ она взволнованнымъ, нервнымъ голосомъ, стараясь улыбнуться и протягивая Евгеніи Сергѣевнѣ холодную дрожащую руку.—До свиданья!..

Дверь захлопнулась.

Душно на лѣстницѣ. Стѣны словно накалились отъ солнца. Красныя—точно вымазанныя кровью—онѣ, кажется, вотъ-вотъ сейчасъ сдвинутся и раздавятъ своей громадой. Спотыкаясь, чуть не падая отъ волненья, Марья Павловна стремительно сбѣгаетъ по ступенькамъ внизъ.

XII.

Она на улицѣ.

— Наконецъ-то!.. Просторъ... свобода! Куда жъ теперь? Направо?.. нѣтъ—налѣво... Нѣтъ, вернуться лучше и откровенно признаться,—губы кривятся саркастической улыбкой.—Пошлость какая!.. Точно ребенокъ: нашалилъ—прощенья проситъ. Умѣла воровъ... Ну, конечно, воровать!.. Чего тутъ словъ бояться, когда... Умѣй и отвѣтъ держать. Только это ужасно!.. И какъ случилось—точно во снѣ... Ужасно!..

А если сейчасъ замѣтили и... погоня? Ну, что же—тѣмъ лучше... Тогда все объясню... Вѣдь она хотѣла концертъ?... Ну, вотъ пока заложить—потомъ вернуть...

Да она сама, навѣрно, предложила бы—въ голову не пришло... И надо было спросить—она добрая... а тутъ.. Что это шаги какіе поспѣшные?.. Ага, хватились... бѣгутъ...

Марья Павловна вспыхнула и съ сильно бьющимся сердцемъ пріостановилась: все ближе—ближе...

— Ты знаешь, я насчиталъ, придется сдѣлать 42 визита—не шутя... Вотъ... я тебѣ скажу, исторія,—говоритъ молодой, старающійся басить голосъ.

— Охота-же.

— Невозможно—масса знакомыхъ... Вотъ и сегодня насилу удралъ съ базара въ Думѣ—барышни не пускаютъ .. а я прошу отставки—слуга покорный, и дерка... Замучили, ей Богу!.. Ты къ Кологривовымъ поѣдешь?

— Ну, еще бы...

Марью Павловну обогнали два молоденькихъ студента.

— ...Конечно, никакой погони... До того ли теперь? Тамъ заняты, собираются на вечеръ... А, можетъ быть, и замѣтили—не подумаютъ дурного... Поймутъ... простятъ... А все-таки ужасно!.. Да что же мнѣ дѣлать, что мнѣ дѣлать?—почти со слезами бормочетъ она, безпомощно озираясь вокругъ. Громады каменныхъ домовъ будто нахмурились и хранятъ величаво угрюмое молчанье. Озабоченные пѣшеходы торопливо, быстро снуютъ взадъ и впередъ по тротуарамъ и бѣгутъ куда-то, все дальше... бѣгутъ, бѣгутъ...

— Заложить, такъ заложить... и конецъ... все равно... Что же дѣлать? Петля!

Марья Павловна ускоряетъ шаги и рѣшительно поворачиваетъ за уголъ.

Передъ глазами замелькали пестрыя вывѣски... Сѣрый домъ смѣняется песочнымъ, тамъ опять сѣрый... желтоватый... стальной... бѣлый... Широкая улица тянется далеко и теряется въ туманѣ.

Марья Павловна идетъ быстро, нервной походкой, не отдавая себѣ хорошенько отчета, куда и зачѣмъ идетъ, машинально читая попадающіяся на глаза вывѣски и безцѣльно останавливаясь передъ магазинами. «Ренсковой погребъ»... Почему это Рен.... Рен....? «Парикмахеръ»,—она съ любопытствомъ разсматриваетъ выставленную въ окнѣ, раскрашенную, восковую куклу, съ неестественно наклоненной на бокъ головой и рыжеватыми, тщательно причесанными, волосами...

— А, опять «Покупка и продажа», какъ тамъ на углу... Продать поскорѣй, и дѣлу конецъ... Ахъ, нѣтъ, что это я?—пугается своей мысли Марья Павловна.— Вѣдь заложить рѣшила... заложить—ну, и значитъ заложить.... Только найти гдѣ? Можетъ-быть, по дорогѣ, навѣрно: ихъ много вездѣ...

«Прокофьевъ»... — гроба тоже въ окнахъ выставляютъ, привлекаютъ публику... А что же? конецъ всему дѣлу вѣнецъ... «Московская пекарня», «Modes et robes»... А вотъ на той сторонѣ, кажется... да, да, разумѣется... вонъ маленькая вывѣска... Отлично... какъ скоро нашла...

Марья Павловна поспѣшно перешла улицу и, поднявшись по лѣстницѣ во второй этажъ, нетерпѣливо толкнула узенькую дверь.

Д-з-з-инь,—жалобно звякнулъ разбитый колокольчикъ.

Въ небольшой, свѣтлой, уставленной по стѣ-

намъ шкапами, комнатѣ, за прилавкомъ у конторки сидѣлъ пожилой, толстый мужчина. Онъ едва, молча, повернулъ голову и равнодушными глазами осмотрѣлъ вошедшую.

— Вотъ вещь... знаете—праздникъ... нужны деньги,—точно извиняясь и оправдываясь, говоритъ скороговоркой, проглатывая буквы, Марья Павловна.

Закладчикъ молча протянулъ руку.

Марья Павловна дрожащими руками, глядя куда-то въ сторону, съ трудомъ вытаскиваетъ браслетъ изъ кармана.

Закладчикъ, попрежнему — не нарушая молчанья, лѣниво бросилъ вещь на вѣсы и тщательно осмотрѣлъ камни.

— Полтораста.

— Что? чуть не вскрикиваетъ Марья Павловна, едва сдерживая волненье.

Закладчикъ взглянулъ вопросительно.

— Согласны?

— Да, да, да... конечно... Вы знаете цѣну... Я бы не заложила, но...

Отложивъ браслетъ въ сторону, закладчикъ неспѣшно написалъ квитанцію и, вынувъ изъ конторки пачку денегъ, быстро шевеля привычными пальцами, отсчиталъ полтораста рублей.

— Сочтите.

Марья Павловна какъ-то ничего не можетъ сообразить... Столько денегъ въ рукахъ: десять... двадцать... Ахъ, Боже мой!.. двадцать.., двадцать. Она быстро перелистываетъ ассигнаціи и торопливо, не взглянувъ на квитанцію, прячетъ все въ карманъ.

— Прощайте.

— Прощайте,—напутствуетъ ее сзади апатичный, вялый голосъ.

XIII.

Улица точно перемѣнилась, Какой-то особенный полусвѣтъ... Да вѣдь ужъ поздно—смеркается...

Марья Павловна въ раздумьи стоитъ посреди тротуара.

«Куда же теперь?... и денегъ много, а итти куда—не знаю.. Да, да... купить надо, скорѣе купить, прежде всего дѣтямъ... Матрена сегодня говорила, рубашекъ нѣтъ и наволочекъ... А чаю?.. Да, самое главное, чаю и чего-нибудь посытнѣе: жареной телятины, колбасы, хлѣба»...

— Извозчикъ!—громко крикнула Марья Павловна.—Странно,—прислушивается она къ звуку собственнаго голоса,—какой звонкій, никогда такого будто не было, право... — Извозчикъ!

Подъѣхалъ извозчикъ.

— Въ гостиный дворъ!—и, не торгуясь, Марья Павловна усѣлась въ сани.

«Однако, сколько денегъ!... Полтораста... полтораста... да, все можно купить. А дома, вѣрно, безпокоятся... Какая мука! Поздно ужъ... впрочемъ, Матрена, должно-быть, справилась—достала гдѣ-нибудь... Такъ купить... чего же? Э, впрочемъ, самое лучшее лечь тутъ, вотъ на дорогѣ, уснуть крѣпко... да такъ и не просыпаться»...

На Невскомъ уже зажжено электричество. Оживленіе, замѣтное на другихъ улицахъ, здѣсь проя-

вляется еще ярче - бѣгутъ, торопятся и старъ и младъ; и безъ того щеголеватые магазины принарядились для праздника: вонъ огромное залитое свѣтомъ окно; за зеркальнымъ стекломъ соблазнительно кокетливыми стройными пирамидками расположились апельсины, яблоки, дюшесы и дразнятъ прихотливый вкусъ, а дальше рядомъ красиво разставлены заливныя изъ рыбы, поросячья голова, убранная зеленью, какія-то особенныя маленькія колбаски... Слѣдующее окно любезно предлагаетъ грудами разбросанныя сушки, гигантскихъ размѣровъ выборгскій крендель, сладкія бабы, сайки, калачи...

Марью Павловну тянетъ невольно за гостепріимныя двери ко всѣмъ этимъ сокровищамъ.

«Нѣтъ, лучше на обратномъ пути»,—рѣшаетъ она,—когда закупится все остальное... а что, собственно, остальное—она сама хорошенько не знаетъ... знаетъ только одно: что нужно всего много, какъ можно больше...

Вотъ и Аничковъ мостъ. Величаво выступаютъ на темнѣющемъ фонѣ неба знаменитыя четыре бронзовыя группы, а дальше непрерывной аллеей по обѣ стороны проспекта тянутся цѣпи электрическихъ фонарей; онѣ сдвигаются все ближе и ближе другъ къ другу и наконецъ, сливаясь въ одну узенькую полоску свѣта, пропадаютъ въ полумракѣ, посреди котораго силуэтомъ вырисовываются стройныя очертанія адмиралтейскаго шпица.

— Богатѣйшая улица!—замѣчаетъ извозчикъ.

«Да», мысленно соглашается съ нимъ Марья Павловна,—хороша, на нервы дѣйствуетъ, точно наркозъ.

Огромное окно, особенно ярко освѣщенное, бросается ей въ глаза.

«Ламповый магазинъ... Лампу нужно... непремѣнно—висячую... Дѣтямъ берутъ изъ кухни—такъ страшно: расшалятся и, вдругъ,—на себя...»

— Стой, извозчикъ!

И вотъ, Марья Павловна—посреди̇нѣ роскошнаго магазина, совершенно ошеломленная. Глаза разбѣгаются: лампы... лампы... лампы... стоятъ, висятъ. . бронзовыя, фарфоровыя... и въ видѣ фантастическихъ, ярко разрисованныхъ вазъ, и стройныхъ колоннъ, и массивныя, и замысловатыя, и граціозныя... Колпаки розовые, голубые, желтые, бѣлые... Какъ попала она сюда,—она сама хорошо не можетъ дать себѣ отчета; ей почему-то неловко: что-то стѣсняетъ, и въ то же время чувствуетъ она, что овладѣлъ ею неодолимый жгучій азартъ и что вмѣстѣ со всей этой шумной толпой, снующей теперь взадъ и впередъ по улицамъ, ей тоже нужно покупать, покупать какъ можно больше.

— Что же вамъ угодно? — ужъ въ третій разъ спрашиваетъ удивленная ея растерянным видомъ солидная нарядная дама въ браслетахъ и кольцахъ...

— Лампу... лампу!.. Развѣ я не сказала?.. Висячую, чтобы... для дѣтей.

— Попроще?

— Да.

— Вотъ эта въ шесть...

— А эта?—перебиваетъ продавщицу Марья Павловна, указывая на большую лампу, надъ своей головой.

— Такая—двадцать.

— Хорошо... такъ вотъ... ее... А это сколько?— обращаетъ она свое вниманіе на стоящую около кабинетную лампу съ зонтикомъ и вспоминая невольно, какъ больно рѣжетъ глаза, ничѣмъ не защищенные отъ свѣта, когда приходится сидѣть за перепиской долго ночью.

— Двѣнадцать.

— Пожалуйста, и ее... Сколько всего?

— Тридцать два...

Марья Павловна нетерпѣливо, дрожащей рукой, вынимаетъ изъ кармана скомканныя бумажки и, конфузясь, отсчитываетъ должную сумму.

— Чего это я, чего?—волнуется она.—Чего стыжусь? Точно краденаго...

И вдругъ ей кажется, что кто-то надъ нею смѣется, тутъ рядомъ, тихимъ, злобнымъ смѣхомъ: «Краденое!.. краденое!.. краденое!..» Она блѣднѣетъ и хватается за прилавокъ, боясь упасть.

— Вамъ, кажется, дурно?..—участливо спрашиваетъ продавщица.

— Нѣтъ... ничего, — овладѣвъ собой, отвѣчаетъ Марья Павловна.—Покупки пришлите,—она торопливо говоритъ свой адресъ и исчезаетъ за дверью.

— Сказали бы — заѣзжать будемъ, — недовольно ворчитъ ожидающій ее извозчикъ.—Двухъ сѣдоковъ упустилъ, покелева стоялъ... Говорили въ Гостиный, а замѣстъ того...

— Прости, голубчикъ,—робко бормочетъ она,—я.. я прибавлю...

— На гривенникъ прибавки, на часъ простою... тоже... Знаемъ мы...

— Убирайся,—совсѣмъ неожиданно для себя самой, вся дрожа отъ волненья, рѣзко вскрикиваетъ Марья Павловна,—вотъ тебѣ деньги, возьми!

Она шаритъ въ карманѣ и бросаетъ извозчику мелочь, полученную въ магазинѣ.

— Еще барыня!.. Тоже!.. шантропа несчастная,— не унимается извозчикъ подбирая деньги.

Марья Павловна идетъ быстро, почти бѣжитъ. Безпредметная злоба волнуетъ грудь, а тамъ, гдѣ-то далеко въ сердцѣ, что-то плачетъ, обрывается и жалобно стонетъ.

— Какая глупость эти лампы,—упрекаетъ себя Марья Павловна,—точно я съ ума сошла... такъ... такъ... дорого... Надо было посмотрѣть... купить дешевую. И чего я оробѣла тамъ, чего стѣснялась?.. Совѣстно... Передъ кѣмъ? за что?

Но болѣзненное чувство робости, неловкости и стыда заставляютъ Марью Павловну сторониться, давая дорогу шумно двигающейся разношерстной толпѣ.

«А что, если бы кто-нибудь узналъ, что я сдѣлала,— разсуждала она,—онъ бы схватилъ меня... и всѣ, и всѣ они каратели, всѣ эти бѣгущіе и ѣдущіе чиновники, офицеры, барыни... Но кто смѣетъ судить меня, кто? Только Богъ, а Онъ не справляется со сводами законовъ—у Него свои законы, свой судъ... Кому же я сдѣлала зло? Никому, и потомъ я разскажу это все—объясню... А отчего я не призналась тамъ, сейчасъ-же?.. Значитъ, поступокъ дурной?.. Ахъ, Боже мой, да, конечно, дурной, возмутительный! — съ

отчаяньемъ твердитъ Марья Павловна...—Но почему однимъ все, другимъ ничего?—Она глядитъ на каменныя громады домовъ, блестящіе магазины, на широкую щегольскую улицу, на непрерывную цѣпь проѣзжающихъ мимо роскошныхъ экипажей съ нарядными, утопающими въ дорогихъ мѣхахъ барынями, на всю эту толпу жадную, неугомонную, ненасытную—и чувствуетъ она еще сильнѣе и вопіющую несправедливость вокругъ, и свое сиротство, и свое безсиліе.

«Почему однимъ все, а другимъ ничего?»—тоскливо повторяетъ она мысленно, свой вопросъ.—Однимъ богатство, роскошь, у другихъ ни пищи, ни крова, ни одежды—и почему это общество, богатое, довольное не подѣлится по-братски съ неимущими?.. Ну, я, положимъ, негодная, сама не сумѣла или не могла устроить свою жизнь, а дѣти? Чѣмъ виноваты мои дѣти, и почему это общество не поможетъ мнѣ накормить и воспитать моихъ дѣтей, не подачкой, не милостыней изъ благотворительныхъ учрежденій, а какъ равному, какъ члену того же общества?.. Почему?“

И она чувствуетъ дикую, безумную ненависть къ этому многомилліоному чудовищу, называемому человѣческимъ обществомъ, безжалостному и близорукому, строющему мосты и желѣзныя дороги, проводящему телеграфы и телефоны, учреждающему больницы, пріюты, богадѣльни, и все-таки не умѣющему жить по-человѣчески.

Вотъ и Гостиный дворъ. На думскихъ часахъ мѣрно пробило шесть.

Въ магазинахъ лихорадочное оживленье, у прилавковъ тѣснятся... толкаются... Лица у всѣхъ разгорѣлись,

глаза глядятъ не то жадно, не то растерянно, приказчики сбиваются съ ногъ, не успѣвая удовлетворять всѣмъ требованьямъ и стараясь успокоить недовольныхъ. У окна, гдѣ, на большомъ разостланомъ бѣломъ медвѣдѣ, расположились красивыя мордочки куницъ, а рядомъ улеглась полосатая пантера и хитро выглядываетъ голова лисицы, Марья Павловна остановилась.

„Мѣхъ!“... И вдругъ острое ощущенье холода охватываетъ все тѣло, дрожью пробѣгаетъ по кожѣ и колетъ иголками, и замираетъ въ конечностяхъ окоченѣвшихъ пальцевъ. „Холодно—какъ холодно моимъ дѣвочкамъ!—муфту надо хоть одну для обѣихъ,—проносится въ разгоряченномъ мозгу Марьи Павловны... Она уже около прилавка. Пожилой, съ сѣдыми баками господинъ, держа передъ ней въ рукѣ пушистую дѣтскую муфту, солидно объясняетъ достоинство мѣха.

Мутными глазами разглядываетъ Марья Павловна муфту, машинально гладитъ ее рукой. Недавнее возбужденье изчезло. Ощущенье шелковистой шерсти такъ пріятно ласкаетъ усталые нервы... и хочется долго стоять передъ этимъ господиномъ и гладить муфту... спокойно, далеко отъ всѣхъ мыслей, тревогъ..

— Я вамъ совѣтую, сударыня,—пробуждаетъ ее отъ сладкаго полузабытья, голосъ приказчика.

— А? Что?.. Ахъ, да... хорошо...—безучастно отвѣчаетъ она, и ей становится жалко разстаться съ своимъ душевнымъ состояньемъ... Такъ покойно, такъ покойно, тихо было, тепло... и опять бѣжать на холодъ... торопиться... покупать... что покупать? забыла, а только много еще надо, много..

Нисколько не удивленная сказанной приказчикомъ суммой, она полусознательно отдаетъ деньги, беретъ муфту и нервной походкой направляется къ дверямъ.

Голова будто слегка кружится, а на сердцѣ опять тупая неотвязная боль.

„Нѣтъ, на воздухѣ лучше—тамъ толпа... движенье... будто забываешься. Ну, куда же теперь итти?— очутившись снова на улицѣ, растеряно думаетъ Марья Павловна, тщетно пытаясь собрать непослушныя, безсвязныя мысли... Куда?.. Нужно еще много... чего? Не припомню, а нужно... Елку? Нѣтъ, это послѣ... Ахъ, провизію... самое главное... Пойду въ тѣ лавки... на Невскомъ".

Она круто поворачиваетъ и идетъ поспѣшной походкой, задѣвая прохожихъ.

„Платокъ Матренѣ!" вдругъ вспоминается ей.

Она входитъ въ суконный магазинъ и, купивъ платокъ, попрежнему продолжаетъ путь; заходитъ еще въ одинъ магазинъ, потомъ еще и еще... покупаетъ и нужное, и ненужное; наконецъ, измученная, изнемогающая, поподаетъ въ одну изъ большихъ Милютиныхъ лавокъ. Здѣсь ей все не по вкусу, все раздражаетъ ее, все кажется дорого, скверно... Она привереднича-етъ, капризничаетъ и сбиваетъ съ ногъ продающаго ей приказчика. О! ей нравится бѣсить этого противнаго толстаго человѣка съ лицомъ жабы, съ маленькими хитрыми глазами,—и въ припадкѣ истерическаго, сладострастнаго издѣвательства, заставляетъ она его лазить по полкамъ, мѣнять одно на другое, завертывать и снова развертывать положенное... Но вотъ на-

летѣвшій, какъ ураганъ, порывъ внезапно стихъ и снова уступилъ мѣсто щемящей, упорной тоскѣ.

„Ахъ, домой, домой скорѣй!..“ Едва удерживая въ рукахъ свертки и тяжелую корзину съ провизіей, чуть не падая отъ утомленья, Марья Павловна садится на перваго попавшагося извозчика.

— На Боровую... скорѣй...

XIV.

А на Сергіевской, въ голубой комнатѣ, происходилъ цѣлый переполохъ. Евгенія Сергѣевна, плача и волнуясь, разсказывала мужу о пропажѣ браслета.

— Самый любимый—знаешь? Большой брильянтъ посрединѣ, маленькіе сапфиры по бокамъ.

— Еще бы не знать... Я подарилъ, когда родился Кока.

— Да, да... Кокинъ, Кокинъ! Ну, если бы другой... нѣтъ, зачѣмъ-то именно Кокинъ?...

— Удивительно! Но сомнѣваться нечего—я говорю прямо—это она, она.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ... Я не хочу и вѣрить...

— Ты была все время тутъ, въ комнатѣ?..

— Вышла не надолго: Люси показалось, что мало золотыхъ орѣховъ, ну я и пришла... завозилась съ елкой... Ахъ, Боже мой, вѣдь все равно помочь нельзя—къ чему же разспрашивать...

Но финансистъ былъ твердъ и упоренъ.

— Когда же ты замѣтила?

— Когда, когда? ахъ... не знаю... Ну, ну вотъ вскорѣ послѣ ея ухода вздумала почистить къ вечеру.. Всѣ тутъ—какъ сняла... вчера... а его, Кокина, нѣтъ

— Что за глупая манера принимать всѣхъ съ улицы, сколько разъ говорилъ...

— И вовсе не съ улицы, вовсе не съ улицы... Мы въ гимназіи сидѣли три года рядомъ... Она бывала у насъ... И папа ее любилъ... Кто же могъ предвидѣть?..

— Но ты говоришь—она пришла просить...

— Ну, что же, что просить, — она разсказала мнѣ все... Я сказала, что помогу—она поняла... Я обѣщала послѣ праздниковъ—она согласилась—и вдругъ... Ахъ, Боже мой! Я пришла съ дѣтьми... видъ у нея ужасный... Я думала, просто, нервы... несчастная женщина... мнѣ ее жалко стало... хотѣла развлечь, утѣшить.. дѣти стихи говорили, а она... Такой ужасъ!— Мнѣ и въ голову не могло прійти...

— Прекрасный урокъ—принимать съ разборомъ и не раскисать передъ первой встрѣчной.

— Вовсе не первая встрѣчная; я же говорю, что не первая встрѣчная... Я ее знала, знала .. любила... три года... а если она... она... Я не виновата... я вѣрю въ людей... Я не думала, что... люди такіе... злые!— съ трудомъ выговаривая слова, всхлипывала Евгенія Сергѣевна.

Финансистъ, взвѣсивъ всѣ обстоятельства дѣла, спросилъ адресъ и, пока Евгенія Сергѣевна, лежа на голубой шолковой кушеткѣ, плакала, принимая гомеопатію,—мужемъ было послано, куда слѣдуетъ, письмо съ заявленьемъ о пропажѣ и указаньемъ подозрѣваемой личности.

XV.

Потерявшая всякое терпѣнье, Матрена сердито растворила дверь.

Передъ ней стояла Марья Павловна, едва держась на ногахъ.

Матрена перепугалась.

— Барыня, охъ, что вы это?

— Возьми,—бросила покупки на полъ Марья Павловна и, шатаясь, направилась къ табуреткѣ, стоящей у стола.

Дѣти закопошились около корзины.

— Мама... мама—это что?...

— Во... во-ды!—вырвалось хрипло изъ груди, и Марья Павловна упала на руки едва подоспѣвшей Матрены.

— Господи, Іисусе Христе!..—бормотала та, силясь дотащить свою барыню до табуретки.—Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій! И надо же было экую тягость тащить... взяли бы извозчика — не расчетъ... а то... Эхъ ты, Господи Іисусе Христе!..

Испуганныя дѣти жались около матери.

— Чего смотрѣть! Нѣтъ того, чтобы матери пособить,—поддерживая свѣсившуюся голову барыни, обратилась Матрена укоризненно къ дѣтямъ.

Старшая дѣвочка вспыхнула и бросилась къ крану. Мальчикъ продолжалъ испуганно смотрѣть на мать... У младшей дѣвочки подергивались губки—точно она собиралась вотъ-вотъ сейчасъ разревѣться.

Старшая поднесла ковшикъ съ водой.

— Ишь, умаялась какъ, сердечная,—сокрушалась Матрена,—и не ѣвши... Барыня, а, барыня!—она приподняла голову Марьи Павловны и силилась влить воду въ плотно сжатыя губы.

По тѣлу Марьи Павловны пробѣжала едва замѣтная дрожь. Глаза открылись и мутнымъ, безсмысленнымъ взглядомъ посмотрѣли куда-то вверхъ... губы разжались. Съ трудомъ пропустивъ сквозь губы нѣсколько капель воды, она тяжело вздохнула и провела рукой по лбу.

Громкій захлебывающійся плачъ младшаго ребенка огласилъ комнату.

— Цыцъ!—сердито крикнула Матрена.— Ахъ, ты, Господи!—еще больше спужаютъ... и то горе.

— Ничего,—слабо выговорила Марья Павловна,— дай мнѣ... сюда.

Старшая дѣвочка съ трудомъ притащила къ матери разревѣвшуюся сестренку, волоча ее ногами по полу.

Марья Павловна взяла на руки и стала гладить ребенка по головѣ, а онъ, уткнувшись ей въ плечо, подъ вліяньемъ успокоивающей ласки, всхлипывалъ все рѣже и рѣже.

— Ну, ну, ну, ну, будетъ, довольно—тихо говорила мать, поводя рукой по шелковистымъ, бѣлокурымъ волосамъ.

Еще одинъ длинный, прерывистый вздохъ—и заплаканное личико, откинувшись отъ плеча съ невысохшими еще слезами на щекахъ, испуганно смотритъ на Марью Павловну.

— Ну, видишь—ничего...

Личико улыбается дѣтской ясной улыбкой.

— Мама, можно смотрѣть?—спрашиваетъ мальчикъ, усѣвшись на корточкахъ около корзины и проковыривая пальцемъ бумагу.

— У-у, ты-ы, баловень, — огрызается Матрена, поднимая съ пола брошенныя покупки,—тебѣ все баловать!

— Матрена, вотъ я купила платокъ... Не знаю твой ли вкусъ только?—говоритъ Марья Павловна.

Матрена бережно развертываетъ подарокъ.

— Покорно благодарю... Ужъ и плато-окъ!—проводя рукой по ворсу, заключаетъ она тономъ одобренья, —французскій...

— Ну, слава Богу. Угодила, значитъ?

— Ужъ и какъ!.. Ахъ, прелесть... Да что это я?..— внезапно спохватывается Матрена,—вѣдь замаялась, и не ѣвши... А то, можетъ, гдѣ закусывали?.. Самоваръ-то поставить? Дѣти тоже замаялись, ѣсть хотятъ... Ужъ мы ждали, ждали...

— Ахъ, Боже мой,—сконфуженно бормочетъ Марья Павловна,—чаю... чаю забыла...

— Ну, вотъ прекрасное дѣло! А я въ лавку больше не пойду,—рѣзко заявляетъ Матрена,—ни въ жисть!... провались они, проклятые!..

— Ахъ, да не зли ты меня, пожалуйста,—все еще слабымъ голосомъ, волнуясь и задыхаясь произноситъ Марья Павловна,—возьми!—она выворачиваетъ карманъ и выбрасываетъ уцѣлѣвшія бумажки вмѣстѣ съ квитанціей,—возьми, купи, расплатись, отдай все и отстань отъ меня, отстань!

— Чего бросаете! Деньги Божья благодать... Бросаютъ—не набросаешься,—ворчитъ уже добродушно Матрена, подбирая деньги.—«Слава Богу», сказать надо да помолиться, а онѣ бросаютъ!... Ну, вотъ сейчасъ куплю чаю, сахару... А хлѣбъ тута?—указываетъ она на корзину.

Марья Павловна молча отрицательно качаетъ головою.

— Ну, значитъ ситнаго тоже возьму фунтика два. Долгъ отдавать не буду—пущай ждутъ, окаянные... праздникъ—самимъ деньги нужны.

Матрена отсчитываетъ, сколько нужно, и прячетъ остальныя деньги вмѣстѣ съ квитанціей въ ящикъ кухоннаго стола.

— Прибрать-то лучше! Я дверь замкну.

— Хорошо.

— Мама, тутъ груши,—съ торжествомъ объявляетъ мальчикъ. Корзинка уже оказывается развязанной.— Можно?—и не дожидаясь отвѣта, мальчикъ запихиваетъ въ ротъ чуть не полгруши.

Младшій ребенокъ тихо сползаетъ съ колѣнъ матери и, ковыляя, тоже подходитъ къ корзинкѣ.

— Глу-уси.

— И колбаса!..

— Оставь, оставь, пожалуйста,—суетится старшая дѣвочка, отталкивая брата,—тутъ банка—ты разобьешь...

«Что это, какъ ноги гудятъ,—думаетъ Марья Павловна.—Ахъ, да я еще не раздѣлась»...

Она поднимается съ мѣста и, снявъ кофточку и калоши, идетъ въ свою комнату.

Тамъ темнота, хоть глаза выколи. Она ощупью находитъ кровать.

Славно такъ лечь... протянуться... темно, спокойно... Усталые члены замираютъ сладкой истомой... Тяжелые вѣки смыкаются и — вотъ оно желанное забвенье... Нѣтъ! опять ощущается странная тревога...

удушье какое-то: точно сердце билось-билось энергично, быстро—вдругъ перестало и... нѣтъ притока воздуха къ легкимъ... и сейчасъ задохнешься... на воздухъ надо идти, идти, пока не упадешь... Тогда уже забвенье настоящее...

— А я свѣчей купила,—раздается веселый Матренинъ голосъ, и комната слабо озаряется свѣтомъ принесенной свѣчи.—И въ кухнѣ лампу зажгла—люминація первый сортъ.

— Зачѣмъ все это? Въ темнотѣ было скверно, а съ этимъ тусклымъ свѣтомъ еще хуже... И зачѣмъ все это? «Ничего не нужно... ничего... жизни не нужно... радости не нужно... забвенья, только забвенья»!..

— Вотъ великая заступница, скорбящихъ, истинно говорится, радость... и такъ это было горько... а вотъ малымъ дѣтямъ Богъ счастья послалъ,—съ благоговѣньемъ солидно разсуждаетъ Матрена.—На сдачу маслица къ лампадѣ купила: праздникъ! Чай-то сюды принясу; съ дѣтями пить будете, тутъ и накрою...

Черезъ четверть часа на столѣ кипѣлъ самоваръ; наполовину опустошенная корзинка красовалась тутъ же; на тарелкахъ лежали нарѣзанные большими неаккуратными кусками и безпорядочно въ одну кучу сложенные—фаршированная колбаса, сыръ, ветчина, жареная курица, ростбифъ. И дѣти весело треща и перебивая другъ друга, жадно уписывали за обѣ щеки всѣ эти произведенья гастрономическаго магазина.

— Барыня, чего же вы?

Марья Павловна лѣниво поднимается съ постели и идетъ медленно къ столу... Къ чему ее тревожатъ—такъ хорошо лежать... спать... спать... дремать...

— А у твоего генерала такой колбасы не было,— задорно поддразниваетъ Матрену мальчикъ.

— Чего въ его только не было?.. Эка невидаль— колбаса! Таки замѳрски закуски были... и ни въ жисть не выговоришь.

— Мама, она вретъ? Есть развѣ такія закуски, что не выговоришь... Мама, а мама!..

— А?.. что?—разсѣянно спрашиваетъ Марья Павловна.

— Есть?

— Да, есть,—отвѣчаетъ она, сама не зная, о чемъ шла рѣчь.—Садись, Матрена, ѣшь!

— Ужъ я малость перехватила, да вы сами-то отвѣдали бы, вотъ ветчина скусная, ничаво...

Въ кухнѣ раздается звонокъ.

— Никакъ баринъ.

Матрена, вытирая на ходу ротъ передникомъ и громко чавкая, бѣжитъ проворно отворять дверь.

— Барыня!—снова возвращается она въ комнату,— тамъ малецъ изъ лавки, я ему говорю—не къ намъ, а онъ спорится...

— Да, да, да... къ намъ прими.

Марья Павловна прихлебываетъ горячій чай и, не разбирая вкуса, проглатываетъ, почти не пережевывая, куски холодной курицы.

— Мамочка, вотъ это, ахъ, какъ вкусно!—съ раскраснѣвшимся отъ удовольствія лицомъ, протягиваетъ ей старшая дѣвочка кусокъ фаршированной колбасы.

Больная, грустная улыбка пробѣгаетъ по блѣднымъ губамъ Марьи Павловны.

Матрена появляется опять, таща большую корзину.

— Чижалò! Экій малецъ, небольшой, а приташшилъ Развязать, што ль?

— Оставь, послѣ...

— Я развяжу.

— Нѣтъ я... я—ты не умѣешь!

— Все лучше тебя!—наперерывъ спорятъ и суетятся уже около новой корзины дѣти.

— Ну, ну, ну! Не трошьте.—Матрена ставитъ на полъ свою ношу.—Чижалò, и какъ это малецъ, право, такой небольшой...

— Мама, тутъ гостинцы?

— Тарелки.

— Та-а-релки!—и разочарованныя дѣти снова усаживаются за столъ.

Въ комнатѣ наступаетъ тишина; только слышно прихлебыванье чая да громкое чавканье Матрены.

— И сколько тутъ всякаго добра понакладено,—прерываетъ она молчанье, разбирая пальцами колбасу.—Чудно! Вотъ напротивъ насъ поваръ живетъ, такъ судомойка сказывала: чего-чего только во всяко кушанье не напихаетъ: и толкетъ, и третъ, и ножомъ-то, и рукамъ-то... Мудрено! А по мнѣ и скусу даже особеннаго въ эфтимъ нѣтъ,—вытирая ротъ рукой, полупрезрительно откладываетъ Матрена въ сторону недоѣденный кусокъ.—Вотъ енералъ тоже, бывало придетъ, угошшаетъ: ѣшь, кормилка, скусно,—а мнѣ не нравится.

Марья Павловна, разсѣянно слушая болтовню Матрены, мрачно глядитъ на разгорѣвшіяся личики дѣтей.

«И зачѣмъ все это, зачѣмъ?.. и дѣти... и все... Безпріютная, безсмысленная жизнь... темная ночь... и впе-

ради огня нѣтъ... Зачѣмъ это?.. А дѣтямъ весело—жить хотятъ... безотчетно... зачѣмъ?.. Борьба! Одни падаютъ... другимъ хорошо... И все не нужно, нѣтъ... Тоже въ дѣтствѣ—весело было, хотѣлось всего... юность вѣритъ... ждетъ... а теперь»...

Спазмы сжимаютъ горло. Марья Павловна низко наклоняетъ голову и, желая скрыть готовыя брызнуть изъ глазъ слезы, залпомъ громкими глотками выпиваетъ недопитый чай.

Изъ кухни послышался какой-то неясный шумъ, шарканье нѣсколькихъ ногъ, откашливанье...

— Батюшки!..—тревожно вскакиваетъ Матрена.—Никакъ тамъ вошелъ кто чужой, а я, должно-быть, дверь-то за мальцемъ не затворила. Эка дуришша!..

Она спѣшитъ въ кухню. Странный шумъ усиливается, Матрена съ кѣмъ-то энергично споритъ.

— Барыня, барыня!—показывается въ дверяхъ ея перепуганное лицо.—Околоточный!.. съ двумя дворниками... Говорю: дома нѣтъ—серчаетъ.

Марья Павловна вскочила, какъ ужаленная. Словно огненная струя молніей пробѣжала по тѣлу и обожгла съ головы до самыхъ ногъ. Все запрыгало передъ глазами, завертѣлось... трескъ... ревъ... точно все рушится, падаетъ, ломается...

«Спасаться скорѣй!»...

Однимъ прыжкомъ очутилась она около дверей и сильной, дрожащей рукой втолкнула растерявшуюся Матрену въ комнату.

— Сиди здѣсь... съ дѣтьми... Туда нельзя!—твердо отрывистымъ шепотомъ приказала она и вошла въ кухню.

Передъ ней—съ слащавой улыбкой и непріятно пронизывающими сѣрыми глазами, бѣлокурый, щеголеватый околоточный. Около входныхъ дверей, угрюмо глядя въ полъ, переминаются съ ноги на ногу, чѣмъ-то будто сконфуженные, дворники.

— Ваша фамилія Стрѣшнева?—вѣжливо спрашиваетъ околоточный.

— Да.

— Марья Павловна, дворянка?

— Да.

— По распоряженью градо...

— Вы пришли за браслетомъ?.. Искать не нужно... я... я... взяла...

Марья Павловна бросилась къ ящику стола, судорожно схватила и подала полицейскому смятую бумагу:

— Вотъ квитанція и деньги...

XVI.

...Испуганныя и притихнувшія дѣти растерянно смотрѣли на вошедшую мать. Она была совершенно одѣта. За ней, въ дверяхъ, въ спокойной, выжидающей позѣ стоялъ околоточный.

— Ты не пугайся,—громкимъ, слегка дрожащимъ голосомъ обратилась къ Матренѣ Марья Павловна.— Если что случится—не пугайся: я вернусь... Дѣти, я приду... скоро...

Она торопливо, вскользь цѣлуетъ дѣтей, каждую минуту боясь потерять самообладанье, волнуясь и спѣша...

— Не бойтесь, я скоро!.. Идемте. Проводить можно?

Полицейскій любезно наклоняетъ голову:

— Сдѣлайте одолженье.

— Пойдемъ, Матрена... Ну, прощайте — такъ я сейчасъ... помните... Прощайте... Не бойтесь... Посидите, пока придетъ Матрена, а я... по дѣлу... скоро... Прощайте!—безсвязно лепечетъ Марья Павловна и, вырвавшись изъ дѣтскихъ объятій, стремительно выбѣгаетъ на лѣстницу... Спотыкаясь, чуть-чуть не падая, быстро спускается она по ступенькамъ внизъ.

Полицейскій, молодцовато откинувъ голову немного на бокъ, ловко и легко сѣменя ногами,—бѣжитъ за ней. Заплаканная Матрена, замкнувъ дверь квартиры, едва поспѣваетъ сзади.

Мглистый сѣрый воздухъ немного отрезвляетъ голову... Въ мозгу просыпается смутное, полусонное сознанье.

— Матрена... Такъ вотъ... Что я тебѣ хотѣла сказать?.. Ахъ, позволь...

Марья Павловна нетерпѣливо третъ лобъ рукой...

— Эхъ... мысли путаются... Да!.. такъ... такъ... Ты скажи барину, слышишь, скажи—недоразумѣнье... Запомни: не-до-ра-зу-мѣ-нь-е. Поняла?

Матрена всхлипываетъ и сморкается.

— Да не плачь! Я говорю тебѣ... вздоръ,—сама каждую минуту боясь разрыдаться, раздражительно говоритъ Марья Павловна.—Такъ... такъ значитъ... Постой... провизіи... вамъ хватитъ... постой... Что я еще хотѣла...

— Барыня, не сумлѣвайся... не сумлѣвайся, милая

ты моя,—жалобно причитываетъ Матрена, вытирая бѣгущія по загрубѣлымъ щекамъ слезы... Святая Заступница—бѣдныхъ утѣшенье, сирыхъ умиленье, не оставитъ тебя Матушка Царица Небесная.

Около воротъ уже ждалъ извозчикъ.

— Ну, прощай, Матрена, бе-ре-ги...

— Не сумлѣвайся, милая, не сумлѣвайся... Ну я же говорю, не сумлѣвайся,—захлебываясь отъ слезъ, продолжаетъ повторять Матрена.

Полицейскій ловко подсадивъ Марью Павловну, вскакиваетъ самъ въ сани и застегиваетъ полость.

— Пошелъ!..

Худая клячонка лѣниво засѣменила ногами. Шелъ снѣгъ. По скользкимъ тротуарамъ торопливо мелькали тѣни запоздалыхъ пѣшеходовъ... Вотъ прошла, громко разговаривая и размахивая руками, кучка фабричныхъ рабочихъ; пробѣжалъ мальчикъ-мастеровой; оглядываясь пугливо кругомъ, прошмыгнулъ какой-то оборванецъ въ лохмотьяхъ; заморенная собачонка, съ длинными космами грязной бѣлой шерсти, поджавъ хвостъ и вся дрожа, проковыляла вдоль стѣны... За заборомъ раздался чей-то полупьяный женскій голосъ:

На машинѣ сви-стокъ мѣ-ѣ-дный.
Ѣдетъ милый злой и блѣ-ѣ-дный...

Марья Павловна оглянулась назадъ: ничего не видно... Сѣрыя полосы мелкаго снѣга покрыли легкой дымкой темную даль... Тусклые фонари вытянулись въ рядъ и подслѣповато мигаютъ, а впереди—опять эти подслѣповатые фонари, и темное-темное небо раскинулось мрачнымъ шатромъ. Гдѣ-то близко, тор-

жественно гудитъ въ воздухѣ равномѣрный унылый благовѣстъ.

Прощай ми-лый, до свиданья,
Не забудь мо-во стра-данья—

доносится съ вѣтромъ отрывистыми звуками все та же пьяная пѣсня.

Еще долго стояла у воротъ Матрена, пристально вглядываясь въ сѣрую мглу, поглотившую и извозчика, и Марью Павловну съ ея спутникомъ.

— Эхъ, ты, горькая-горькая...—тоскливо, съ тяжелымъ вздохомъ сорвалось у нея, казалось, откуда-то изъ самой глубины души...—Бездольная...

И, сердито вытирая остановившіяся на глазахъ слезы, безнадежно опустивъ голову, Матрена понуро побрела домой.

XVII.

Дѣти испуганной кучкой робко жались около стола, гдѣ лежала закуска, блѣдныя, трепещущія, не смѣя двинуться съ мѣста.

— Ну, ребятки, чего притихли?—громко съ напускной веселостью окликнула ихъ вернувшаяся Матрена.—Мамонька наказать велѣла, чтобы вы вели себя всѣ справно, меня слушались, а она ужо придетъ—все спроситъ.

— Это маму... за долги... городовой взялъ?—вся дрожа отъ страха, прерывающимся голосомъ спросила старшая дѣвочка.

— Ну, вотъ еще!.. По какому такому праву,—

бойко отвѣтила Матрена.—Нешто за долги въ участокъ берутъ? за пьянство только да за озарство... Такъ, должно, по дѣлу—насчетъ пачпорту...

Ошеломленная всѣмъ происшедшимъ, Матрена сама ничего не понимала; она чуяла только сердцемъ, что случилось что-то страшное, грозное—обрушилось какое-то большое несчастье, что ей, Матренѣ, придется выпутываться изъ всего этого, спасать отъ неминучей гибели своихъ любимцевъ—дитенковъ,—и въ эту минуту она заботилась только объ одномъ, какъ бы уложить ихъ спать до возвращенія «сахара», какъ она мысленно называла всегда Григорія Ивановича.

— Желанные, коли, ежели, значитъ, поужинали, спать пойдемъ,—заявила она рѣшительно все еще не оправившимся отъ испуга дѣтямъ.

— Я хатю-ю-ю къ мамѣ,—жалобно протянула младшая дѣвочка.

— Сказано, маменька велѣла слушаться... Придетъ она скоро и осерчаетъ, что вы не спите, и на меня осерчаетъ,—что будемъ тогда дѣлать?.. Пойдемъ, пойдемъ... Про енерала разскажу,—ласково убѣждала дѣтей Матрена, а у самой подкашивались ноги, и голова отказывалась работать отъ чрезмѣрнаго волненья.

Дѣти тихо поплелись за ней. Измученныя долгимъ голоднымъ днемъ, завершившимся такъ неожиданно, перепугавшимъ ихъ необычнымъ событіемъ, они, раздѣтыя Матреной, какъ подкошенныя, повалились въ свои кроватки и сейчасъ же заснули крѣпкимъ сномъ.

Матрена облегченно вздохнула.

— «Сахаръ-то» должонъ скоро притить—заведеніевъ нынче нѣтъ—всѣ рано закрыты...

жественно гудитъ въ воздухѣ равномѣрный унылый благовѣстъ.

Прощай ми-лый, до свиданья,
Не забудь мо-во стра-данья—

доносится съ вѣтромъ отрывистыми звуками все та же пьяная пѣсня.

Еще долго стояла у воротъ Матрена, пристально вглядываясь въ сѣрую мглу, поглотившую и извозчика, и Марью Павловну съ ея спутникомъ.

— Эхъ, ты, горькая-горькая...—тоскливо, съ тяжелымъ вздохомъ сорвалось у нея, казалось, откуда-то изъ самой глубины души...—Бездольная...

И, сердито вытирая остановившіяся на глазахъ слезы, безнадежно опустивъ голову, Матрена понуро побрела домой.

XVII.

Дѣти испуганной кучкой робко жались около стола, гдѣ лежала закуска, блѣдныя, трепещущія, не смѣя двинуться съ мѣста.

— Ну, ребятки, чего притихли?—громко съ напускной веселостью окликнула ихъ вернувшаяся Матрена. – Мамонька наказать велѣла, чтобы вы вели себя всѣ справно, меня слушались, а она ужо придетъ—все спроситъ.

— Это маму... за долги... городовой взялъ?—вся дрожа отъ страха, прерывающимся голосомъ спросила старшая дѣвочка.

— Ну, вотъ еще!.. По какому такому праву,—

бойко отвѣтила Матрена.—Нешто за долги въ участокъ берутъ? за пьянство только да за озарство... Такъ, должно, по дѣлу—насчетъ пачпорту...

Ошеломленная всѣмъ происшедшимъ, Матрена сама ничего не понимала; она чуяла только сердцемъ, что случилось что-то страшное, грозное—обрушилось какое-то большое несчастье, что ей, Матренѣ, придется выпутываться изъ всего этого, спасать отъ неминучей гибели своихъ любимцевъ—дитенковъ,—и въ эту минуту она заботилась только объ одномъ, какъ бы уложить ихъ спать до возвращенія «сахара», какъ она мысленно называла всегда Григорія Ивановича.

— Желанные, коли, ежели, значитъ, поужинали, спать пойдемъ,—заявила она рѣшительно все еще не оправившимся отъ испуга дѣтямъ.

— Я хатю-ю-ю къ мамѣ,—жалобно протянула младшая дѣвочка.

— Сказано, маменька велѣла слушаться... Придетъ она скоро и осерчаетъ, что вы не спите, и на меня осерчаетъ,—что будемъ тогда дѣлать?.. Пойдемъ, пойдемъ... Про енерала разскажу,—ласково убѣждала дѣтей Матрена, а у самой подкашивались ноги, и голова отказывалась работать отъ чрезмѣрнаго волненья.

Дѣти тихо поплелись за ней. Измученныя долгимъ голоднымъ днемъ, завершившимся такъ неожиданно, перепугавшимъ ихъ необычнымъ событіемъ, они, раздѣтыя Матреной, какъ подкошенныя, повалились въ свои кроватки и сейчасъ же заснули крѣпкимъ сномъ.

Матрена облегченно вздохнула.

— «Сахаръ-то» долженъ скоро притить—заведеніевъ нынче нѣтъ—всѣ рано закрыты...

Она ожидала сегодня возвращенья барина съ особенно злобнымъ ожесточеньемъ, считая его причиной случившагося несчастья, и въ то же время съ тайной надеждой, что онъ разъяснитъ ей, темной бабѣ, все и поможетъ справиться съ бѣдой.

«Ахъ, ты, безчастная,—сокрушалась она, убирая со стола недопитую чашку Марьи Павловны,—и напиться-то путемъ не дали—живодеры... Надо же экой бѣдѣ случиться... Господи милостивый!»

Около двери послышался неясный шорохъ—точно кто царапался.

— Никакъ принесло нашего «сахара»?—прислушалась Матрена.—Должно тверезый... Кабы пьянъ былъ, такимъ бы фонъ-барономъ застучалъ—страсть!..

Звонокъ у входной двери тихо звякнулъ.

Онъ и есть!—Матрена пошла отворять.—Должно пріятелевъ не нашелъ... тверезый...

Она ошиблась. Григорій Ивановичъ былъ пьянъ еще больше, чѣмъ наканунѣ.

— Барыня дома?—пробурчалъ онъ заплетающимся языкомъ.

— Проздравляю,—съ злобной ироніей заговорила взбѣшенная Матрена,—проздравляю. И вдругъ все лицо ея перекосилось, и она заплакала такими жалкими, дѣтскими слезами.

— Нѣту нашей барыни... Сожралъ ты ее... погубитель!..

Григорій Ивановичъ смотрѣлъ мутными, безсмысленными глазами, ничего, повидимому, не понимая.

— Я тебя спрашиваю: барыня дома?—съ пьянымъ

упорствомъ повторилъ онъ вопросъ, растягивая и отчеканивая слова.—Подлянка!

Матрена яростно на него накинулась:

— Нѣтъ, не я подлянка... а ты, ты, погубитель всей ейной жизни... Нѣтъ ея!.. нѣтъ!.. Пришла полиція... надзиратель... взяли нашу барыню... увели...

И Матрена снова залилась слезами.

Слова «полиція», «увели», безумная ярость Матрены, ея горькія слезы отрезвили сильно захмѣлѣвшую голову Григорія Ивановича. Онъ, хотя смутно, но начиналъ, казалось, что-то соображать.

— Полиція?—спросилъ онъ нетвердымъ голосомъ.

— Увели... увели-и-и, — жалобно причитывала Матрена; давъ волю своему отчаянью.

— Н-не имѣютъ права!.. Я... Я... пойду сейчасъ... я покажу, по-к-к-ажу-у!!—кипятился Григорій Ивановичъ и неровными шагами пошелъ къ дверямъ.

Матрена сильной рукой схватила его за рукавъ.

— Ходить тебѣ неча—и самого заберутъ... Ложись въ кровать, лучше проспись, а завтра, что Богъ пошлетъ...

Григорій Ивановичъ, съ покорностью ребенка, послушно позволилъ Матренѣ увести себя въ спальню и, пока она его раздѣвала, пристально глядѣлъ на нее испуганными глазами, глазами забитой собаки, какъ бы стараясь что-то припомнить. Наконецъ, очевидно, вспомнивъ желаемое, онъ началъ тихо-тихо всхлипывать:

— Она святая... женщина... о-отдала мнѣ жизнь... я подлецъ!.. Под-лецъ!..

— Ладно ужъ, ладно, проспись!—съ суровымъ лицомъ успокоивала его Матрена, поливая ему голову

водой и распоряжаясь его отяжелѣвшимъ тѣломъ словно вещью.

— Винища-то лучше бы меньше лопалъ—вотъ что!..

Уложивъ барина въ постель, Матрена вернулась въ кухню и озабоченная, встревоженная, прежде всего обратилась къ столу, гдѣ были спрятаны деньги, чтобы сосчитать ихъ и прибрать поаккуратнѣе.

Денегъ не оказалось. Матрену это совсѣмъ сразило.

— Батюшки, никакъ она ихъ съ собой взяла? Такъ и есть... Что я буду теперича дѣлать?..—Подавленная этимъ новымъ открытьемъ, она сѣла къ окошку, угрюмая, и стала обдумывать безвыходность своего положенья:—Хорошо, коль вернутъ завтра, а ежели судбище какое, либо тяжба... кто жъ ее знаетъ?.. А можетъ, это и зря—обманъ... и это бываетъ... Надзиратель самъ приходилъ... Эка жалость—не была я тута, съ дитями въ спальной велѣли остаться... Что промежду ихъ происходило?.. Какая тому причина?.

Вспоминая съ паническимъ ужасомъ появленье околоточнаго, испугъ барыни, ея раздирающій душу видъ, подневольный уходъ изъ дома,—совершенно сбитая съ толку Матрена тщетно пыталась уяснить себѣ причину этихъ странныхъ, роковыхъ событій.

Изъ сосѣдней комнаты, между тѣмъ, до нея доносились, отъ времени до времени, всхлипыванья все еще не успокоившагося Григорія Ивановича.

— Ну!.. этого шутъ его возьми... безчастнаго!—съ сердцемъ махнула она рукой по направленью къ комнатѣ.—А махонькіе-то какъ же? Чѣмъ я кормить ихъ стану, сиротъ спокинутыхъ?..

Привезенная Марьей Павловной корзина
сами, наполовину опустошенная, стояла на
трена кинулась къ ней и, осмотрѣвъ нер
еще закуски, слегка успокоилась.

— Ну, тутъ добра всякаго много—дн
хватитъ... А тамъ, може, и барыня вернетс
нѣтъ?!—Матрена мрачно насупилась, но
вся вздрогнула, встрепенулась, радостно
озарившей ее мыслью:—Въ поденщину пойд
мимся... А ежели хозяинъ съ квартерой п
какое сдѣлаетъ—упаду ему прямо въ ноги
дастъ Господь милостивый—умягчитъ евонн

И Матрена, счастливая, съ сердцемъ п
нымъ радостной надеждой, опустилась пере
кимъ образомъ, тускло освѣщеннымъ
лампадой: — Спаситель-Батюшка! — страстн
она къ образу,—не спокинь сиротъ... Батю
тюшка!..

Долго молилась Матрена, громко произ
молитвы, размашисто осѣняя себя крестны
ніемъ и низко кланяясь въ землю, а по е
ленному лицу тихо струились счастливыя сл
вѣры, душевнаго умиленья и любви...

ГОРЕМЫЧНАЯ.

Разсказъ.

Какъ изъ машины винтъ негодный
Быть можетъ, брошенъ будешь ты!
Н. Некрасовъ.

О, Боже! Зачѣмъ это дорогъ такъ хлѣбъ,
Такъ дешевы тѣло и кровь?!
Т. Гудъ.

Уже прошелъ годъ съ того злополучнаго дня, какъ Ольга Семеновна ушла изъ театра, то-есть въ вѣжливой и категорической формѣ ей объявили, что больше не нуждаются въ ея услугахъ.

Дѣло было такъ: на первой недѣлѣ Великаго поста, въ понедѣльникъ, какъ это обыкновенно ею практиковалось въ теченіе цѣлыхъ пятнадцати лѣтъ, явилась Ольга Семеновна въ контору за получкой жалованья и кстати проститься съ управляющимъ Максимомъ Леонидовичемъ—онъ же былъ и режиссеръ—до будущаго сезона.

Максимъ Леонидовичъ встрѣтилъ ее сухо и нѣсколько сконфуженно.

— Вотъ что, милѣйшая Ольга Семеновна,—произ-

несъ онъ съ разстановкой и не глядя на нее,—я вамъ долженъ сообщить не совсѣмъ пріятную новость.

У Ольги Семеновны дрогнуло сердце. Лѣтъ пять тому назадъ тѣмъ же Максимомъ Леонидовичемъ, въ томъ же тонѣ, ей была предложена сбавка жалованья до двадцати-пяти рублей въ мѣсяцъ взамѣнъ пятидесяти, которые она получала раньше.

«Неужто опять сбавка?»—подумала она со страхомъ. «Куда-жъ еще? Уже больше не изъ чего и сбавлять.»

Она испуганно взглянула на Максима Леонидовича, игравшаго толстой золотой цѣпью, увѣнчанной жетонами «отъ благодарныхъ товарищей» (вѣдь и ея рублишка три за все это время тоже перепало на украшеніе цѣпочки Максима Леонидовича). Досадно стало Ольгѣ Семеновнѣ: вотъ вѣдь второй разъ непріятность онъ ей сообщаетъ, а ея кровныхъ, кровныхъ три рубля погублено на эти «реликвіи».

— Неужто опять сбавка?—проронила она робко.

— Нѣтъ, милая барыня, хуже!..

Максимъ Леонидовичъ наморщилъ лобъ и пригнулъ къ правому плечу свою остриженную коротко голову, а его упитанное, лоснящееся бритое лицо, съ толстымъ носомъ и крупными губами, выразило смущеніе.

— Хуже, милая барыня... Придется вамъ взять свои монатки, и «прощаюсь, ангелъ мой съ тобою»—addio, mia cara!..

Но, видя, что Ольга Семеновна не понимаетъ его замысловатой рѣчи, онъ прибавилъ:

— Да, любезнѣйшая Ольга Семеновна, придется намъ разстаться съ вами.

— Т.-е. какъ же?.. Недовольны мной?.. Неисправность какая по службѣ?.. Я... всегда старалась... добросовѣстно...

Вся маленькая фигурка Ольги Семеновны вдругъ какъ-будто стала еще меньше, а голубые, выцвѣтшіе глазки заморгали часто-часто. Дрожащія руки начали вдругъ, безъ всякой надобности, поправлять на головѣ шляпку, а между тѣмъ какія-то очень, очень нужныя слова никакъ не удавалось вызвать ей изъ памяти.

— Это... это несправедливо!..—наконецъ выпалила она, и морщинистыя щеки ея залилъ багровый румянецъ.—Я столько лѣтъ работала и... всегда честно... Я думала мнѣ умереть дадутъ спокойно... Куда же я пойду? Вѣдь пенсіоновъ намъ не полагается.

— Что дѣлать, милая барыня, такова воля Аристарха Львовича. А онъ у насъ кремень, вы знаете.. Что рѣшено, перерѣшать не будетъ... А тутъ еще двѣ новыхъ—даровыя... Соблазнъ великъ,—рѣшилъ сократить штатъ, и васъ нашелъ лишнею.

— Но вѣдь я была всегда исправна... И куда же я пойду?.. Это несправедливо... несправедливо!..—взволнованно повторяла Ольга Семеновна.

Максимъ Леонидовичъ иронически пожалъ своими жирными плечами.

— O sancta simplicitas!.. Захотѣли въ нашемъ мірѣ справедливости! Кто палку взялъ—тотъ и капралъ... Говорю я вамъ толкомъ, милая барыня: двѣ новыхъ, сразу... Понимаете—двѣ... Одна совсѣмъ молоденькая, ученица...—онъ назвалъ фамилію одного изъ крупныхъ актеровъ,—то-есть просто, должно быть, его амишка а другая—барыня, постарше—адвокатская жена. Гово-

ритъ, дѣтей своихъ я выростила, хочу попробовать теперь свои силы на общественномъ поприщѣ, театръ обожаю, буду играть старухъ, все что угодно, и даромъ. Ну, нашъ, конечно, размякъ.

— Вѣдь это, значитъ, что же? Прихоть! Съ жиру бѣсятся, — злобно проговорила Ольга Семеновна,—а меня въ шею, за всю-то службу... Очень хорошо!

— Что дѣлать, милая барыня!—улыбнулся Максимъ Леонидовичъ,—на томъ свѣтъ стоитъ: кошкѣ игрушки—мышкѣ слезки, ей—прихоть, вамъ—бѣда, а директору—прибыль, экономія... ха-ха-ха... Глядишь, вашъ полугодовой окладъ—150 рубликовъ и цѣлы, и въ кармашкѣ лежатъ, амишкѣ можно лишнюю браслетку поднесть... Онъ у насъ тоже вѣдь не промахъ на этотъ счетъ.

И Максимъ Леонидовичъ подмигнулъ многозначительно.

— А вы вотъ что, милая барыня,—вдругъ перешелъ онъ на серьезный тонъ,—садитесь и пишите прошеніе въ «Общество артистовъ»: такъ молъ и такъ—осталась безъ средствъ—прошу пособія... Люди тамъ хорошіе, стараются,—авось внемлютъ гласу неимущаго.

— Максимъ Леонидовичъ!—вскинувъ на него полные отчаянья глаза, крикнула Ольга Семеновна.—Все это неправда! Я пойду къ Аристарху Львовичу.

Максимъ Леонидовичъ побагровѣлъ и произнесъ дѣловымъ, холоднымъ тономъ, почти грубо:

— Но... но... но... нельзя ли потише! Потрудитесь расписаться въ полученіи слѣдуемыхъ вамъ двадцати пяти рублей, и нашъ инцидентъ, какъ говорятъ газеты,

исчерпанъ. Къ Аристарху Львовичу толкаться не пытайтесь, все равно не приметъ.

Машинально взяла Ольга Семеновна сѣровато-лиловую бумажку, машинально вытащила очки, надѣла на носъ и старательно вывела свою фамилію въ книгѣ; а въ глазахъ рябило, и сердце стучало такъ громко и часто, что, казалось, жирный Максимъ Леонидовичъ долженъ былъ бы слышать его біеніе. Но онъ ничего не слышалъ и, видимо желая поскорѣе отдѣлаться отъ старухи, подалъ ей свою пухлую, украшенную бирюзовымъ перстнемъ, руку:

— Ну, барыня, будьте здоровы, не забывайте насъ грѣшныхъ и пишите прошеніе... Послушайтесь совѣта.

Онъ дружески потрепалъ Ольгу Семеновну по плечу.

— Прощайте,—сухо отвѣтила старуха,—шутки не къ мѣсту.

На улицѣ было свѣтло и весело; въ воздухѣ уже вѣяло весной. Ольгѣ Семеновнѣ казалось тяжелымъ невѣроятнымъ сномъ все то, что произошло съ нею сейчасъ въ конторѣ. Нервы ея были возбуждены до послѣдней степени. Она, во что бы то ни стало, хотѣла отстоять свое человѣческое право, но... какъ?

Она рѣшила пойти къ главной премьершѣ театра Вельегорской, которая всегда очень милостиво разговаривала съ ней и щедро платила ей за вязаныя прошивки и кружева. Вязать Ольга Семеновна, несмотря на свой ревматизмъ въ рукахъ, была большая мастерица.

Премьерша приняла несчастную старуху даже радостно. Это была странная, преуморительная женщина

лѣтъ за сорокъ, съ великолѣпными черными глазами на расплывшемся лицѣ и нѣсколько излишне полнымъ, несмотря на старательный массажъ, станомъ. Большая франтиха въ театрѣ, дома она была всегда неизмѣнно въ красномъ плюшевомъ капотѣ, съ вырѣзкой на груди и жирными пятнами на животѣ и локтяхъ. Она вѣчно была занята и вѣчно торопилась: или къ молебну, или къ гадалкѣ, или на репетицію, или въ спектакль. Любимой ея ролью была Маргарита Готье, и потому она, въ жизни, постоянно искала своего Армана Дюваля, который, «простивъ ей все прошлое» и женившись на ней, возродилъ бы ее къ новой жизни.

Вельегорская потащила Ольгу Семеновну въ свою нарядную, неряшливую спальню, гдѣ царствовалъ невообразимый безпорядокъ: неубранная постель, наполу разбросанныя шелковыя, съ оборванными оборками, юбки и старыя стоптанныя туфли; на голубомъ атласномъ столѣ, передъ запыленнымъ роскошнымъ трехстворчатымъ зеркаломъ, цѣлыя груды всевозможныхъ флаконовъ, стклянокъ, коробочекъ съ духами, пудрой, различными притираніями. Запахъ брокаровскаго цвѣточнаго одеколона, смѣшанный съ букетомъ Houbigant, такъ и висѣлъ въ воздухѣ.

Усадивъ на маленькій диванъ гостью и упершись всей своей мощной грудью въ стоящій передъ ней столъ, Вельегорская стала, захлебываясь, забрасывать Ольгу Семеновну повѣствованіями послѣднихъ событій своего романа.

— Голубушка, поѣдемъ, поѣдемъ!.. Я знаю новую гадалку,—удивительно гадаетъ... Поѣдемъ,—одной мнѣ скучно... а послѣ съѣздимъ къ «Нечаянной радости»,

вѣдь въ Петербургѣ я любила къ «Скоропослушницѣ» ѣздить, а здѣсь «Нечаянная радость», одна моя отрада... Но что съ вами? Милая, у васъ глаза будто заплаканы? — обратила она вдругъ вниманіе на разстроенный видъ старухи.

— Горе у меня.

И Ольгѣ Семеновнѣ удалось, наконецъ, повѣдать, зачѣмъ она пришла.

— Ахъ, онъ мерзавецъ! ахъ, подлецъ!—закричала Вельегорская,—свинья разжирѣвшая!! Это его штуки. И адвокатская жена, и эта ученица... Знаю я эти выдумки... Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! — позвала Вельегорская своего Армана Дюваля, — слыхали новыя мерзости нашего баши-бузука (такъ аттестовала она Максима Леонидовича): несчастную старуху гонитъ вонъ, потому что нужно, видите ли, мѣсто опростать двумъ новымъ какимъ-то негодяйкамъ и, конечно, любовницамъ, если не настоящимъ, то будущимъ. Ужъ это съ тѣмъ возьмите!.. Мерзавецъ, мерзавецъ! И нѣтъ на него расправы!..

— Насколько я припоминаю,—съ важностью произнесъ блондинъ,—дѣло было при мнѣ: онъ тутъ не при чемъ, дѣйствительно это Аристархъ Львовичъ.

— И это подлецъ! Всѣ, всѣ мужчины подлецы!..— продолжала кричать Вельегорская, и въ голосѣ ея слышались слезы.—Вотъ посовѣтуйте лучше, что дѣлать? Онъ ей сказалъ прошеніе подать въ „Общество артистовъ“. Вотъ вы членъ,—разскажите, какъ и что нужно.

— Разскажите, батюшка,—взмолилась Ольга Семеновна.

Блондинъ все съ той же напыщенной важностью составилъ Ольгѣ Семеновнѣ прошеніе и обѣщалъ даже самъ послать куда слѣдуетъ, намекнувъ многозначительно, что тамъ весь комитетъ его друзья-пріятели и что можно заранѣе поручиться за успѣхъ, если онъ приложитъ къ прошенію свое письмо.

— Батюшка,—заставьте Бога молить, — лепетала со слезами умиленья, обрадованная старуха.

— Ужъ онъ сдѣлаетъ, ужъ онъ сдѣлаетъ, — съ увѣренностью произнесла Вельегорская.

Она всучила насильно Ольгѣ Семеновнѣ десять рублей въ счетъ будущихъ прошивокъ и увезла ее сначала къ гадалкѣ, потомъ къ «Нечаянной радости».

Полъ-дня точно въ чаду пронеслись для Ольги Семеновны, и когда, разставшись съ Вельегорской, она очутилась на улицѣ одна, тутъ только ясно, со всей безпощадностью, предстала предъ ея глазами дѣйствительность.

— Что же теперь?.. куда? Домой... Батюшки! Про собакъ-то своихъ я забыла совсѣмъ; вѣдь голодныя сидятъ, ждутъ.

И, зайдя въ лавку, купивъ наскоро кусокъ мяса, хлѣба и крупъ, несчастная старуха поплелась домой. Шла она тихо, испытывая страшную усталость, и почему-то въ обрывкахъ, отдѣльными эпизодами, вспоминалась ей ея прошлая жизнь. Вотъ она, молоденькая дѣвушка, первый разъ выходитъ, въ незначительной роли, на сцену. Какъ, почему попала она на сцену—она и сама не знаетъ. И ея мать и тетки

служили на сценѣ, и бабушка была крѣпостной актрисой, и ей самой казалось тогда, что всѣ должны быть актрисами и больше ничего другого въ жизни дѣлать нечего, какъ только играть на сценѣ. Припомнилась и дальнѣйшая судьба—все сѣренькія, хмурыя картинки: жалкая лямка актрисы на небольшія роли, недоѣданье, недосыпанье, хлопоты о приличномъ гардеробѣ, недоплата жалованья, замужество за суфлеромъ—пьяницей и мотомъ—дѣти, нужда... Переѣздъ въ Бѣлокаменную, служба въ настоящемъ, хорошемъ, солидномъ театрѣ... Тутъ все-таки посвободнѣе вздохнула: пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ жалованья, да работу кой-какую брала—вязала, вышивала, на мужа рукой махнула... А удивительный былъ человѣкъ!.. И нельзя сказать, чтобы дурной: и любилъ ее, и на дѣлѣ исправенъ, а спектакль сдалъ—и закатился съ товарищами. Вернется домой пьяный, придирается, поколотитъ даже, бывало, зачастую... потомъ плачетъ... „И пить—умереть, и не пить—умереть“—одно твердилъ... Такъ и умеръ онъ... И не пожалѣла Ольга Семеновна, даромъ что двадцать-пять лѣтъ прожила замужемъ. Столько муки за эти двадцать-пять лѣтъ вытерпѣла, что только перекрестилась,—руки, молъ, развязалъ. Изъ пятерыхъ дѣтей дочка одна осталась въ живыхъ, подростокъ. Помогъ Богъ Ольгѣ Семеновнѣ дотянуть, вырастить ее... Только дочка тоже въ актрисы захотѣла, попробовала въ Москвѣ—удачи не было—уѣхала въ провинцію, замужъ вышла и тоже не везетъ все: двое дѣтей, а заработки плохіе, то и дѣло приходилось Ольгѣ Семеновнѣ, при всей скудо-

сти средствъ, оказывать дочкѣ хотя грошевую, а все же помощь...

Давно, давно уже знала Ольга Семеновна, что у жизни есть свои *любимые и нелюбимые*. У любимыхъ все такъ удачно складывается, идетъ словно какъ по маслу; у нелюбимыхъ—все не ладится, не клеится, подъ пальцами расползается... И такіе же будто люди, а будто ихъ обошли, посадили куда-то на задній столъ, и заставили только облизываться, глядя, какъ пиршествуютъ тѣ, кто получше. Но Ольга Семеновна никогда не злобствовала. Правда, пока была молода, порой закипалъ въ душѣ какой-то невольный протестъ, хотѣлось и счастья, и воли; но съ годами и эти рѣдкіе порывы утихли. Въ тяжелыя минуты зайдетъ, бывало, Ольга Семеновна въ церковь да и думаетъ передъ какимъ-нибудь образомъ о своихъ житейскихъ невзгодахъ, стоитъ и думаетъ, потомъ вздохнетъ, проговоритъ: „На все Господня воля!"—и пойдетъ домой, какъ будто примиренная.

Одно, съ годами, яснѣе и яснѣе сознавала Ольга Семеновна, что всѣ, безъ исключенья, и любимые и нелюбимые—должны работать по мѣрѣ силъ—и всѣ должны быть сыты и имѣть свой уголъ, а съ существованіемъ безпріютныхъ, голодныхъ Ольга Семеновна никогда не могла примириться.

Когда уѣхала и вышла замужъ дочь, одиночество стало угнетать Ольгу Семеновну, и ей, какъ никогда въ жизни, захотѣлось привязанности, самой простой, самой несложной. Она всегда любила животныхъ, а тутъ, какъ нарочно, дворничиха подарила ей заблудившагося щеночка изъ породы мопсовъ. Ольга Семе-

новна стала растить его и привязалась страстно къ собачкѣ. Найденышъ (такъ называлась собачка) тоже оказывалъ необыкновенную привязанность вскормившей его хозяйкѣ. Вскорѣ къ Найденышу присоединилась еще сверстница Лисичка, желтая, маленькая дворняжка, съ пушистымъ хвостомъ и острой мордочкой. Лисичку Ольга Семеновна подобрала на улицѣ, съ переломленной ногой, и долгое время Лисичка отличалась необыкновенной дикостью и осторожностью: все дрожала, поджимала хвостъ, ходила какъ-то крадучись вдоль стѣны и при малѣйшемъ шорохѣ вздрагивала, насторживъ уши и приподнявъ одну изъ переднихъ лапъ, останавливалась въ выжидательной позѣ, но, убѣдившись въ полной своей безопасности, продолжала ползти, пока не достигала дивана, подъ который забивалась и откуда вытащить ее было довольно трудно. Оттуда сверкали только два черныхъ глаза, да слышалось робкое ворчанье. Однако, въ концѣ-концовъ, недовѣріе къ людямъ и разочарованность Лисички были побѣждены, нога залѣчена, и Лисичка преобразилась въ очень рѣзвую и добродушную собаку. Узнавъ о страсти Ольги Семеновны, Вельегорская подарила старухѣ своего надоѣвшаго ей шпица. Появленіе этой царственной собаки было цѣлымъ событіемъ въ убогой комнаткѣ Ольги Семеновны. Найденышъ и Лисичка со злыми мордами набросились на дерзкаго пришельца, готовые, казалось, растерзать его на части. Шпицъ стоялъ, какъ вкопанный, на своихъ тоненькихъ ножкахъ и, горделиво приподнявъ острую мордочку, точно съ презрѣньемъ огрызался на отчаянный лай своихъ враговъ. Изящная ли фигура

шпица, или сознаніе своей силы, а его безпомощности, повліяли въ данномъ случаѣ (кто знаетъ психологію собачьей души?),—однако жъ Найденышъ и Лисичка, попрежнему лая, стали пятиться назадъ, усѣлись подъ стулья и, точно сконфуженные, выставивъ оттуда морды, не отрывая глазъ отъ нежданнаго гостя, только слегка, какъ бы пугая, стали ворчать, въ то время какъ ихъ хвосты усиленно колотились объ полъ, выражая даже какъ будто нѣкоторое удовольствіе по поводу новаго знакомства. Шпицъ продолжалъ стоять, попрежнему какъ вкопанный, пока Ольга Семеновна не взяла его на руки. Съ той поры шпицъ занялъ первенствующее мѣсто въ домѣ. Онъ преспокойно вскакивалъ на колѣни къ Ольгѣ Семеновнѣ и, свернувшись колечкомъ, безцеремонно подталкивалъ своей узкой мордочкой подъ руку, выпрашивая ласки, въ то время какъ Найденышъ и Лисичка, скромно улегшись на полу, на подолѣ платья старухи, смотрѣли добрыми, но завистливыми глазами на счастливца.

— Вотъ вѣдь и въ собачьей жизни, есть любимые и нелюбимые,—философствовала иногда Ольга Семеновна, гладя мягкую шелковую шерсть шпица, и, поймавъ иногда себя на лишнемъ кусочкѣ сахара, перепавшаго на долю фаворита, сейчасъ же принималась просить прощенія у Найденыша и Лисички.

— Простите, милые, — сконфуженно говорила она,—и вы... и вы любимые. Ну, что сахаръ! вѣдь сыты? А главное, чтобы люди и скоты были всѣ, всѣ сыты!

Все время великаго поста и лѣта, вплоть до начала сезона, Ольга Семеновна занималась руко

дѣльемъ—вязала самыхъ затѣйливыхъ узоровъ прошивки и, проводя цѣлые дни за работой, бесѣдовала съ своими друзьями, какъ называла она собакъ.

— Такъ, такъ, такъ, милые вы мои... вотъ эту петельку мы туда перекинемъ, и выйдетъ удивительно замысловатый узоръ, а?.. Какъ вы думаете?— взглядывала она поверхъ очковъ на собакъ.

Найденышъ и Лисичка стукали по полу въ знакъ отвѣта хвостами, а шпицъ, вытянувъ морду, норовилъ лизнуть, прямо въ губы, углубленную въ соображенія насчетъ замысловатаго узора хозяйку.

— Такъ, такъ, такъ... — продолжала задумчиво Ольга Семеновна, перекидывая петлю, — прошивка выйдетъ у-ди-ви-тельная... Мы ее выгодно продадимъ, да внукамъ на молочишко и пошлемъ... И вамъ перепадетъ... пе-ре-падетъ...

А хвосты усиленно стучали по полу, въ знакъ сочувствія и согласія...

— — —

Иногда заходила къ Ольгѣ Семеновнѣ дворничиха, Анна Васильевна, рябая, толстая баба, прислуживавшая старухѣ, главнымъ образомъ, въ качествѣ кухарки. Обѣдъ готовился въ дворницкой, такъ какъ при квартирѣ кухни не было. Придетъ Анна Васильевна, сядетъ передъ Ольгой Семеновной, подопретъ рукой щеку, и, пытливо поглядывая крошечными, совсѣмъ безъ рѣсницъ, сѣрыми глазками, затянетъ протяжнымъ, гнусавымъ голосомъ, точно причитая:

— Ужъ какъ мнѣ тебя жалко... ужъ какъ мнѣ тебя жалко... я и сказать не могу.

Глубоко задумалась Ольга Семеновна, и когда вошла къ ней въ комнату Анна Васильевна, неся въ рукахъ небольшой котелокъ съ супомъ, она застала старуху сидящей неподвижно у окна, съ письмомъ на колѣняхъ и съ застывшимъ выраженіемъ на блѣдномъ лицѣ.

— Что это, мать моя, съ тобой? — вскрикнула Анна Васильевна. — Аль померъ кто у дочки?

— Ничего, ничего, Анна Васильевна, я не совсѣмъ здорова.

— Ишь ты! должно, простуду схватила... Ну васъ лѣшіе!—крикнула она на проголодавшихся собакъ, съ визгомъ скакавшихъ возлѣ нея. — Съ ногъ сбили, окаянные... Только бы жрать!.. Второго нонѣ нѣту: поздно провизію ты принесла, — заявила она Ольгѣ Семеновнѣ. — Ужо вечеромъ зайду, можетъ, натереть спиртомъ надо.

— Хорошо. Ступай себѣ, Анна Васильевна... Ну, милые мои, что же мы теперь будемъ дѣлать?—обратилась, по привычкѣ, къ собакамъ Ольга Семеновна, накрошивъ имъ въ лоханку мяса и поливъ его супомъ.—Что же мы будемъ дѣлать? Вотъ десять рублей, что намъ дала Вельегорская, пошлемъ завтра внучишкамъ на молочишко, останется у насъ двадцать четыре рубля съ копѣйками, и впереди... ничего!

Найденышъ и Лисичка, прижавши уши, съ сосредоточеннымъ видомъ, жадно лакали изъ лоханки, а Шпицъ лежалъ въ сторонѣ, на полу, съ выраженіемъ полнаго равнодушія, чуть не презрѣнія къ ѣдѣ. Видя, что на него не обращаютъ вниманія, онъ подошелъ и ткнулъ морду въ колѣни Ольгѣ Семеновнѣ. Какъ ей

ни было горько, но она засмѣялась и стала кормить его изъ рукъ.

Дни шли за днями, томительные, черные дни. И стала Ольга Семеновна усиленно вязать свои прошивки, несмотря на нестерпимый ломъ въ рукахъ, и стала ждать пособія отъ «Общества артистовъ», да строить планы поступить куда-нибудь въ другой театръ.

Такъ прошелъ постъ. Передъ Пасхой явился къ ней высокій бритый господинъ, съ длинными, зачесанными назадъ черными волосами и въ пенснэ на горбатомъ носу. Онъ рекомендовалъ себя агентомъ «Общества артистовъ» и заявилъ, что ему поручено навести справки. Онъ закидывалъ вопросами струсившую донельзя Ольгу Семеновну, волновался, возмущался, ерошилъ волосы.

— Нѣтъ, это возмутительно, возмутительно! — кричалъ онъ. — У меня ужъ написано предложеніе основать фондъ для пенсіоннаго капитала... Вѣдь только императорскіе получаютъ, а получать должны всѣ, всѣ!.. Вы прослужили сорокъ лѣтъ, и вы на улицѣ... Нѣтъ, это возмутительно!.. Я обязательно вношу предложеніе и буду говорить объ этомъ вопросѣ на съѣздѣ... Вы не повѣрите, какъ меня измучили всѣ эти дѣла!— онъ въ изнеможеніи опустился на стулъ.—Я вѣдь не то, что другіе... Я душу вношу, понимаете ли вы, душу! Я сердцемъ болѣю за дѣла общества... Вы развѣ не слышали моей фамиліи? Я — Перелеткинъ, Перелеткинъ — не знаете?.. Вы развѣ не читали послѣдняго отчета? Тамъ напечатана мнѣ благодарность...

И, вынувъ изъ кармана отчетъ, онъ указалъ на

мѣсто, гдѣ было напечатано, что общее собраніе постановило выразить благодарность дѣйствительному члену общества И. И. Перелеткину за то, что по его ходатайству владѣлецъ обойной фабрики Вершининъ согласился скидывать покупающимъ у него обои членамъ общества по два процента.

— Вѣдь вы понимаете,—кипятился Перелеткинъ,—вѣдь если бы каждый вносилъ, какъ я, свою душу въ это дѣло, что бы тогда было? Міръ можно завоевать!.. Вы скажете: скидка съ обоевъ — пустяки. Нѣтъ-съ, не пустяки!... У меня знакомый фабрикантъ—я сейчасъ же и утилизирую его для общества... Вамъ не нужны обои, мнѣ не нужны, а другому нужны: онъ хочетъ оклеить свою квартиру—вотъ и пожалуйте къ Вершинину, вотъ-съ вамъ и скидка... А нынче я выхлопоталъ у торговца желѣзнымъ товаромъ... такую же скидку. Ну, кто-нибудь изъ членовъ общества (между ними есть люди вѣдь и состоятельные), хозяйственный человѣкъ, вздумаетъ домъ строить—опять: пожалуйте!.. Такъ нѣтъ-съ, изволите видѣть, нынче благодарности изъявить не пожелали,—желчно замѣтилъ Перелеткинъ,—нашли, что это совершенно безполезное пріобрѣтеніе, поэтому отклонили. Пусть безполезное,—загорячился онъ снова,—но я старался, этимъ, наконецъ, создавалъ популярность тому же обществу и если я желаю, чтобъ объ этомъ было напечатано,—это вполнѣ понятно. Меня, видите ли, кто-то упрекнулъ въ мелочномъ тщеславіи... Такъ это не мелочное, нѣтъ-съ!.. Разъ я работаю, не покладая рукъ, на пользу общества, я желаю, чтобы члены объ этомъ знали... А подъ сурдинку, для собственнаго самоусла-

женія, я думаю, работать никому не сладко... Я душу вкладываю сюда, сердце, и желаю, чтобъ объ этомъ знали всѣ... да-съ!... Вы членъ общества?

— Н-нѣтъ,—робко отвѣтила Ольга Семеновна.

— Ахъ, это возмутительно, это воз-му-ти-тельно!.. И вотъ всегда такъ, всегда! Пришла нужда, сейчасъ къ обществу—помогите!.. А членами быть не желаютъ!..

— Да я не рѣшилась бы обратиться за помощью,— смущенно оправдывалась Ольга Семеновна.—Мнѣ посовѣтовали...

— Нѣтъ, я не про то... Мы поможемъ, мы непремѣнно поможемъ. Я вижу ваше положеніе, вникаю и возмущаюсь, но это—не вы однѣ, а всѣ... большинство... ни малѣйшаго интереса къ общему дѣлу, ни малѣйшей солидарности... Я объ этомъ непремѣнно буду говорить на съѣздѣ.

— Взносъ большой... я бы и рада... да мнѣ шесть рублей внести трудно, когда я и всѣхъ-то двадцать пять получала.

У Ольги Семеновны, при всей ея кротости, начинало закипать злобное чувство противъ дѣятельнаго агента.

— Пусть обложили бы по размѣру жалованья: кто получаетъ тысячи—пускай платитъ больше, а съ насъ грошевиковъ и взять нечего; мнѣ каждый рубль не знаю какъ дорогъ!

— Великолѣпная идея!—вскочилъ съ мѣста Перелеткинъ.—Я войду съ этимъ предложеньемъ въ комитетъ и буду объ этомъ говорить на общемъ собраніи, да даже на съѣздѣ... Идея богатѣйшая! Нѣчто въ родѣ общаго подоходнаго налога... Но вы не бойтесь! Я не

присвою единолично себѣ вашу идею, я упомяну обязательно вашу фамилію, я укажу, что натолкнули меня на эту мысль вы во время моего къ вамъ визита, по порученію общества... но разработаю, конечно, все это въ болѣе широкомъ планѣ.

Когда ушелъ энергичный Перелеткинъ. Ольгѣ Семеновнѣ захотѣлось бросить ему что-нибудь въ спину, напустить на него собакъ, чтобъ онѣ схватили его за икры, закричать, что онъ ее измучилъ и лучше бы не приходилъ вовсе.

Но черезъ два дня онъ явился опять, на этотъ разъ на очень короткое время. Онъ торопился на общее собраніе общества драматическихъ писателей. Онъ написалъ два водевиля и одно либретто къ балету, что, по его мнѣнію, давало ему право считать себя виднымъ драматическимъ писателемъ.

— Вы знаете, конечно, мои водевили,—спросилъ Перелеткинъ Ольгу Семеновну, и несказанно обрадовался, когда та объявила ему, что играла въ одномъ иаъ нихъ небольшую роль старухи.

— А, вотъ какъ!.. Ну, отлично... А относительно того, что мы говорили—будьте покойны: я увѣренъ, что мой проектъ о пенсіяхъ будетъ принятъ и утвержденъ въ самомъ непродолжительномъ времени, а вопросъ о подоходнымъ налогѣ въ пользу общества будетъ поднятъ. Успокойтесь, милѣйшая, мы еще выхлопочемъ вамъ пенсію. Если понадобится мой адресъ—вотъ онъ,—Перелеткинъ бросилъ на столъ свою визитную карточку.—А теперь я тороплюсь... Что дѣлается у насъ въ обществѣ драматическихъ писателей, вы не повѣрите, просто возмутительно!

Привезенныя имъ деньги точно жгли руки Ольги Семеновны. Ни разу еще въ жизни не получала она милостыни, хотя бы даже въ благородной формѣ общественной благотворительности. Она заплакала.

— Пойду завтра искать мѣста. Неужто такъ ужъ свѣтъ клиномъ сошелся? Не можетъ быть, авось что-нибудь и выйдетъ... Богъ не безъ милости...

На другой день, принарядившись въ свое единственное приличное черное платье, Ольга Семеновна отправилась попытать счастье къ одному изъ антрепренеровъ небольшого частнаго театра.

Ее приняли не особенно вѣжливо. Дома антрепренера не оказалось, пришлось отправиться въ театръ. Къ самому *директору*, какъ громко величали его служащіе при театрѣ, не допустили, сказали: очень занятъ съ авторомъ новой пьесы. Пришлось обратиться къ режиссеру, хотя тоже занятому переговорами съ машинистомъ, но отвѣтившему скоро и рѣзко: «Сейчасъ!» — когда измызганный мальчишка, впустившій Ольгу Семеновну на сцену, доложилъ о ея присутствіи.

— Вамъ что?—обратился къ ней сердитымъ голосомъ долговязый, съ желчнымъ лицомъ, господинъ.

— Я бы хотѣла...

— Пожалуйте въ контору,—процѣдилъ онъ сквозь зубы и зашагалъ своими длинными ногами, не заботясь о непоспѣвающей за нимъ старухѣ. — Садитесь. Въ чемъ дѣло?—онъ указалъ ей на стулъ, а самъ, усѣвшись къ письменному столу, сталъ чертить на бумагѣ какіе-то рисунки и выводить цифры.—Въ чемъ

дѣло? — отрывисто повторилъ онъ, недовольный молчаньемъ посѣтительницы.

— Скорѣе къ дѣлу. Некогда.

Онъ говорилъ вообще торопливо, лаконически, точно сердясь.

— Я бы хотѣла...

— Ну-съ!

— Я бы хотѣла... мѣста.

Ольга Семеновна почувствовала легкій приступъ удушья.

Режиссеръ осѣдлалъ въ пенснэ свой необычайно длинный носъ и посмотрѣлъ на просительницу сѣрыми глазами.

— У насъ полно, — отвѣтилъ онъ, снова принимаясь за рисунки, и точно сердясь на кого-то. — Да, кромѣ того, не годитесь.

— Но я сорокъ лѣтъ прослужила на сценѣ,—вспыхнувъ, возразила Ольга Семеновна, съ неожиданной для самой себя храбростью, — конечно, я не извѣстность, такъ не всѣмъ же имѣть таланты... да вѣдь и вторыя роли надо же кому-нибудь играть... Не годилась бы, такъ вѣрно сорокъ лѣтъ не продержалась бы.

Режиссеръ улыбнулся кривой усмѣшкой.

— Я въ вашей пригодности не сомнѣваюсь. Намъ, намъ вы не годитесь.

— Это даже обидно. Почему же?

— Шаблонъ уже надоѣлъ, стряхнуть съ себя все надо.

И онъ сдѣлалъ движенье плечами, точно собирался дѣйствительно что-то стряхнуть съ себя.

— Мы предполагаемъ создать театръ совсѣмъ на новыхъ началахъ, — онъ сосредоточенно устремилъ

взглядъ впередъ,—совсѣмъ на новыхъ. Все, что вылилось въ извѣстныя формы,—вонъ, вонъ и вонъ! Надо лѣпить изъ свѣжей глины, фор-мировать. Никакихъ школъ, никакихъ традицій!.. Чтобы ни выучки, ни опыта!.. Юные, молодежь, будутъ играть, какъ на душу положитъ Богъ!.. Талантовъ не нужно... Главное—дисциплина, главное—чтобы слушались хлыста... Оригинально это, странно... Да!.. Зато ново, ново... Вотъ въ чемъ сила!.. Театръ нашъ назывался «Развлеченіе», теперь онъ будетъ—«Возрожденіе».

— Оно и дешевле... безъ выучки, безъ опыта, все молодежь, платить меньше надо... дешевле,—съ нѣкоторой злобой проговорила Ольга Семеновна.

— Да-а и... дешевле!—съ тѣмъ же сосредоточеннымъ видомъ подтвердилъ режиссеръ.

Ощущая всю нелѣпость своего визита и разговора съ этимъ долговязымъ господиномъ, Ольга Семеновна поторопилась уйти, съ намѣреньемъ толкнуться къ другому антрепренеру.

Этотъ принялъ ее самъ.

— И радъ бы, шерочка, да невозможно!—говорилъ онъ, потирая свои маленькія пухлыя ручки и посмѣиваясь не то добродушнымъ, не то злораднымъ смѣхомъ. Хе, хе, хе!..—и вся его шарообразная фигурка заерзала на стулѣ.—Мы люди маленькіе, и доходы наши маленькіе, вы бы къ тѣмъ, кто побольше, кто затѣи затѣиваетъ разныя,—и онъ назвалъ театръ, гдѣ только-что была Ольга Семеновна.—Все на широкую ногу-съ, хе, хе, хе... Затѣи новыя... вы бы туда-съ... а мы люди маленькіе, мы больше насчетъ того, чтобы повеселить публику-съ... Хе, хе, хе...

да-съ, по-просту-съ, по старинѣ-съ... Не, доросли умишкомъ до переворотовъ-то... Хе, хе, хе... да-съ... Намъ бы этакъ тру-ля-ля... повеселить публику... Мы и довольны!

— Да мнѣ все равно,—сурово отвѣтила Ольга Семеновна,—вѣдь кто-нибудь играетъ же у васъ старухъ? Мнѣ вѣдь не главныя роли и жалованье самое ничтожное.

— Ничего, шерочка, сдѣлать нельзя... и радъ бы, да нельзя! Семейство у меня—жена... когда что нужно, подыграетъ; любительницу еще я одну тутъ приспособилъ—толковая... Хе, хе, хе! Труппочку стараюсь подешевле, да поменьше: пригласишь эдакъ какую-нибудь звѣздочку или тузика, не изъ козырныхъ, чтобы украсить труппочку,—ну, и баста, довольно... Хе, хе, хе! А остальное сойдетъ... хе, хе, хе... Кабы вы, шерочка, помоложе были,—онъ захихикалъ и даже почему-то вздохнулъ при этомъ,—пожалуй, мы столковались бы, молоденькая въ труппочкѣ никогда не лишняя... Хи, хи, хи!.. А то вы устарѣли, очень даже устарѣли-съ... Вамъ бы, шерочка, на покой отдохнуть уже пора... Хе, хе, хе!

— И отдыхала бы, кабы ѣсть не хотѣлось... Не умирать же мнѣ съ голоду.

Ольга Семеновна поспѣшно поднялась съ мѣста, стараясь сдержать подступившія къ горлу слезы.

— А вы бы въ общество,—участливо затараторилъ толстякъ,—въ наше «Общество артистовъ», учрежденіе прекрасное... вы бы туда. Тамъ богадѣленка, и помощь оказываютъ.

— Я обращалась,—помощь получила.

— Всѣ рессурсы, значитъ, испробовали, хе, хе, хе. Что дѣлать, щерочка, и радъ бы, да нельзя!

Онъ предупредительно довелъ старуху до дверей.

— Вотъ что, милые мои,—жаловалась собакамъ, вечеромъ, Ольга Семеновна,—и состариться-то нельзя коли ты изъ нелюбимыхъ... И нѣтъ тебѣ никакого пріюта, и никому-то дѣла до тебя нѣтъ!

Собаки, словно всѣми силами стараясь утѣшить ее, толкали другъ друга, чтобы взобраться на колѣни и лизнуть ее прямо въ губы. Онѣ визжали, вертѣли хвостами, лаяди отрывистымъ, веселымъ лаемъ. Не обошлось безъ приключеній: шпицъ, какъ самый нетерпѣливый, наконецъ, не выдержалъ, огрызнувшись на Найденыша и куснувъ слегка Лисичку, побѣдоносно вскочилъ на колѣни къ старухѣ и, положивъ ей на плечи свои переднія лапы, сталъ безцеремонно лизать ея лицо. Найденышъ и Лисичка не столько отъ боли, сколько отъ обиды или изъ желанія возбудить къ себѣ жалость, завизжали благимъ матомъ и забились подъ стулъ, продолжая и тамъ жалобно взвизгивать.

— Ишь,— засмѣялась Ольга Семеновна,—зубастымъ-то и въ собачьемъ царствѣ лучше... Пошелъ ты, противный!—чуть ли не въ первый разъ прогнала она съ колѣнъ шпица и, взявъ на руки все еще взвизгивающихъ Найденыша и Лисичку, стала ихъ успокаивать, приговаривая:

— Обидѣли бѣдныхъ, обидѣли!.. Вотъ мы ему зададимъ поганому, эгоистъ противный!—грозилась она на шпица.

Собаки то подвывали ей въ тонъ, то храбро лаяли на виновника происшествія; а тотъ улегся въ отдаленіи, какъ бы непричастный ко всей этой сценѣ, и только взглядывалъ укоризненно, даже сердито, на Ольгу Семеновну.

— Такъ-то, мои дружочки, такъ-то мои ненаглядные, — ласкала она собакъ.—Никому-то, кромѣ васъ, до меня дѣла нѣтъ. Состарилась старуха, чего землю топтать, взять бы, привязать ей камень на шею— да въ воду. Кому рухлядь старая нужна!.. А вамъ жалко было бы? Вѣдь жалко, да?

Найденышъ и Лисичка неизвѣстно почему вдругъ, какъ по командѣ, сорвались съ колѣнъ и бросились къ шпицу. Поднялась грызня.

— Цыцъ!—кричала Ольга Семеновна, стараясь заглушить своимъ голосомъ визгъ и лай, наполнявшій комнату. Она едва разняла собакъ, пустивъ въ ходъ на этотъ разъ даже плетку и растащивъ ихъ, всѣхъ трехъ, въ разные углы.

— Какъ вамъ не стыдно?—укоряла она ихъ, принимаясь за вязанье.—И безъ того тошнехонько, того гляди всѣ съ голоду перемремъ, а вы тутъ драки затѣваете... Вы бы подумали лучше, что дѣлать-то... что дѣлать? Вотъ что, бѣда!.. Одна гибель! Куда кинуться, ужъ и не знаю... «Общество артистовъ»? Такъ вѣдь нельзя же вѣкъ подачками пользоваться... да и много ли? На это не проживешь и... непріятно,— точно милостыня... Кабы, какъ тотъ господинъ говорилъ, всѣмъ бы пенсія полагалась, хоть самая маленькая, чтобы только прожить до могилы, тогда другое дѣло, будто не милостыня, а ужъ, по положенію,

свое заслуженное... Съ вязанья тоже прожить трудно... Опять на матерьялъ деньги нужны, да и рукой плохо владѣть стала... Страшно!

Ольга Семеновна даже закрыла глаза, пугаясь призрака грозящей нищеты.

Прошла Пасха, наступило лѣто. Деньги были ужъ совсѣмъ на исходѣ. Заложила Ольга Семеновна свою шубку, нарядное платье, и стала проѣдать и эти деньги. Супъ теперь варился изъ фунта мяса съ крупой, на три дня, и этимъ довольствовались и барыня, и собаки, подкрѣпляя себя преимущественно хлѣбомъ.

— Нечего, нечего, — стыдила Ольга Семеновна шпица, продолжавшаго всегда продѣлывать прежнія штуки передъ ѣдой,—не разсчитывай теперь на сухари, поѣшь и черненькаго хлѣбца.

— Ужъ какъ мнѣ тебя жалко, какъ мнѣ тебя жалко!—почти каждый день причитывала Анна Васильевна.—Шла бы ты куда въ богадѣльню, что ли, по крайности сыта будешь.

Стала и сама Ольга Семеновна подумывать о богадѣльнѣ.

— Ну, проѣмъ шубку и платье—больше и вещей цѣнныхъ нѣтъ. Что тогда?... За всю-то мою рухлядь и тряпье дай Богъ рублей тридцать выручить—и больше никакихъ рессурсовъ... Пойти къ этому оглашенному, что ли?—вспомнила она о Перелеткинѣ.—Пусть хоть совѣтъ какой дастъ... Звѣрье вотъ свое жалко, кому они нужны, кому дороги?... И не покормитъ никто.

Поплелась Ольга Семеновна къ Перелеткину. Тотъ принялъ ее очень любезно, обѣщалъ посодѣйствовать, не преминувъ и въ данномъ случаѣ напомнить Ольгѣ Семеновнѣ, что онъ душу и сердце свое вкладываетъ въ дѣла неблагодарнаго, по отношенію къ нему, общества.

Опять потянулись безконечные дни томительнаго ожиданья. И когда Ольга Семеновна снова навѣдалась къ Перелеткину, она застала его въ страшно раздраженномъ состояніи.

— Ваше дѣло не выгорѣло,—озадачилъ онъ сразу:— кровати всѣ заполнены, да кромѣ того, кандидатками человѣкъ десять записаны, и все заслуженныя, извѣстныя артистки. Вамъ, голубушка, на это дѣло плюнуть надо. Подавайте опять просьбу о пособіи. Но каковъ комитетъ?.. Каковъ ареопагъ? —онъ кому-то погрозилъ даже въ воздухѣ.—Что они дѣлаютъ, что они только дѣлаютъ?.. Возмутительно!.. Мой проектъ о пенсіяхъ нашли неудовлетворительнымъ,—слыхали вы это? Неудовлетворительнымъ. А?.. Каково? Да у нихъ у всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ меньше ума въ головахъ, чѣмъ у меня въ мизинцѣ... Но я имъ покажу, я имъ покажу! На весь свѣтъ ославлю, все выведу на чистую воду, весь этотъ ареопагъ... Возмутительно!... Я имъ душу, я имъ свое сердце отдавалъ. Цѣнить не умѣли! Теперь, голубчики, посмотримъ, чья возьметъ... На съѣздѣ буду говорить, весь умъ свой напрягу, силъ не пожалѣю, но только попомнятъ они меня... по-о-помнятъ!..

— Но какъ же это,—обратилась къ Перелеткину, подавленная своими мыслями, старуха:—вы говорите,

«извѣстныя» записаны, а какъ же неизвѣстнымъ, которыя маленькія роли играли? Тѣмъ ужъ и стариться нельзя, что ли? Такъ какъ же—съ голоду, что ли, помирать мнѣ?

— Ужъ не знаю-съ, ничего не знаю-съ, я самъ теперь разстроенъ,—горячился Перелеткинъ,—но я имъ покажу, я имъ покажу, какъ слѣдуетъ цѣнить дѣятельныхъ людей, имъ душу, имъ сердце отдающихъ!..

Такъ и ушла Ольга Семеновна, не добившись толку отъ влюбленнаго въ себя общественнаго дѣятеля, кѣмъ-то не оцѣненнаго и на кого-то или на что-то негодующаго

* * * * * *

Никогда еще старуха не боялась такъ письма отъ дочери, какъ въ эти мучительно-однообразные, зловѣщіе дни.

По счастью, письма были болѣе или менѣе утѣшительнаго свойства.

«Сезономъ мы своимъ, въ Челябинскѣ, очень довольны,—писала дочь,—хотя играли въ циркѣ и крысы бѣгали по сценѣ съ котятъ величиной. Играли у насъ гастролеры, и надо мнѣ было для Реганы платье шить. Мужъ сказалъ: постарайся, гастролеры могутъ насъ рекомендовать куда-нибудь. Плюшъ былъ у меня еще на Ирбитской купленъ—семь аршинъ, къ нему шлейфъ изъ азіатской матеріи сдѣлала, по 40 коп. аршинъ, положила на толстую бумазею, чтобы крѣпче стоялъ, и все-таки платье обошлось въ 40 руб. Очень экономно мы жили, хотя мужъ сердился, скаредой называлъ. Онъ всегда такъ: есть деньги—всѣ спустить го-

товъ, а потомъ начнетъ всѣхъ проклинать: и меня и дѣтей. Все-таки скопила къ концу сезона полтораста рублей. Ни за что не хотѣла тратить, только дѣтямъ, къ зимѣ, теплое сшила,—здѣсь дешево, можно. Ужъ такъ мнѣ хотѣлось приберечь деньги, да не пришлось. Мужъ купилъ себѣ по случаю шинель, цилиндръ, кольцо съ хризолитомъ, говоритъ: въ посту, если въ Москву ѣхать, нужно быть прилично одѣтымъ, а деньги все равно выйдутъ. Мнѣ велѣлъ тоже «для жизни» черное платье себѣ сшить съ голубой газовой вставкой, на случай, если въ Москву и мнѣ можно будетъ съѣздить, а то неизвѣстно, что зимній сезонъ скажетъ, быть-можетъ, не изъ чего будетъ платье сшить. Что-жъ, это правда! Платье вышло хорошенькое, но я такъ изголодалась и измучилась и такъ боюсь, каковъ зимній сезонъ будетъ, что и платье не веселитъ».

О своемъ положеніи и даже о своей отставкѣ Ольга Семеновна ничего не писала дочери, все надѣясь какъ-нибудь устроить свои дѣла, просила только адресовать письма прямо на квартиру, объясняя это тѣмъ, что въ театрѣ де письма часто пропадаютъ.

Начались холода, и Ольга Семеновна никуда почти не выходила. Однако, въ одинъ прекрасный день набралась она храбрости и позвонила у дверей квартиры Вельегорской. Дверь оказалась, впрочемъ, незапертой, и когда вошла Ольга Семеновна, она услыхала изъ сосѣдней комнаты неистовые вопли и крики:

— Подлецъ, подлецъ! — какъ зарѣзанная, кричала Вельегорская.—Вы думали на шеромышку... вы думали моими боками карьеру себѣ сдѣлать, а жениться на мнѣ ниже вашего достоинства?.. Скажите, какой

принцъ!.. Ничего я для васъ не сдѣлаю! Для мужа — все!.. А у любовника другое положеніе... Пусть ужъ любовникъ мнѣ угождаетъ, я угождать ему не стану... нѣтъ!.. Господи!.. Господи!.. Господи!.. — крикъ перешелъ въ плачъ.—Я такъ его любила, а онъ подлецъ такой же, какъ и всѣ!

Ольга Семеновна двинула стуломъ въ передней, чтобы предупредить о своемъ присутствіи.

— Кто тамъ?

Въ дверяхъ показалась Вельегорская, раскраснѣвшаяся, растрепанная, съ заплаканными глазами.

— А, это вы... Вы бы въ другой разъ, теперь я не могу, — проговорила она раздражительно.

Ольга Семеновна протянула пакетъ съ кружевами.

— Вотъ вы заплатили тогда... я связала, — тутъ ровно на десять рублей.

— Ахъ, зачѣмъ это, зачѣмъ? — нехотя взяла пакетъ Вельегорская. — Я вѣдь вамъ такъ... но теперь не могу ничего...

— Мнѣ и не нужно. Прощайте.

— Постойте, — капризнымъ тономъ остановила ее Вельегорская, — пойдемъ ко мнѣ, въ будуаръ.

— Каковъ мозглякъ!—волновалась она, прохаживаясь взадъ и впередъ передъ Ольгой Семеновной по своей вѣчно неубранной спальнѣ. — Тля какая-то бѣлобрысая!.. Не знаю, чѣмъ онъ плѣнилъ меня... Чѣмъ?.. Ахъ, дуры мы, дуры, дуры — вотъ что!

Она завалилась на кровать, и все ея полное тѣло забилось отъ судорожныхъ рыданій.

То обращаясь въ мстительную богиню, то изливаясь въ жалобахъ на ничтожество мужского пола, долго

еще не отпускала отъ себя Вельегорская Ольгу Семеновну. А на другой день старуха получила отъ нея пакетъ съ десятью рублями и съ запиской, что деньги эти собраны ею по подпискѣ между товарищами.

Съ болью въ сердцѣ приняла Ольга Семеновна присланныя деньги.

— Вотъ и до форменной милостыни добралась!

А письма изъ города, гдѣ находилась теперь дочь, начали принимать зловѣщій характеръ.

Вотъ что писалось въ послѣднемъ изъ нихъ:

«Не даромъ я боялась зимы, не даромъ не тѣшило меня новое платье! Вотъ ужъ три мѣсяца, какъ мы здѣсь. Дѣла очень плохи. Распорядитель товарищества у насъ—женщина старая, толстая, и всѣ главныя роли играетъ. Оттого дѣла и плохи, а сказать ей нельзя: у нея библіотека и костюмы, которые она даетъ товариществу за очень скромную цѣну, и мы всѣ у нея поэтому въ рукахъ. Живемъ впроголодь, питаемся картофелемъ и селедкой, дѣтямъ, впрочемъ, молока немного покупаю. Мужъ цѣлыми днями сидитъ у распорядительницы, — кто говоритъ связался съ ней, но я не хочу такъ дурно думать о немъ. Просто, ѣстъ она все-таки лучше нашего, за библіотеку и костюмы получаетъ изъ сборовъ, да и свои деньжонки есть, обѣдаетъ каждый день по два, а то и по три блюда и его покормитъ. Я за него рада. А все-таки скучно, дорогая мамаша. Если бы было полное согласіе, и всякую нужду, кажется, легче перенести можно. Даже иногда вольныя мысли стали въ голову являться. Инженеру одному я въ Челябинскѣ нравилась,—такъ теперь досадно иногда, въ горькую минуту, дѣлается, зачѣмъ

я избѣгала его, все-таки, можетъ-быть, немножко душой отдохнула бы. Дамы здѣсь совсѣмъ шальныя — такъ на актеровъ и бросаются. Мой получаетъ записокъ видимо-невидимо, а по вечерамъ, часовъ въ семь, когда нѣтъ спектакля, прифрантится и отправляется съ гимназистками по главной улицѣ гулять. Актеръ — говоритъ — долженъ испытывать ощущенія, не сидѣть же мнѣ около твоей юбки. Цѣлыя ночи напролетъ съ купцами пьянствуетъ, и сказать ничего нельзя, — ругается нехорошими словами. Вы бы не узнали его теперь, мамаша. Какой онъ хорошенькій былъ, когда изъ школы вышелъ и на мнѣ женился, и скромный такой былъ; теперь растолстѣлъ, лицо раздулось и взглядъ даже измѣнился, совсѣмъ ужъ не такой взглядъ!. Скучно, мамаша, скучно!..»

А Ольгѣ Семеновнѣ было ужъ не скучно, а страшно. Особенно были страшны ей длинные зимніе вечера, когда, боясь истратить лишнюю копѣйку, она не зажигала огня и ложилась въ темнотѣ на свою кровать.

— Вотъ она нищета, вотъ она!.. Холодно, а то бы вышла на улицу... Тамъ свѣтло, люди ходятъ, магазины торгуютъ, извозчики ѣздятъ... Да безъ шубы холодно...

И лежитъ старуха, лежитъ, лежитъ не смыкая глазъ, пока свѣтъ забрезжится. День насталъ. Принесетъ ли онъ что-нибудь новое, отрадное?.. Но откуда?.. Отъ кого?.. А все-таки, какъ будто бодрѣе почувствуетъ себя Ольга Семеновна, начнетъ въ комнатѣ прибирать, а тамъ и Анна Васильевна съ супомъ явится... хотя супъ теперь варился ужъ безъ мяса, изъ одной овсяной крупы, а все-таки «горяченькій»...

И Ольга Семеновна съ большой радостью ожидала его появленія на столѣ. Только Анна Васильевна глядѣла теперь сурово. Ей за три мѣсяца не платили за ея услуги. Раза два она такъ пхнула ногой Найденыша, что тотъ визжалъ послѣ того, безъ отдыха, минутъ десять. Но Ольга Семеновна ничего не посмѣла сказать. Она чувствовала себя глубоко виноватой и передъ Анной Васильевной, и передъ всѣми, во всемъ виноватой, и въ томъ, что, умирая съ голоду, еще держитъ и кормитъ трехъ собакъ, и въ томъ даже, что существуетъ сама.

Искала бы ты себѣ другую квартиру, что ли,—заявила ей однажды Анна Васильевна, — хозяинъ мужу выговаривалъ,—очень опасается, что ненадежна ты, и держать не хочетъ.

— Господи, сколько лѣтъ живу и довѣрія себѣ не заслужила! Вотъ устроятся дѣла, тогда...—конфузясь, какъ виноватая, оправдывалась Ольга Семеновна, сознавая, въ глубинѣ души, что ужъ дѣламъ ея устроиться не суждено.

И собаки не веселили ее. Глядя, какъ онѣ, исхудалыя, съ подтянутыми боками, уныло лакали горячую воду, съ небольшимъ количествомъ крупы, она чувствовала себя и передъ ними безмѣрно виноватой. А отдать ихъ было некому, прогнать—жалко. И ласкались-то онѣ теперь совсѣмъ иначе, какъ бы тоже извиняясь, смотря печальными глазами и вяло, по привычкѣ только, помахивая хвостами.

Пришло время еще болѣе тяжелое. Обострившійся

ревматизмъ уложилъ въ постель Ольгу Семеновну, и провалялась она, такимъ образомъ, недѣли двѣ. Анна Васильевна, хотя продолжала глядѣть сердито, однако приходила каждый день натирать старуху муравьинымъ спиртомъ и на свой счетъ поила ее молокомъ.

— Собакамъ бы чего-нибудь, — слабымъ голосомъ напоминала Ольга Семеновна.

— Кормила твоихъ идоловъ... Ну, ихъ, лѣшихъ, въ болото!

И замолкала старуха, не желая еще больше сердить Анну Васильевну, единственнаго человѣка, которому было дѣло до нея.

Поднявшись на заднія лапы, переднія положивъ на кровать, грустными глазами глядѣли на больную Найденышъ и Лисичка, покорно ожидая отъ нея какого-нибудь привѣтствія, и нахохлившись вскакивалъ на постель грязный, заброшенный теперь шпицъ, долго кружился, утаптывая тюфякъ, пока не устраивалъ себѣ ямку, чтобы удобнѣе заснуть.

Все точно опустилось и потускнѣло вокругъ Ольги Семеновны.

Когда она оправилась, миновали и холода,—въ легкомъ осеннемъ пальтишкѣ могла она бродить по улицамъ, не ощущая стужи. Дома сидѣть было невыносимо. Боясь встрѣтить кого-нибудь изъ прежнихъ сослуживцевъ, забиралась она въ самые отдаленные переулки и тамъ ходила до изнеможенія, только бы подольше не возвращаться домой. Дома понуро встрѣчали ее голодныя собаки и непривѣтливо глядѣли холодныя, темныя стѣны убогаго нетопленнаго жилья. А когда ложилась она спать, три пары черныхъ со-

бачьихъ глазъ таинственно и зловѣще сверкали въ темнотѣ.

Чтобы не безпокоить лишній разъ Анну Васильевну, старуха лишила себя «горяченькаго». Она покупала полфунта хлѣба, полбутылки снятого молока и дѣлила съ собаками эту скудную трапезу, разбавляя для нихъ молоко холодной водой. Иногда столъ разнообразился прибавкой требушины или печенки съ кусочкомъ студня, купленными на лоткахъ.

Чтобы добыть средства на свой нищенскій обѣдъ, она продавала на «толкучемъ» кое-что изъ бѣлья и разные жалкіе остатки своего далеко не богатаго гардероба, чѣмъ возбудила даже подозрѣніе одной изъ торговокъ.

— Да ты, милая, можетъ, что краденое продаешь, по-одиночкѣ таскаешь?.. Намъ вѣдь строго по этой части полиція воспрещаетъ.

— Пойди, погляди — у меня своя комната есть, я и вещи тебѣ покажу, — отвѣтила Ольга Семеновна.

За послѣднее время особенно стала она бояться быть изгнанной изъ своего насиженнаго угла. Она вставала чуть свѣтъ, выводила гулять собакъ и возвращалась попозже домой, стараясь не попадаться на глаза Аннѣ Васильевнѣ, чтобы не услышать роковую для себя новость. Она пугалась малѣйшаго шороха, — ей все казалось, что вотъ-вотъ пришли выгонять ее.

На улицѣ она вдругъ испуганно вздрагивала и, озираясь, прижималась къ забору или къ стѣнѣ какого-нибудь зданія, напоминая въ эту минуту загнаннаго, затравленнаго звѣря. Утомленная и чувствуя ломоту въ больныхъ ногахъ, она добиралась до первой ска-

мейки и просиживала на ней по цѣлымъ часамъ, глядя впередъ усталыми глазами... Потомъ поднималась—опять шла, останавливаясь передъ окнами магазиновъ, на перекресткахъ улицъ, точно стараясь что-то уяснить себѣ, что-то припомнить... и опять шла безъ цѣли, безъ желанія итти...

Улицы большого города жили своей своеобразной шумной жизнью. Торопливо бѣжали по тротуару занятые и праздные люди, гремѣли экипажи, зажигались огни, на высокихъ колокольняхъ перезванивали въ колокола. Порой изъ раскрытыхъ дверей какого-нибудь храма доносилось стройное пѣніе, а сгорбленная, старушечья фигурка, съ поникшей головой, плелась себѣ да плелась, ни для кого не интересная, никому не нужная. . . . . .

. . . . . .

«Мамаша, милая мамаша!—въ одинъ изъ свѣтлыхъ дней приближающейся весны читала Ольга Семеновна,—куда дѣться мнѣ? куда кинуться и у кого искать помощи? Какъ пережила я эту проклятую масленицу—одному Богу извѣстно. Еще до масленой началъ онъ приставать ко мнѣ, чтобы я ѣздила ужинать съ нимъ и съ купцами. Со мной однимъ,—говоритъ,—имъ скучно, имъ хочется женскаго общества; ты недурненькая, когда пріодѣнешься; нельзя отъ публики бѣгать, если играешь на сценѣ. Сначала я отказывалась, потомъ согласилась, чтобы ему пріятное сдѣлать и раньше домой увезти. Не тутъ-то было! Продержали они и меня до свѣту и не удалось мнѣ его остановить даже, чтобы не пилъ до такого безобразія. Они и меня хотѣли

напоить, да не удалось, хотя я все-таки опьянѣла, а выпила очень мало. Съ непривычки,—да и вы знаете, мамаша, какъ противны мнѣ пьяные люди,—я расплакалась. Они стали смѣяться, а мужъ больше всѣхъ. И хотя у меня въ головѣ шумѣло немного, но мнѣ было невыносимо обидно, что мужъ такъ безжалостно относится къ моимъ чувствамъ. Ничего, обтерпится!—кричалъ онъ дикимъ голосомъ, а они всѣ поддакивали, смѣялись и подливали мнѣ вина въ стаканъ. Толстый, старый купецъ—здѣшній тузъ—пытался обнять меня и, когда я оттолкнула его, спросилъ у мужа: что это значитъ. Мужъ посмотрѣлъ на меня сердито и отвѣтилъ: ничего, цыплятъ по осени считаютъ. Когда я привезла почти безчувственнаго мужа, на разсвѣтѣ, домой и увидѣла въ зеркалѣ свое раскраснѣвшееся лицо, мнѣ стало такъ больно, такъ стыдно, дорогая мамаша, точно я сдѣлала какое-то гнусное дѣло. На другой день мужъ спросилъ меня: что-жъ, ѣдешь что-ли съ нами сегодня? И когда я отказалась, хлопнулъ дверью, проговоривъ: пеняй потомъ на себя! Всю недѣлю онъ почти не говорилъ со мной, какъ вдругъ (я не знаю, смогу ли описать вамъ все: руки дрожатъ отъ волненья, и слезы застилаютъ глаза), проснулась я ночью отъ страшнаго стука—это онъ вернулся домой, среди ночи, раньше чѣмъ обыкновенно.—Одѣвайся сейчасъ, ѣдемъ!—сказалъ онъ мнѣ.—Куда?—спросила я его, перепуганная до смерти.—Не корчи изъ себя наивности, прибереги для сцены этотъ тонъ. Ты нравишься (онъ мнѣ назвалъ фамилію толстаго купца), и если не будешь дурой, то всѣ наши дѣла устроятся. Не могу вамъ сказать, что со мною сдѣлалось: точно молотомъ

ударило меня по головѣ и искры посыпались изъ глазъ.—Такъ ты хочешь торговать мной?—закричала я внѣ себя,—но этого не будетъ! Ужъ если я по своей волѣ никѣмъ не увлекалась, боясь тебя обидѣть, такъ ужъ какъ вещью я собой распоряжаться не позволю! Я говорила много, много и о своей жизни, и о своихъ мукахъ, сказала и про инженера въ Челябинскѣ. А, такъ ты мнѣ измѣняла ужъ, подлая!—крикнулъ онъ и ударилъ меня по лицу. Что было дальше, я не помню. Произошло что-то страшное... Я плакала, кричала, проснулись дѣти и стали тоже плакать и кричать. А на другой день я едва могла подняться съ постели, чтобъ итти въ спектакль. И мнѣ казалось, что случилось со мной самое страшное, что только можетъ случиться съ человѣкомъ. Мнѣ казалось, что я совсѣмъ, совсѣмъ потерянная, и всѣ видятъ насквозь синяки на моемъ тѣлѣ, полученные отъ побоевъ человѣка, котораго я такъ любила. Но это было только начало. Каждую ночь требовалъ онъ, чтобы я ѣхала къ толстому купцу на свиданіе, и, получая отказъ, билъ меня безъ жалости, издѣваясь и оскорбляя самымъ возмутительнымъ образомъ. Теперь совершилось послѣднее: онъ бросилъ меня, объявивъ, что я ему надоѣла и испортила всю его жизнь. Онъ бросилъ меня послѣ шестилѣтней совмѣстной жизни, больную, голодную, съ двумя дѣтьми на рукахъ, безъ всякихъ средствъ... Онъ забралъ съ собой даже тѣ немногія вещи, которыя я могла бы продать, пока, чтобъ избавить отъ голода дѣтей, если ужъ не себя. Что же мнѣ теперь дѣлать, мамаша? Спасите меня!.. Погибаю».

Какъ громомъ пораженная, сидѣла надъ письмомъ

Ольга Семеновна. Вдругъ она вскочила и стала поспѣшно собираться къ Перелеткину. Зачѣмъ? Она сама не могла ясно дать отчета. Въ головѣ мелькала какая-то мысль, въ сердцѣ—шевелилась смутная надежда.

Перелеткинъ, по обыкновенію, торопился по дѣламъ и былъ ужъ, какъ говорится, на отлетѣ, а потому принялъ старуху въ передней. Онъ даже не далъ ей открыть рта.

— Не могу, не могу! Ничего теперь не могу-съ! Я умываю руки во всемъ... Я самъ уѣзжаю на-дняхъ— хочу быть на общемъ собраніи... Возмутительно!.. Я тамъ всѣмъ черняковъ наложу, въ лучшемъ видѣ... У насъ, какъ мнѣ пишутъ, новая партія зарождается, всѣхъ старыхъ хотятъ провалить... Какъ я буду радъ! Какъ я буду радъ!..

Когда онъ выходилъ уже за площадку лѣстницы, старуха порывисто бросилась къ нему, уцѣпилась за его пальто и, вся дрожащая, заливаясь слезами, проговорила:

— Не мнѣ... не мнѣ... я старая... мнѣ ничего не надо... а дочь у меня... дочь... молодая женщина... погибаетъ...

Перелеткинъ, пошаривъ въ карманѣ, сунулъ ей въ руку рубль и быстрыми шагами повернулъ за уголъ переулка.

Долго стояла еще на улицѣ Ольга Семеновна, долго смотрѣла она въ ту сторону, куда исчезъ Перелеткинъ. Потомъ, точно припомнила что-то, встрепенулась,

сжимая крѣпко въ рукѣ полученный рубль, и опрометью побѣжала на толкучку.

— Послушай,—обратилась она къ торговкѣ, когда-то заподозрившей въ ней воровку,—я всѣ свои вещи, всю комнату продаю; мужъ вѣдь у тебя мебелью старой торгуетъ, вотъ и приходите завтра покупать, и увидишь, какъ я живу...

Торговка согласилась.

— Весь рубль прокучу,—рѣшила Ольга Семеновна.

Она купила водки, сыру, колбасы, мяса и сухарей въ видѣ лакомства для собакъ.

— Анна Васильевна, вотъ вамъ гостинцы я принесла,—объявила она дворничихѣ, входя къ ней съ веселымъ лицомъ и подавая водку, сыръ и колбасу.

— Съ какой такой радости?—подозрительно проговорила Анна Васильевна, протягивая недовѣрчивую руку

— Да ужъ бери, бери! за услугу твою благодарность, а завтра и деньги получишь.

Рябое лицо Анны Васильевны осклабилось.

— Аль въ дѣлахъ поворотъ какой?

— Хорошій поворотъ, хорошій!

— Ой-ли? Ну, вотъ со мной на радости и выпей, что ли... не побрезгуй!

Откупорила Анна Васильевная бутылку и, чокнувшись съ поморщившейся отъ водки старухой, опрокинула рюмку въ свой огромный ротъ.

— Что за радость у тебя, скажи?—проговорила она совсѣмъ уже добродушно.

— Дочка ко мнѣ пріѣзжаетъ.

— Ишь ты-ы!

— Да, со всѣмъ семействомъ.

титъ отшибло,—тихо, словно извиняясь, произнесла Ольга Семеновна.

— Своимъ же добромъ да потчивать велишь?!.. Инъ и впрямь выпей,—полегчаетъ!..

Когда осталась Ольга Семеновна одна, когда, поставивъ на столъ маленькій стаканчикъ толстаго стекла, наполненный водкой, словоохотливая дворничиха въ послѣдній разъ исчезла за порогомъ, оставивъ послѣ себя легкій спиртный запахъ,—старуха почувствовала, что совершилось нѣчто странное и неизбѣжное. Точно сразу оторвало, отрѣзало ее съ ея собаками, привычками, желаніями и думами ото всего остального міра, шумъ котораго, какъ плескъ далекаго моря, слабо достигалъ до ея ушей...

Шумитъ улица, шумитъ народъ.

Съ ненавистью посмотрѣла она на стоящій передъ ней стаканъ водки и, зажмуривъ глаза, выпила залпомъ жгучую жидкость. Потомъ, замкнувъ дверь на ключъ, подошла къ мискѣ съ горячимъ супомъ, откуда аппетитно выглядывалъ большой кусокъ жирнаго мяса.

Не то безумными, не то ироническими глазами смотрѣла она на подымающійся изъ миски паръ и вдыхала въ себя ароматный запахъ горячаго супа.

— Горяченькое.. горяченькое,—посмѣиваясь, тихо прошептала она, и затѣмъ вдругъ, точно подкошенная, свалившись на стулъ, стала плакать.

Она плакала долго, неудержимыми слезами, точно хотѣла изойти вся въ этихъ слезахъ, растопить въ нихъ свое старое изболѣвшее сердце.

Какъ жалкій, одинокій челнокъ, погибала она въ

пучинѣ житейскаго моря, и, кромѣ этихъ безпомощныхъ слезъ, у нея не было другой защиты.

Она не проклинала, не злобствовала, она сознавала себя совсѣмъ безсильной, совсѣмъ несчастной, и покорялась.

Отрывистое тявканье собакъ, ожидающихъ ѣды, заставило ее очнуться.

Она подняла заплаканное лицо, отерла слезы и вынувъ мясо изъ миски, стала рѣзать его мелкими кусками, потомъ сложила мясо въ собачью чашку и, накрошивъ туда же сухарей, залила все это крошево, супомъ.

Собаки нетерпѣливо повизгивали, чуя запахъ мяса.

Чашка стояла на столѣ, а старуха, внимательно сдвинувъ брови, съ необычайнымъ для своего лица суро́вымъ выраженіемъ, все смотрѣла и смотрѣла на приготовленное ея руками кушанье...

Кто-то толкнулъ ее въ колѣно. Это былъ шпицъ, потерявшій терпѣнье.

Порывистымъ движеньемъ схватила она пакетъ, принесенный отъ дворничихи; дрожащими руками быстро высыпала половину изъ него въ чашку и, перемѣшавъ все это, поставила чашку на полъ.

Когда наголодавшіяся собаки жадно прильнули къ ѣдѣ, изъ ея груди вырвался короткій, жалобный крикъ.

Чуть не падая, добралась она до постели. Она положила подушку себѣ на голову и закрылась съ головой ватнымъ одѣяломъ, чтобы не видѣть и не слышать ничего.

Въ ушахъ звенѣло отъ выпитой водки, лихорадочный ознобъ острымъ приступомъ пробѣгалъ по

дрожащему тѣлу, и безумными скачками, какъ бѣшеное, колотилось сердце въ груди.

Но никто не слышалъ этого набата, зовущаго на помощь,—никто, кромѣ самой Ольги Семеновны.

— Молчи! – простонала она, наконецъ.

А оно все колотилось и колотилось о стѣнки старческой груди, точно хотѣло расколоть эту жалкую, измученную грудь.

Ольга Семеновна еще плотнѣе окутала себѣ голову. Дѣйствительность стала мѣшаться съ дикими фантастическими образами, прошедшее—съ настоящимъ.

Безумный ужасъ, безумная жалость и чей-то упорный жесткій голосъ будто твердитъ надъ ухомъ: «Иначе нельзя!.. Иначе нельзя!..»

Ольгѣ Семеновнѣ все это кажется страннымъ, несбыточнымъ кошмаромъ... И кажется ей, что потолокъ надвинулся на нее и придавилъ ее всей своей тяжестью.

... Иначе нельзя!.. Иначе нельзя!.. Иначе нельзя!..— хоромъ уже поютъ незнакомые дикіе голоса и хохочутъ злобнымъ, дерзкимъ смѣхомъ, и воютъ, и плачутъ...

Пронзительный, раздирающій душу вопль огласилъ комнату. Какъ ужаленная, вскочила Ольга Семеновна.

Это шпицъ, несчастный бѣленькій шпицъ, въ ногахъ ея постели, разставался съ своей жизнью,—съ жизнью маленькаго, комнатнаго звѣря, такой ничтожной, такой ненужной и такой дорогой для него самого. Корчась и извиваясь отъ боли, онъ вылъ и оглашалъ комнату стонами, похожими на человѣческіе.. Жалобнымъ воемъ вторили ему Найденышъ и Лисичка.

Ольга Семеновна схватила шпица, прижала его къ

груди. Онъ бился и метался на ея рукахъ. Она гладила его, называя всевозможными ласковыми именами и смачивая слезами его пушистую шерсть...

Со свистомъ вылетало дыханье изъ его маленькой груди... Послышался какой-то трескъ, точно гдѣ-то далеко падало расколовшееся дерево,—то былъ предсмертный хрипъ несчастнаго животнаго.

Ольга Семеновна еще крѣпче прижала его къ себѣ. Шпицъ открылъ широко-широко обезумѣвшіе глаза, весь бодѣзненно съежился и, поймавъ ея руку, судорожно вонзилъ въ палецъ свои бѣлые, острые зубы. Когда съ послѣднимъ трепетомъ отлетѣла его жизнь, Ольга Семеновна разжала крѣпко стиснутыя челюсти шпица и освободила руку. Не пальцѣ зіяли двѣ маленькія, круглыя ранки и изъ нихъ сочилась кровь.

Вставъ съ кровати, старуха подошла къ лежащимъ на полу Найденышу и Лисичкѣ. Угасающими мутными глазами они словно упрекали ее за свою преждевременную смерть, а конвульсивно вздрагивающія лапы точно протягивались за спасеньемъ.

Ольга Семеновна прижалась губами къ выпуклому лбу Найденыша и въ то же время почувствовала едва ощутимое прикосновенье чего-то мокраго и липкаго къ своей рукѣ,—это лизнула ее Лисичка, навсегда покидая міръ.

Ужъ совсѣмъ стемнѣло; только луна бросала въ окошко свой фосфорическій свѣтъ.

Мертвая тишина царила теперь въ комнатѣ, незадолго передъ тѣмъ наполненной стонами и визгами умирающихъ животныхъ.

Ольга Семеновна приподнялась съ пола. Ей почудилось, что кто-то жалобно плачетъ въ углу у ея постели. Она подошла къ кровати. Никого.

«Это душа моя,—рѣшила она,—это моя душа плачетъ обо мнѣ».

И стало ей кого-то смертельно жалко,—себя ли, душу ли свою, или кого другого, она не знала. Она почувствовала, что кому-то стыдно, ужасно стыдно. Кому? Она тоже не знала.

Она стояла посреди комнаты, растерянная и блѣдная, и все пыталась припомнить, кого ей жалко и кому такъ стыдно. И вдругъ выпрямилась и съ пылающими глазами, точно обращаясь къ кому-то невидимо присутствующему, произнесла твердо и медленно:

— Всѣмъ!

Она отомкнула входную дверь и твердыми, рѣшительными шагами подошла къ столу. Что-то величавое и грозное было теперь въ ея старческой фигурѣ, въ ея маленькомъ сморщенномъ лицѣ. Она налила въ тарелку совсѣмъ уже остывшій супъ и недрогнувшею рукой всыпала туда остатки порошка.

Съ пальца капнула въ тарелку кровь.

... Съ ужасомъ вбѣжала въ дворницкую сообщить о случившемся пришедшая на другой день покупать мебель торговка.

Съ ужасомъ разводила руками перепуганная на смерть Анна Васильевна.

— И невдомекъ мнѣ,—произнесла она растерянно,— крысъ, говорила, травить... и невдомекъ... На-те грѣхъ какой случился!..

Въ оставленной покойницей запискѣ, кромѣ просьбы «не винить никого» въ ея смерти, значилось: «А имущество мое немедленно продать. Три рубля долгу моего за услуги дворничихѣ Аннѣ Васильевой прошу отдать. Остальныя всѣ вырученныя деньги отослать тотчасъ же дочери моей въ городъ N., Петровская улица, домъ № 20, артисткѣ Ольгѣ Павловнѣ Налимовой».

„САМОСУДЪ.“

Не придумать имъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердцѣ ношу.

Н. Некрасовъ.

I.

Пароходъ *Баянъ* уже почти исчезнулъ подъ водой, и море, свидѣтель недавней страшной катастрофы, поглотившее въ своей черной пучинѣ двѣсти человѣческихъ жизней, мирно колыхалось, переливаясь спокойными плавными волнами.

Въ отдѣльной каютѣ столкнувшагося съ погибшимъ судномъ парохода *Комета* лежалъ Викторъ Николаевичъ Краевъ—капитанъ злополучнаго *Баяна*.. Возлѣ Краева сторожемъ сидѣлъ его вѣрный слуга—матросъ Денисенко. Бросившись съ погрузившейся уже палубы своего парохода въ море, Краевъ ударился головой о какой-то тупой обломокъ и почти мгновенно потерялъ сознаніе. Спасенный подоспѣвшимъ къ нему на помощь Денисенко, онъ былъ доставленъ на *Комету*. Теперь онъ лежалъ въ тяжеломъ полузабытьѣ и по

временамъ вздрагивалъ конвульсивно всѣмъ тѣломъ. *Комета*, энергично работая винтомъ, слегка покачиваясь на зыбкихъ волнахъ, торопилась къ утру попасть въ ближайшій портъ.

Краевъ открылъ, наконецъ, глаза и обвелъ вокругъ мутнымъ, полубезсознательнымъ взглядомъ.

—Тутъ... кто?—спросилъ онъ слабымъ голосомъ въ полутьмѣ каюты, едва различая чью-то человѣческую фигуру.

— Я, ваше высокородіе.

— Денисенко ты?

— Такъ точно.

Краевъ силился сообразить, гдѣ онъ находится, какъ попалъ въ эту незнакомую ему каюту, и вдругъ точно что подбросило его съ койки, воспоминаніе о чемъ-то невообразимо страшномъ рѣзнуло по сердцу, и лицо его исказилось ужасомъ.

— Денисенко!...—тревожно окликнулъ онъ матроса.

— Чего изволите?

— Погибшихъ много?

— Душъ двѣсти,—мрачно отвѣтилъ Денисенко.

Протяжный стонъ вырвался изъ груди капитана.

— А команда?

— Многихъ нѣту.

Краевъ сдѣлалъ усиліе, чтобы подняться съ мѣста, и не смогъ.

— Денисенко,—проговорилъ онъ сдавленнымъ хриплымъ голосомъ,—по-мо-ги.

— Не приказано дохтуромъ,—не двинувшись, сурово отвѣтилъ Денисенко,—дохтуръ на пароходѣ

случился, такъ приказалъ мнѣ стеречь ваше высокородіе, и чтобы никакихъ безпокойствъ вашему высокородію.

Краевъ грузно повалился снова на койку.

— Мы гдѣ?—спросилъ онъ черезъ минуту.

— Маякъ должно прошли.

— Мысъ обогнули?

— Не могу знать.

Краевъ опять забылся. Его ушибленная голова болѣла упорно, а потрясенный впечатлѣніями страшной ночи мозгъ не переставалъ болѣзненно работать, сплетая только что происшедшее съ событіями давно минувшихъ дней и облекая все это въ фантастическую форму полугорячечнаго бреда.

То казалось Краеву, что онъ лежитъ, качаясь на волнахъ моря, и его несетъ куда-то по теченію, а кругомъ со зловѣщимъ свистомъ прорѣзываютъ воздухъ гранаты и бомбы и, шипя, падаютъ въ воду; то видѣлъ онъ себя въ баракѣ, среди другихъ раненыхъ, и какъ тогда сверлило и дергало лѣвую руку, такъ теперь сверлило въ груди, ныло, сосало; въ глазахъ мелькали зигзаги длинныхъ огненныхъ полосъ, точно молній; въ ушахъ раздавались чьи-то вопли, мольбы... и Краевъ, безпокойно ворочаясь, издавалъ слабые стоны.

Денисенко продолжалъ сидѣть, не шевелясь, не сводя участливаго взгляда съ капитана.

Такъ прошло съ часъ. Солнце уже стояло довольно высоко на небосклонѣ, когда, попыхивая и вздрагивая своимъ желѣзнымъ корпусомъ, *Комета* пристала къ большой каменной пристани.

Городъ, залитый лучами южнаго солнца, щеголяя и сверкая бѣлыми домами, бѣлыми камышевыми корзинами экипажей и одѣтыми въ бѣлые кафтаны кучерами на козлахъ,—еще спалъ; только на базарѣ, да на пристани кипѣла жизнь.

Въ этомъ городѣ, помѣщаясь въ красивомъ маленькомъ домикѣ-особнякѣ, окруженномъ садомъ, жила семья Краева, состоявшая изъ жены, двоихъ дѣтей, матери и сестры. Въ домѣ всѣ спали, за исключеніемъ прислуги, да сестры Краева Лизы, стройной высокой брюнетки, съ симпатичнымъ лицомъ и строгими большими сѣрыми глазами. Не смотря на ранній часъ, она была совершенно одѣта и внимательно подсчитывала итоги недѣльнаго расхода. Поглощенная этой неинтересной работой, она не слышала, раздавшагося у входной двери, звонка. Вошла горничная:

— Барышня!

— Что тебѣ?—спросила Лиза, не поднимая головы отъ расходной книги.

— Тамъ-съ... помошникъ капитана желаютъ видѣть.

Лиза поспѣшила въ гостиную.

Новость, сообщенная ей помощникомъ капитана *Кометы*, была неожиданна и ужасна. Лиза стремглавъ бросилась во внутреннія комнаты, въ спальню къ Варварѣ Борисовнѣ—женѣ брата.

— Варя, Варя!—съ нервной торопливостью будила она невѣстку, сладко дремавшую утреннимъ полусномъ.—Ахъ, да вставайте же!.. Боже мой... Викторъ... Викторъ... *Баянъ*...

Варвара Борисовна лѣниво открыла глаза и смотрѣла недоумѣвающе.

Что такое?.. Телеграмма?—спросила она заспаннымъ голосомъ.

— Несчастіе—*Баянъ* погибъ!!

Крикъ отчаяннаго испуга огласилъ комнату. Варвара Борисовна, вскочивъ, сватила Лизу за руку.

— А онъ?

— Онъ живъ.

Варвара Борисовна снова упала на кровать въ громкихъ истерическихъ рыданіяхъ. Лиза вздрогнула отъ неожиданности.

— Тише!—твердо и даже нѣсколько повелительно произнесла она, — ни слезъ, ни криковъ не надо... Я нарочно пришла предупредить, — онъ сейчасъ будетъ.

Комната матери находилась рядомъ. Старуха, разбуженная и испуганная внезапнымъ крикомъ, поспѣшно одѣвалась, когда Лиза вошла къ ней.

— Что такое?—тревожно спросила она дочь.

Лиза, блѣдная и дрожащая, приблизилась къ матери.

— Мама,—начала она взволнованнымъ голосомъ,— ты много видѣла горя и... ты будешь тверда, я знаю... Не пугайся... Викторъ живъ.

Старуха, напряженно слушая, осѣнила себя крестнымъ знаменіемъ.

— Но пароходъ... погибъ!—съ трудомъ докончила Лиза фразу.

Схватившись за грудь руками, какъ бы желая удержать готовый вырваться оттуда вопль, какъ подкошенная, опустилась старуха на близь стоящій стулъ. Обѣ молчали съ минуту. Наконецъ мать подняла глаза, наполненные слезами, къ маленькому кіоту, заставленному образами различной величины.

— Его святая воля,—проговорила она тихимъ, дрожащимъ голосомъ и набожно перекрестилась.

Около дома раздался стукъ подъѣхавшаго экипажа. Лиза встрепенулась.

— Это онъ, мама,—смотри же, будь тверда.

Старуха съ печальной улыбкой кивнула утвердительно головой. Лиза побѣжала встрѣчать брата. По дорогѣ, заглянувъ съ безпокойствомъ сквозь полуоткрытую дверь къ Варварѣ Борисовнѣ, она тотчасъ же успокоилась. Варвара Борисовна, въ накинутомъ на плечи блѣдно-розовомъ матинэ, спѣшно пудрила покраснѣвшее отъ слезъ лицо. Легкая улыбка снисходительнаго удивленья скользнула по губамъ Лизы. Она поспѣшила дальше и встрѣтила брата въ сѣняхъ, на верхней площадкѣ лѣстницы. Опираясь на руку Денисенко, Краевъ медленно, съ трудомъ поднимался по ступенькамъ маленькой отлогой лѣстницы, ведущей въ его квартиру. Блѣдный, съ ввалившимися щеками, съ глазами, глядящими растерянно и мрачно съ всклокоченной бородой и надѣтой, какъ попало на бекрень фуражкой, онъ былъ ужасенъ. Дойдя до площадки, гдѣ стояла Лиза, онъ нервнымъ порывистымъ движеньемъ сбросилъ пальто на руки матроса.

— Вотъ и я!—проговорилъ онъ надтреснутымъ голосомъ съ видомъ виноватаго, глядя куда-то въ сторону и протягивая сестрѣ руку.

Та отвѣтила крѣпкимъ, сочувственнымъ пожатіемъ. Вся фигура ея дышала бодростью и энергіей, на лицѣ играла улыбка, и только строгіе глаза смотрѣли печально.

— Пойдемъ къ мамѣ,—произнесла она просто и

ласково, стараясь ничѣмъ не обнаружить своего внутренняго волненья.—Мы знаемъ все... и никто не упалъ духомъ.

— А жена?—робко спросилъ Краевъ.

— И она,—слегка вспыхнувъ, поторопилась отвѣтить Лиза.

Взявъ брата подъ руку, она быстро увлекла его мимо всѣхъ остальныхъ комнатъ прямо къ матери. Передъ дверью онъ было нерѣшительно остановился, но Лиза наотмашь отворила эту дверь.

Анна Семеновна сидѣла на томъ же самомъ креслѣ, вся превратившись въ слухъ и ожиданье. Увидя сына, она попыталась подняться ему навстрѣчу, но Краевъ вдругъ въ два шага очутился отъ матери и, неожиданно для всѣхъ упавъ передъ ней на колѣни, опустивъ на ея руки свою на половину сѣдую голову зарыдалъ тяжелыми мучительными слезами. Лиза прислонилась къ стѣнѣ и до боли кусала себѣ губы, чтобы не разрыдаться самой.

Вошла Варвара Борисовна. Замѣтивъ ея намѣренье броситься къ мужу, Лиза быстро подошла къ ней и, схвативъ ее за руку, прошептала скороговоркой:

— Не надо!... потомъ...

Варвара Борисовна вспыхнула, кивнула въ знакъ согласія головой и сѣла на стулъ возлѣ двери, возмущенная всѣмъ своимъ существомъ противъ совершеннаго надъ ея волей насилія.

«Она мало того, что забрала въ руки весь домъ, командуетъ, распоряжается всѣмъ... эта Орлеанская дѣва, этотъ ротный командиръ», сердилась она внутренно на Лизу, забывая, что, благодаря неусыпнымъ

заботамъ самоотверженной дѣвушки, процвѣтаетъ ихъ домъ, воспитываются дѣти и сама она, Варвара Борисовна, можетъ жить припѣваючи, не утруждая себя мелочами и дрязгами повседневной будничной жизни, такой скучной и прозаической.

Поглощенная этими мыслями, отчасти подавленная естественнымъ чувствомъ жалости къ мужу и паническимъ страхомъ за будущее, Варвара Борисовна нетерпѣливо ожидала однако, когда ей можно будетъ, наконецъ, заявить о своемъ присутствіи въ качествѣ дѣйствующаго лица, и притомъ главнаго, а не простого зрителя только. Минуты казались ей длинными до безконечности. Глухія рыданія Краева смолкли, но голова его продолжала покоиться на колѣняхъ у матери, и старушка, придерживая одной рукой голову сына, другой медленно проводила по его волосамъ. Терпѣніе Варвары Борисовны истощилось, злость на всѣхъ присутствующихъ, за невниманіе подступила къ сердцу, и вдругъ ей стало такъ жалко, такъ ужасно жалко себя, что, откинувшись на спинку стула и громко всхлипывая, она разразилась неудержимымъ потокомъ слезъ. Краевъ поднялъ голову, не соображая сразу, въ чѣмъ дѣло, обвернулся по тому направленію, откуда слышались рыданія. Увидѣвъ жену, онъ вскочилъ, какъ ужаленный, и быстрыми, нетвердыми шагами подошелъ къ ней.

— Варя, — произнесъ онъ срывающимся голосомъ,—не суди... Прости! Мнѣ... мнѣ самому очень тяжело!...

Варвара Борисовна поднялась съ мѣста и, закинувъ

руки за шею мужа, прижавшись къ его плечу, плакала еще громче.

Лицо Краева выражало нестерпимую боль, углы рта опустились, помутившіеся глаза съ почти безумнымъ выраженіемъ растерянно блуждали по комнатѣ и, наконецъ, съ мольбой остановились на сестрѣ. На минуту потерявшая присутствіе духа, Лиза пришла на помощь.

— Варя,—окликнула она громко невѣстку,—проводите Виктора въ спальню,—ему надо отдохнуть.

Ея металлическій, низкій контральто и не допускающій возраженія тонъ, которымъ она разговаривала въ рѣшительныя минуты, какъ-то заставляли, помимо воли, подчиняться ей. Окликъ этотъ на Варвару Борисовну подѣйствовалъ однако, не сразу. Ей такъ нравилось, просто доставляло физическое наслажденіе, громко всхлипывать, протяжно стонать, задерживать дыханіе и потомъ биться въ истерическомъ раскатистомъ смѣхѣ. Впрочемъ, внутренній инстинктъ подсказывалъ, что пора кончить, довольно. Она сватила голову мужа, прижалась крѣпко губами къ его губамъ, затѣмъ откинулась назадъ и, смотря въ упоръ ему въ глаза, произнесла, улыбаясь сквозь слезы, кротко и покорно:

— Видишь, я тебѣ обрадовалась, вотъ и все, больше не будетъ подобной слабости.

Краевъ отвѣтилъ женѣ взглядомъ, полнымъ нѣмого обожанія и благодарности. Варвара Борисовна мелькомъ взглянула на Лизу, чтобъ узнать, какое впечатлѣніе тамъ произвели эти слова, но Лиза стояла спиной, и только по нервному движенію ея руки,

постукивающей по столу, замѣтно было ея волненіе.

— Лиза права,—сказала Варвара Борисовна громко, и умышленно, еще болѣе кротко и ласково,—тебѣ надо отдохнуть, милый, пойдемъ—и, взявъ подъ руку Краева, увела его изъ комнаты. Лиза отвернулась,—лицо ея дышало негодованіемъ.

— Ко-ме-діантка,—шепотомъ вырвалось у нея, едва захлопнулась дверь.

Анна Семеновна укоризненно покачала головой:

— Это не хорошо и не по-христіански—больше я ничего не скажу.

Лиза посмотрѣла на мать исподлобья съ сконфуженнымъ, виноватымъ видомъ.

— Нѣ хорошо—я это знаю, но что же мнѣ дѣлать, если я не могу выносить никакой фальши, ну... не могу, не могу!...—она оборвала вдругъ свою рѣчь и, закрывъ лицо руками, выбѣжала изъ комнаты, давъ волю давно сжимавшимъ горло слезамъ.

Въ спальнѣ Варвара Борисовна заботливо укладывала мужа въ кровать,—роль сестры милосердія нравилась ей и увлекала ее. Она чувствовала себя на самомъ дѣлѣ такой доброй, такой кроткой и, вмѣстѣ съ тѣмъ, такой героиней: судьба поставила ее лицомъ къ лицу съ необычнымъ, просто трагическимъ положеніемъ, и она, она въ этомъ сама увѣрена, сумѣетъ выйти побѣдительницей. О, она всѣхъ удивитъ, не только ненавистную «Орлеанскую дѣву», но рѣшительно всѣхъ! Весь городъ поразится той стойкостью и достоинствомъ, съ которыми она будетъ нести выпавшій на ея долю тяжелый крестъ! Ее считаютъ

красивой, свѣтской женщиной—и только, ею любуются, восхищаются, подражаютъ ея туалетамъ, ей завидуютъ, ее балуютъ; но теперь!... Теперь всѣ будутъ поражены, прямо-таки поражены, ея душевнымъ величіемъ. И, успокоенная этой увлекательной картиной, Варвара Борисовна ласково упрашивала мужа отдохнуть, заснуть, вѣрить въ ея глубокую любовь, быть твердымъ, стойко выносить испытаніе, посланное свыше всей ихъ семьѣ. Подъ вліяніемъ ея ласки и ободряющей рѣчи, счастливый, насколько онъ могъ быть въ эти минуты, Краевъ дѣйствительно скоро позабылся тревожнымъ, тяжелымъ сномъ Голова Варвары Борисовны продолжала работать все въ томъ же направленіи: въ воображеніи прелестной женщины вставали одна за другой картины предстоящихъ встрѣчъ-столкновеній, въ ея новомъ теперь положеніи страдалицы, жены страдальца мужа, на личность котораго будетъ направлено вниманіе всего города, а вѣсти о катастрофѣ сдѣлаютъ извѣстнымъ имя его даже цѣлой Россіи. Печальная сторона этого дѣла какъ-то скользила мимо въ мысляхъ Варвары Борисовны,—она была увѣрена, что въ ея жизни очень дурного ничего не можетъ случиться. Все непремѣнно устроится, уладится какъ нельзя лучше, надо только умѣть изъ всѣхъ обстоятельствъ извлекать самое выгодное и удобное, а затѣмъ Богъ поможетъ. И Варвара Борисовна была убѣждена, что помощь будетъ непремѣнно. Размышляя и соображая такимъ образомъ, она вдругъ вспомнила, что у нея вовсе нѣтъ подходящихъ платьевъ для роли, которую назначила ей теперь судьба. Гармонія, прежде всего гармонія!.. Она

не выносила ничего рѣжущаго глазъ, нарушающаго гармонію и потому теперь платья ея должны быть прежде всего однотонныя,—да! непремѣнно однотонныя, совершенно гладкія или же съ мягко-падающими небрежно складками. Черное, выдержанно-строгое, оно будетъ удивительно красиво оттѣнять блѣдность лица, потомъ для разнообразія (вѣдь, можно надоѣсть, точно монахиня), для разнообразія—сѣрыя, красивыхъ тоновъ... что-то напоминающее дымку тумана, какъ бы олицетвореніе душевной тоски. Варвара Борисовна уже собралась было послать горничную за портнихой, но сообразивъ, что поступокъ ея вызоветъ недоумѣніе и неудовольствіе въ семьѣ, остановилась. «Вѣдь, онѣ ничего не поймутъ, эти узкія моралистки, особенно Лиза. А когда въ домѣ покойникъ? Вѣдь, заботятся сейчасъ же о траурѣ, какъ бы ни были огорчены, и никого это не удивляетъ, не возмущаетъ: такъ надо, а надо для гармоніи. Однако, Варвара Борисовна рѣшила поѣхать къ портнихѣ сама, чтобы не возбуждать въ домѣ лишнихъ разговоровъ. Она одѣлась и тихо выскользнула изъ комнаты, боясь гдѣ-нибудь по дорогѣ встрѣтиться съ Лизой. Но Лиза была уже въ дѣтской, гдѣ внушала мальчикамъ, какъ имъ вести себя: не вмѣшиваться въ разговоры, не приставать къ отцу съ разспросами, подходить къ нему только тогда, когда онъ подзоветъ, и вообще держать себя такъ, чтобы было не особенно замѣтно ихъ почти всегда шумнаго присутствія.

Передъ затепленной у кіота лампадой, въ своей маленькой уютной комнатѣ, жарко молилась Анна

Семеновна. И вспомнилось ей многое тяжелое въ прошломъ: крымская война, герой мужъ, убитый на полѣ битвы, смерть старшаго сына моряка, погибшаго во время шторма. Снова война изъ-за Болгаріи... Викторъ раненъ... страхъ за его жизнь... и вотъ опять.. Анна Семеновна съ горячею вѣрой призывала твердость на свою сѣдую, уже дряхлѣющую голову.

Въ кухнѣ прислуга шепотомъ, точно боясь быть услышанной, съ любопытствомъ и страхомъ разспрашивала Денисенко о подробностяхъ катастрофы.

Въ домѣ было тихо, точно въ полѣ передъ грозой.

Варвара Борисовна вернулась такъ же незамѣтно, какъ и вышла, въ оставшуюся незапертой послѣ ея ухода наружную дверь.

II.

Прошло три мѣсяца. Слѣдствіе, благодаря энергіи властей, шло быстро. Городъ относился съ живымъ участіемъ къ судьбѣ Краева и къ его семьѣ. Варвара Борисовна цѣлыми днями принимала въ своихъ особенныхъ, «стильныхъ» платьяхъ посѣтителей, посвящая ихъ въ подробности своихъ тревогъ и заботъ о «несчастномъ» мужѣ. Многія дамы даже начали завидовать ей,—тому умѣнью, съ которымъ она завладѣла всецѣло вниманьемъ всего непрекраснаго пола въ мѣстномъ обществѣ. Ряды поклонниковъ возрастали все больше и больше; молодые и старые, покорные, рабски-угодливые, восхищенные, они всѣми силами старались поддержать прелестную страдалицу - героиню, несущую посланное ей испытаніе съ такой плѣнительной граціей, съ такой трогательной кротостью.

Насталъ, наконецъ, канунъ суда.

Семья Краева, за исключеніемъ дѣтей, отосланныхъ давно спать, сидѣла за чайнымъ столомъ. Всѣ были сосредоточены—больше молчали, изрѣдка перекидываясь отрывочными фразами. Роковое «завтра» гвоздемъ засѣло у каждаго въ головѣ. Стараясь не касаться больного мѣста, каждый силился говорить о постороннихъ вещахъ и... не могъ. Попытки оставались только попытками; слова, идущія въ разрѣзъ съ мыслями, звучали натянуто, фальшиво.

Варвара Борисовна, крайне озабоченная, обдумывала, соображала подробности дѣла, взвѣшивая всѣ выгоды и невыгоды: предсѣдатель—ея другъ, прокуроръ—тоже; но присяжные—разный сбродъ, и—кто знаетъ, что можетъ случиться?.. лотерея!.. Положимъ, Викторъ дѣйствительно не виноватъ, несчастный случай... масса смягчающихъ обстоятельствъ... но кто знаетъ? И сердце Варвары Борисовны испуганно сжималось отъ одного предположенія только возможности неблагополучнаго исхода дѣла.

Краевъ вяло, безучастно раскладывалъ пасьянсъ. За послѣднее время онъ пристрастился къ этому однообразному занятію. Почти машинальное раскладыванье картъ какъ бы притупляло его болѣзненно-нервную чувствительность, и онъ по цѣлымъ днямъ или спалъ, или молча сидѣлъ за пасьянсомъ. Старанія Варвары Борисовны отвлекать его и развлекать были напрасны. Въ отвѣтъ на ея доводы и убѣжденья онъ только раздражался, хотя отъ времени до времени все же внималъ ея краснорѣчивымъ просьбамъ и, чтобы не огорчать жену, появлялся въ обществѣ, посѣщая

конечно, только особенно близкихъ знакомыхъ. Мрачное его настроеніе и молчаливость не мало безпокоили и Лизу. Она, хотя не была согласна съ Варварой Борисовной, старавшейся окружать его посторонними, но понимала, что развлекать его дѣйствительно необходимо, только совсѣмъ иными способами. Не желая семейными распрями усугублять и безъ того тяжелое положеніе семьи, она предоставила полную свободу дѣйствій Варварѣ Борисовнѣ, не вмѣшивалась во всѣ ея затѣи и, насколько была въ силахъ, своимъ безмолвнымъ нѣжнымъ вниманіемъ старалась только облегчить тягостное положеніе брата.

Часы пробили половину. Краевъ встрепенулся и взглянулъ на часы.

— Ой-ой-ой, однако, пора на покой,—онъ поднялся съ мѣста,—половина одиннадцатаго. А мнѣ еще надо малость позаняться, привести въ порядокъ мысли. Прощай, мама, ты, можетъ быть, завтра еще спать будешь...—умышленно небрежно проронилъ онъ.—Варя, и ты ложись, пожалуйста, меня не жди. Лиза, вашу лапку, — шутливо обратился онъ къ сестрѣ. — Ну-съ, до свиданья, милыя дамы.

Онъ нѣжно поцѣловалъ каждую по очереди и вышелъ.

— Тебѣ, можетъ быть, чаю въ кабинетъ прислать?— крикнула ему вслѣдъ Варвара Борисовна.

— Не надо.

Лиза тоже встала, чтобы пройти въ дѣтскую — взглянуть на дѣтей. Тамъ она нашла безпорядокъ страшный: посреди комнаты валялись опрокинутые стулья, тутъ же были раскиданы подушки, простыни,

одѣяла, сташенныя съ кровати. Пользуясь отсутствіемъ старшихъ, дѣти съ увлеченіемъ играли въ «гибель Баяна»—ихъ любимую игру, строго воспрещенную имъ теткой. Лиза распекла буяновъ, и еще долго должна была провозиться съ ними, пока разыгравшіеся мальчики, наконецъ, угомонились и заснули. Было уже около двѣнадцати, когда она вышла изъ дѣтской.

Проходя по корридору и увидя въ щель неплотно запертой двери кабинета свѣтъ, она нерѣшительно остановилась:—Что лучше: зайти или нѣтъ?.. Что-то неотступно тянуло ее за двери, въ ту комнату, гдѣ одиноко изнывалъ въ тоскѣ и безпокойствѣ ея дорогой, ея измученный братъ... Лиза тихо пріотворила дверь.

Краевъ сидѣлъ къ ней спиной, опустивъ голову на письменный столъ. Онъ не слышалъ легкаго скрипа отворившейся двери.

— Викторъ!—тихо окликнула его Лиза.

Онъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, поднялъ голову, но не оглянулся.

— Викторъ!—также тихо повторила свой окликъ Лиза.

Онъ повернулъ блѣдное изможденное лицо.

— Ты, Лиза?.. Ты не спишь еще... Что надо?— спросилъ онъ безучастно.

— Я пришла узнать... — Лиза затруднялась отвѣтомъ.—Чаю не хочешь ли?—пробормотала она сконфуженно и покраснѣла, устыдясь своей невинной лжи.

— Нѣтъ.

Лиза робко опустилась на диванъ.

— Я тебѣ не помѣшаю, если побуду здѣсь?

— Зачѣмъ?

— Такъ... мнѣ хочется...

— Сдѣлай одолженье.

Наступило молчаніе. Краева видимо тяготило присутствіе сестры. Онъ всталъ и прошелся по кабинету, чтобы какъ-нибудь скрыть свое неудовольствіе.

— Ты бы, знаешь, шла спать... Послушайся благого совѣта,—проговорилъ онъ съ разстановкой и возможно мягче, боясь обидѣть ее.

Лиза подняла на него широко раскрытые сѣрые глаза, слегка подернутые влагой наполнявшихъ ихъ слезъ.

— Нѣтъ, если можно, позволь остаться, — произнесла она тихимъ, грустнымъ голосомъ и указала на мѣсто около себя,—сядь подлѣ...

Растроганный простотой и искренностью ея тона, Краевъ сѣлъ, взялъ ея маленькую, мягкую руку, прижавъ крѣпко къ губамъ.

— Спасибо, — сказалъ онъ медленно, какъ бы въ раздумьѣ. Онъ откинулся къ спинкѣ дивана и закрылъ глаза.

Сердце Лизы билось усиленно, ей казалось, что онъ долженъ былъ даже слышать это біеніе. Ей такъ хотѣлось утѣшить его, вдохнуть въ него энергію, вызвать на откровенность, но онъ молчалъ упорно. Блѣдный, съ закрытыми глазами, онъ былъ въ эту минуту похожъ на мертвеца, и только легкая судорога, пробѣгавшая изрѣдка по лицу, свидѣтельствовала о мукахъ живущей еще въ его тѣлѣ души. Лиза прямо-таки физически ощущала тотъ гнетъ, который нравственно давилъ его, она задыхалась, вся трепетала, не зная, какъ по-

дойти къ больному мѣсту, заставить высказаться этого измученнаго человѣка. Положивъ руку на его лобъ, она разглаживала собравшіяся между бровями складки. Онъ открылъ, наконецъ, вѣки и посмотрѣлъ на нее усталыми, равнодушными глазами.

— Что ты?—спросилъ онъ, какъ бы очнувшись отъ сна и улыбнулся не то иронически, не то загадачно.— Сострадаешь?

У Лизы что-то подступило къ горлу и захватило духъ.

— Ахъ, Викторъ!..—страстнымъ упрекомъ вырвалось у нея; но голосъ оборвался, и обильныя слезы помимо воли брызнули изъ глазъ. Она закрыла руками лицо и, опершись о колѣни, горько заплакала.

Краевъ нахмурился; углы его губъ судорожно вздрагивали. Оба молчали. Только было слышно сдержанное, прерывистое всхлипыванье Лизы, да особенно громко отчеканивалъ свое «тикъ-такъ» будильникъ, стоящій на письменномъ столѣ.

— Ты объ чемъ это?—едва слышно спросилъ, наконецъ, Краевъ сестру,—боишься за завтрашній день?

Лиза покачала отрицательно головой, отерла слезы и посмотрѣла на брата пытливо и печально.

— Мнѣ очень больно твое недовѣріе.

— Недовѣріе?

— Да. Я пришла къ тебѣ облегчить твое нравственное состоянье... Ты всегда былъ откровененъ со мной, я думала, что и теперь... А ты, ты принялъ совсѣмъ не такъ мое желанье говорить съ твоей душой... и вышло это съ моей стороны какъ бы насиліемъ... а это такъ больно.

Краевъ молчалъ.

— А относительно моего страха за завтрашній день ты тоже ошибаешься... Это—несчастье, а не позоръ, это роковой случай, а не преступленье, и я менѣе всего думаю о формальной сторонѣ,—тебя оправдаютъ, иного исхода не можетъ быть.

Краевъ, внезапно вспыхнувъ, вскочилъ съ своего мѣста. Глаза его горѣли лихорадочно; даже что-то злобное, негодующее сверкало изъ этихъ запавшихъ глубоко глазныхъ впадинъ. Пройдясь по комнатѣ, онъ остановился передъ сестрой.

— Ты, можетъ быть, удивишься, но я жажду возмездія,—сказалъ онъ рѣзкимъ голосомъ.

— Почему?—спросила испуганно Лиза.

Онъ усмѣхнулся горькой и злой улыбкой.

— А какъ ты полагаешь, легко существовать съ грузомъ въ двѣсти человѣческихъ жизней на сердцѣ?

Съ состраданіемъ смотрѣла она на него, стараясь всѣми силами своего духа проникнуть въ глубь его наболѣвшей души.

— Я знаю, никакое наказанье не можетъ сравниться съ тѣми нравственными пытками, какія я испытываю,—проговорилъ онъ глухо, — но все же хочу наказанья и жду его.

— Какое же это утѣшенье?

— Хотя бы только внѣшнее,—все же будто легче.

— Мнѣ кажется, ты не совсѣмъ правъ, взваливая на одного себя всю тяжесть вины,—робко произнесла Лиза.—Все равно... вѣдь все равно, хотя бы ты и былъ наверху....

— Вотъ въ этомъ-то и преступленье,—съ запаль-

чивостью перебилъ сестру Краевъ,—что я не былъ, когда *должен* былъ быть, понимаешь ты этотъ ужасъ: *должен*! *должен*! *должен*!... и не былъ.

Лиза чувствовала, какъ у нея изъ-подъ ногъ уходитъ почва... Да, это ужасно!.. Она сама испытала бы то же самое. Чѣмъ можно отвѣтить на этотъ благородный вопль отчаянія? Согласіемъ: сказать ты правъ—«это ужасно»! А сказать этого нельзя—надо утѣшать. Лиза знала, что всякое утѣшенье тутъ будетъ излишне и неумѣстно, но сказать его все-таки нужно, сказать хоть что-нибудь, но не молчать.

— Вѣдь тобой были приняты всѣ мѣры, — начала она, запинаясь, и остановилась, чувствуя, что дальше продолжать не можетъ.

Краевъ съ досадой пожалъ плечами.

— Я потопилъ двѣсти человѣческихъ жизней, я отправился въ каюту и оставилъ управлять судномъ своего помощника, кажется ясно? О какомъ же самооправданіи можетъ быть рѣчь и о чемъ ты говоришь, я не понимаю!..

Лиза ничего не отвѣтила.

— Я знаю,—продолжалъ онъ съ волненьемъ,—мнѣ скажутъ, что вся отвѣтственность на капитанѣ *Кометы* за отсутствіе сигнальныхъ огней, но мнѣ-то, мнѣ-то развѣ легче? Допустимъ, я стоялъ бы наверху и я тогда предотвратилъ бы несчастіе, — я въ этомъ убѣжденъ,—но допустимъ, что даже нѣтъ, но вѣдь я былъ бы правъ передъ собой, передъ своей совѣстью,—понимаешь? А ты не знаешь, что такое эта проклятая совѣсть, не знаешь? Палачъ самый жестокій, самый безпощадный, самый... Ну, однако, прощай... —

вдругъ неожиданно рѣзко оборвалъ онъ свою рѣчь, подавая Лизѣ руку.— И тебѣ, и мнѣ пора на покой... И вотъ что я тебѣ скажу: хорошій народъ вы, бабы... и семья много краситъ жизнь, а лучше бы безъ васъ...

Лиза пожала протянутую руку, чувствуя себя совершенно разбитой и уничтоженной.

— Прощай...

Краевъ удержалъ ея руку въ своей.

— Постой... Ты не обижайся, но... но пойми: еслибъ у меня не было ни семьи, ни матери, ни тебя, мнѣ бы легче было...

Она молча кивнула въ знакъ согласія головой.

— Ну... и прости меня!.. А завтра, знаешь...—онъ остановился,—лучше не ходи.

— Нѣтъ, я пойду, — тихо, но твердо отвѣтила Лиза.

— Я Варю убѣждалъ, — она упрямится тоже. А мать?

— Мать будетъ дома.

Краевъ нагнулся, чтобы поцѣловать руку Лизы: она обняла его и поцѣловала крѣпко въ лобъ.

— Прости меня еще разъ, и спасибо за все!.. — произнесъ Краевъ взволнованно, и они разстались.

У дверей Лиза столкнулась съ Варварой Борисовной. Та въ первую минуту сконфузилась, но однако не растерялась и тотчасъ же нашлась:

— Я шла вытащить васъ оттуда, Лизочка, — сказала она съ озабоченнымъ лицомъ,—это такъ неосторожно было съ вашей стороны... Онъ теперь долженъ быть одинъ... даже *я* не рѣшаюсь его тревожить и иду спать, не простясь съ нимъ.

Лиза, не отвѣтивъ ни единимъ словомъ на этотъ выговоръ, прошла мимо. Саркастическая улыбка легкой тѣнью пробѣжала по красивымъ губамъ Варвары Борисовны. Съ минуту она постояла въ раздумьѣ передъ затворенной дверью кабинета: «Не позвать-ли его идти спать?» Но потомъ рѣшила, что даже лучше, если онъ проведетъ эту ночь совсѣмъ безъ сна или ляжетъ поздно: лицо будетъ завтра еще блѣднѣе, а это такъ дѣйствуетъ на глупую толпу. Тихо, тихо, на цыпочкахъ, слегка шелестя своими шелковыми юбками, она прошла въ спальню.

Краевъ быстрой, нервной походкой ходилъ по кабинету; иногда онъ останавливался, ложился на тахту навзничь, закинувъ руки за голову, лежалъ такъ нѣсколько минутъ съ закрытыми глазами, снова вскакивалъ, и снова его шаги гулкимъ эхомъ разносились по всему дому.

Такъ прошла ночь безпорядочная, тревожная... Припоминалось прошлое, подводились итоги пережитой жизни. И казалось Краеву, что стоитъ онъ на рубежѣ чего-то совсѣмъ новаго, какъ бы сызнова начиная свой путь. Длинной лентой развертывалась въ воображеньѣ оставленная позади старая, хорошо знакомая дорога. Какъ въ панорамѣ двигались передъ глазами одна за другой картины прежнихъ дней. Вотъ сѣрое, вѣчно мглистое небо далекой столицы... Безцвѣтныя волны сѣверной рѣки... деревянныя постройки пристаней... длинный, неуклюжій домъ на набережной... адмиралъ-папаша... директоръ... переходы изъ роты въ роту... первое дальнее плаванье... офицерскій задоръ браваго моряка... и дѣйствительная уже любовь

къ морю, въ болѣе зрѣлые годы. Теперь онъ чувствовалъ себя какъ бы раздѣленнымъ на-двое. Въ немъ одномъ точно жили два совершенно различныхъ существа, при чемъ одно прощалось съ болью со всѣмъ своимъ прошлымъ, любило и страдало, другое—безпощадно анализируя, критиковало и даже какъ бы подсмѣивалось съ холоднымъ безстрастіемъ посторонняго зрителя надъ наивными, по его мнѣнію, муками перваго. И вдругъ, точно въ театрѣ: взвился занавѣсъ, и встала передъ глазами картина ужасной катастрофы послѣдней ночи на морѣ. Краевъ до полной иллюзіи слышалъ страшный трескъ отъ врѣзавшагося носомъ въ бортъ *Баяна* встрѣчнаго парохода... и потомъ оглушающій лязгъ желѣза, и визгъ, и какой-то вой и свистъ какъ бы тысячи паровозовъ, когда, давъ задній ходъ, освободившееся судно прошло вдоль пострадавшаго борта къ кормѣ несчастнаго, изломаннаго *Баяна*. Затѣмъ, этотъ кромѣшный адъ... мракъ южной, безлунной ночи... черное небо съ миріадами блестящихъ и холодныхъ звѣздъ, отчаянные вопли, крики гибнущихъ, накренившееся на сторону, съ зіяющей раной въ боку, поломанное судно... и шумъ и равномѣрный плескъ грозной, неотразимой стихіи, безпощадно поглощающей въ своей пучинѣ обезумѣвшихъ отъ ужаса людей...

Краевъ съ поразительной ясностью припоминалъ всю обстановку, предшествовавшую катастрофѣ. Въ тотъ день, какъ нарочно, у него болѣла страшно голова, — онъ помнитъ, что даже отказался отъ обѣда и не пошелъ въ каютъ-кампанію... Вечеромъ боль усилилась еще больше... погода стояла тихая, фарва-

теръ слишкомъ извѣстенъ, море спокойно — полный штиль. Онъ измѣнилъ въ первый разъ своей обычной привычкѣ ложиться только на разсвѣтѣ, пошелъ спать, осмотрѣвъ судно и отдавъ необходимыя распоряженія. Прошло часа два, — нѣтъ, даже меньше, — онъ былъ разбуженъ посланнымъ отъ помощника. Ничего не соображая, онъ бросается наверхъ... Съ быстротой молніи просыпается ясность сознанія въ мозгу, онъ схватываетъ бинокль—гибель неизбѣжна, но, полный безумнаго отчаянья, онъ все же командуетъ: «лѣво на бортъ!»—уже поздно... Да!.. Есть *отъ чего* съ ума сойти...

И Краевъ, не чувствуя усталости, все продолжаетъ ходить по своему небольшому квадратному кабинету... а въ окнахъ уже брезжется блѣдный свѣтъ наступающаго дня...

III.

Апатичное отношеніе къ окружающей обстановкѣ не покинуло Краева въ залѣ суда. Всѣ допросы свидѣтелей, формально-обвинительная рѣчь пріятеля-прокурора, рѣчи защитниковъ, взывающихъ къ справедливости и безпристрастію суда, напряженное вниманіе любопытной толпы... Вотъ мелькнуло гдѣ-то, точно сквозь туманъ, блѣдное личико Лизы, рядомъ печальное и прелестное лицо жены... Но Краевъ гляцѣлъ и слушалъ такъ, какъ будто все это ни мало его не касалось. Онъ чувствовалъ себя какъ бы ушедшимъ уже давно изъ этого міра, и все, что происходило теперь передъ глазами, казалось ему страннымъ, со-

всѣмъ ненужнымъ, комедійнымъ, ему было скучно до нельзя, и онъ ждалъ только конца.

Было уже около часу ночи. Бабушка Анна Семеновна, весь этотъ мучительный день провозившаяся съ внуками, утомленная сидѣла въ столовой, передъ недопитой чашкой чая, за чулкомъ, ожидая съ тревогой возвращенія домашнихъ, прислушиваясь и вздрагивая при каждомъ малѣйшемъ шорохѣ. Наконецъ, среди ночной тишины пустого почти дома раздался рѣзкій отрывистый звукъ колокольчика, и чрезъ минуту въ столовую быстрыми шагами вошла запыхавшаяся Лиза.

— Оправдали!

Увидя стоящую на столѣ чашку, она съ жадностью поднесла ее къ губамъ и, громко глотая, выпила залпомъ холодный чай. Анна Семеновна поспѣшно перекрестилась, нервно двигая рукой.

— Господи... Господи... Ты... Ты... Охъ... Слава тебѣ... Господи!.. Ты... Слава Богу... Слава Богу!

Она поднялась съ своего мѣста и, смѣясь тихимъ, радостнымъ смѣхомъ, вытирая катящіяся въ то же время изъ глазъ невольныя слезы, спотыкающейся походкой поплелась къ дверямъ, навстрѣчу сыну. Но у дверей она вдругъ пошатнулась, схватилась за косякъ и опустилась на стоящій тутъ же стулъ.

— Ли-зо-чка... во-ды!—крикнула она испуганно.

Встревоженная Лиза бросилась къ матери. Раздался звонокъ. Послышались легкіе шаги Варвары Борисовны, за ней слѣдомъ шелъ герой печальной

драмы. Онъ былъ страшно блѣденъ, но лицо его ничего не выражало, кромѣ тупой, до крайнихъ предѣловъ дошедшей усталости. Увидѣвъ мать, онъ молча нагнулся къ ея рукѣ и, поцѣловавъ, хотѣлъ итти дальше. Варвара Борисовна удержала его.

— Ты куда?

— Въ кабинетъ,—отвѣтилъ онъ коротко, стараясь высвободить изъ рукъ жены рукавъ своего сюртука.

— Ты съ ума, кажется, сошелъ! — изумленно воскликнула Варвара Борисовна. — Мы будемъ еще ужинать, и ты долженъ оставаться съ нами. Теперь уже довольно быть медвѣдемъ. Наконецъ, ты долженъ разсказать все подробно мамѣ, — укоризненно добавила она,—подумай, каково ей было!

— Да, Викторъ, милый ты мой, останься... родной мой!—просила Анна Семеновна.

Викторъ Николаевичъ покорно склонилъ голову.

— Если хотите, мамочка, я, пожалуй, останусь.

Онъ шумно придвинулъ небрежнымъ движеніемъ первый попавшійся стулъ къ столу и сѣлъ.

— А разсказываютъ пускай уже другіе — меня увольте.

Лиза вышла изъ комнаты распорядиться относительно ужина. Анна Семеновна, опираясь на руку невѣстки, подошла тоже къ столу и расположилась около сына.

— Ну... ну... такъ какъ же... какъ все это было? Да говорите же,—нетерпѣливо спрашивала она, глядя умоляющими глазами и на сына и на его жену.

— Ахъ, вотъ мученье-то! Я думала, по крайней мѣрѣ, разъ двадцать, что умираю... Право!.. Всѣ эти

свидѣтели, допросы... разспросы... Вотъ глупая формальность! И для чего, когда все ясно, какъ бѣлый день! — оживленной скороговоркой, перескакивая съ одной мысли на другую и не договаривая фразъ, разсказывала Варвара Борисовна.

— Но какую рѣчь сказалъ Геннадій Павловичъ! Все возможно было забыть, все!.. Такъ вѣско, дѣловито... съ достоинствомъ и прочувствованно!..

— Ну, а прокуроръ?.. Ты, кажется, боялась... Онъ высказывался тебѣ раньше... будто сомнѣвается въ успѣхѣ?..

Варвара Борисовна засмѣялась.

— Пугалъ, пугалъ, пугалъ нарочно, для сохраненія своей прокурорской важности—ха, ха, ха, ха! А самъ теперь такую рѣчь сказалъ, такое поле открылъ для краснорѣчія Геннадія Павловича—чудо!—и она залилась звонкимъ, раскатистымъ смѣхомъ.

Викторъ Николаевичъ нервно вздрогнулъ.

—·Какъ ты смѣешься!—замѣтилъ онъ женѣ.

Она схватила его за голову и громко чмокнула въ обѣ щеки.

Онъ слегка наморщился.

«И зачѣмъ это она такъ шумно проявляетъ свои чувства?»—подумалъ онъ, глядя съ досадой на жену, на всю обстановку, и нетерпѣливо стремясь какъ можно поскорѣе остаться одному, совсѣмъ одному.

— Видали вы глупаго? Ха, ха, ха! — продолжала смѣяться Варвара Борисовна.—Все кончено... побѣда... побѣда... ура!.. а онъ продолжаетъ киснуть!.. Викторъ, да Викторъ же!—тормошила она мужа.

Она была неузнаваема: куда дѣлись ея выдержка,

ея ненависть къ дисгармоніи, ко всему рѣжущему ухо и глазъ, ея всегда обворожительный обликъ изящной женщины? Упоенная успѣхомъ, который она приписывала, главнымъ образомъ, себѣ, своимъ хлопотамъ, своему умѣнью добиться желаемаго, своей власти надъ мужскими сердцами, чувствуя себя побѣдительницей, спасшей всю семью отъ опасности, она не могла и не хотѣла владѣть собой въ эту минуту. Она распустила вожжи и не заботилась уже больше о красотѣ, гармоніи, обаяніи внѣшности. Что-то самодовольное, хвастливое, порой просто рѣзкое и вульгарное проглядывало теперь въ ея всегда мягкихъ кошачьихъ движеніяхъ, слышалось въ звукахъ обыкновенно гармоничнаго, даже слащаваго голоса.

Вошла Лиза, за ней—горничная, съ блюдомъ горячихъ котлетъ.

— Уйдите, — отослала ее Лиза, какъ только та поставила блюдо на столъ, — я сама достану, что нужно, изъ буфета.

— Ахъ, ахъ, какъ вкусно! — радостно захлопала, по-дѣтски, въ ладоши Варвара Борисовна,—вотъ я-то проголодалась! Mercі, Лизочка,—кивнула она Лизѣ, принимая отъ нея тарелку.—Викторъ, кушай, милый!

— Не хочется, — односложно отвѣтилъ Викторъ Николаевичъ.

— Ну, однако, что же это за мучители! — разволновалась Анна Семеновна.—Разсказывайте же мнѣ дальше-то какъ было? Свидѣтели какъ?..

— Ахъ, тамъ были нѣкоторые изъ спасшихся,— воскликнула Варвара Борисовна, закрывъ лицо ру-

ками. — Ужасно... эти разсказы очевидцевъ! Но всѣ показанія въ пользу Виктора.

— Иначе и быть не могло, — горячо произнесла Лиза, — одинъ Артамоновъ велъ себя возмутительно.

— А что?—обернулась къ ней съ живостью старуха.

— Да, да, да! Негодяй!—подтвердила Варвара Борисовна слова Лизы.

Анна Семеновна покачала головой.

— Вотъ не ожидала! Такой милый молодой человѣкъ.

— Я тоже не ждала, — продолжала съ прежней горячностью Лиза, — такъ подло предательски все время взваливать вину на одного Виктора, чтобы обѣлить себя... Клеветать, лгать, бояться даже легкой отвѣтственности — возмутительно! Онъ такъ много былъ обязанъ Виктору.—Возмутительно!

— Нисколько!—откликнулся Краевъ,—по человѣчеству!

— То-есть, какъ же по твоему? По человѣчеству нужно быть неблагодарнымъ и низкимъ?

— Нисколько! Онъ просто берегъ свою шкуру, не зналъ исхода дѣла, боялся—вотъ и все.

— Но это не давало ему права клеветать на другого?

— Спасалъ себя.

— Ну, бросьте, дѣти, спорить, — вмѣшалась Анна Семеновна,—слава Богу, кончилось... и у всѣхъ у насъ каменная глыба съ сердца свалилась... Такое счастье! Конечно, воспоминанія страшныя, но все миновало! И чего-чего не вынесетъ человѣкъ,—она тяжело вздох-

нула,—все вынесетъ! Главное—была бы собственная совѣсть спокойна, а въ несчастіяхъ, посылаемыхъ судьбою, одинъ Господь воленъ, и въ Немъ наша опора, наша сила. А, что же ты, милый, такой грустный, будто и не радъ? — участливо спросила она сына, нѣжно взявъ его за руку.

— Нечему радоваться-то очень, — отрывисто отвѣтилъ Краевъ.

Анна Семеновна смутилась.

— Какъ! Какъ нечему!.. вѣдь... вѣдь, тебя же оправдали?

Краевъ горько усмѣхнулся.

— Радость небольшая: судили добрые знакомые. Хорошо, что и другого капитана оправдали, не то,— онъ злобно сверкнулъ глазами, — я бы протестовалъ противъ оправдательнаго вердикта.

Анна Семеновна, широко раскрывъ глаза, испуганно глядѣла на сына.

— Неужто было бы лучше, еслибъ тебя не оправдали?

— Лучше.

— Ахъ, да оставьте его, мама! — нѣсколько раздражительно вступилась Варвара Борисовна: — вы видите, онъ еще разстроенъ, иначе не говорилъ бы такихъ нелѣпостей.

Лиза вспыхнула, ей хотѣлось вмѣшаться въ разговоръ, но, боясь быть рѣзкой по отношенію къ Варварѣ Борисовнѣ, она подавила въ себѣ это желаніе, рѣшивъ лучше молчать и слушать.

— Ахъ, Витя, какъ же это ты такъ? — совсѣмъ ужъ растерянно заговорила снова мать. — Такое

счастье для всей семьи, а ты... Это, знаешь — даже стыдно. Тяжело, кто говоритъ, но упрекать себя не за что, такъ было, значитъ, суждено — ты человѣкъ честный... А несчастье можетъ случиться со всякимъ. Говорить же такія вещи, имѣя семью, недостойно.

— А какъ ты полагаешь, еслибъ я былъ послѣдній прохвостъ и жуликъ, для моей семьи былъ бы меньшимъ счастьемъ благополучный исходъ дѣла? — иронически спросилъ Краевъ.

Анна Семеновна разсердилась.

— Ты... ты... говоришь... ужъ я и не знаю что... такъ разговаривать нельзя... Я не хочу!.. Сравнивать себя съ прохвостами, съ какими-то жуликами... это... это безобразіе полное.

Она готова была расплакаться отъ обиды за него, тогда какъ онъ видимо даже не слышалъ ея горячей, взволнованной рѣчи. Онъ шагалъ по комнатѣ, теребя свою бородку, закусывая усы, и говорилъ, обращаясь скорѣе къ самому себѣ, чѣмъ къ окружающимъ.

—Это удивительная вещь, право... Семья!.. Какъ будто семья должна убивать личную физіономію человѣка!.. Семья... Для семьи, во вниманіе къ семейному положенію!.. Тутъ законы нравственной жизни, а вамъ говорятъ—семья!.. Пошлость какая-то въ результатѣ.

— Съ такими взглядами не слѣдуетъ жениться,— заявила обиженнымъ тономъ Варвара Борисовна.

— Что ты говоришь?—обернулся къ женѣ Краевъ.

— Я говорю, жениться не слѣдовало.

— Нѣтъ, зачѣмъ же ты это на личную почву?.. Я... вообще. Человѣкъ долженъ жить свободно, а семья должна не стѣснять, а помогать.

— Чѣмъ же я... Чѣмъ же мы мѣшаемъ?

— А, да нѣтъ же, не я, не мы!—съ досадою возразилъ Краевъ. — Я говорю вообще, понимаешь — вообще!

— А хоть бы и вообще,—снова заговорила Анна Семеновна,—ты говоришь нехорошія вещи. Семья — дѣло святое, и настоящаго семьянина она стѣснять не можетъ, и отъ тебя, тѣмъ болѣе, это слышать обидно, да!

Краевъ улыбнулся съ грустной улыбкой.

— Я такъ далекъ отъ мысли обижать кого бы то ни было, мнѣ просто хочется высказаться. Я много думалъ и вотъ беру фактъ, какъ онъ есть: семья — вѣдь, нельзя же спорить противъ этого,—всегда усложняетъ всякое жизненное положеніе! Мало того, какъ это ни странно, зачастую служитъ оправданіемъ даже дурныхъ поступковъ.

Лиза пытливо и удивленно смотрѣла на брата.

— Да, да, да!—подтвердилъ онъ, замѣтивъ этотъ взглядъ, — я сейчасъ объясню мою мысль, и, можетъ быть, она не покажется такой странной... Ну, вотъ возьмемъ хоть такой примѣръ: воръ что-ли какой-нибудь, укралъ онъ... Его судятъ, и онъ несетъ законную кару, не такъ-ли? А украдь онъ, чтобы накормить *свою семью*, если не вовсе оправдаютъ—смягчатъ наказанье. Я ничего не имѣю противъ этого, но отчего же, скажите, еслибъ этотъ же самый воръ укралъ съ цѣлью накормить десятокъ не своихъ, а чужихъ дѣтей, его назовете вы сумасшедшимъ, его поступокъ неестественнымъ?.. Когда же для *своей* семьи, для кровныхъ *своихъ* дѣтей, — это чуть не ге-

роизмъ, и сейчасъ же произносятъ трогательныя слова: «во вниманіе къ семейному положенію и т. д.». Ну, скажите, развѣ я не правъ?

— Нѣтъ! — рѣшительнымъ тономъ отрѣзала старуха,—и неправъ ты потому...

— Ахъ, да что вы мнѣ будете говорить! — поспѣшно перебилъ ее Краевъ, — да въ моемъ-то, въ моемъ-то дѣлѣ эта самая семья, думаете, играла маловажную роль? Этого мало... Теперь, когда я говорю, что легче бы принялъ кару, чѣмъ милость,— этимъ возмущаются. Меня не понимаютъ и требуютъ, чтобъ я, напротивъ того, радовался бы милостивому рѣшенію суда и главнымъ образомъ именно потому, что я семьянинъ, что у меня семья!!

— Ну, ну, ну... ну хорошо, пускай ты правъ,—съ покорностью согласилась огорченная Анна Семеновна.— А что ты скажешь о тѣхъ, кто идетъ безропотно за своимъ главой въ Сибирь, на Сахалинъ... и дѣлитъ съ нимъ тамъ позоръ, и горе, и нужду?—дрожа своей сѣдой головой, спросила она взволнованнымъ голосомъ.

Краевъ, пораженный неожиданнымъ поворотомъ разговора, слегка смутился.

— Не знаю,—медленно произнесъ онъ, присаживаясь снова къ столу, — но... но, мнѣ кажется легче одному... и тамъ.

Лиза вздрогнула. Варвара Борисовна, съ какой-то неопредѣленной улыбкой, пощипывала кусочки бѣлаго хлѣба и машинально клала ихъ въ ротъ. Старуха поникла головой.

— Я не отрицаю святости самоотверженія этихъ женщинъ,—сказалъ тихимъ голосомъ Краевъ,—передъ

подвижницей, героиней, я преклониться былъ бы готовъ, но развѣ отъ этого легче? Я не говорю, бываютъ исключенія, когда все идетъ какъ-то ладно и складно... Не знаю отчего, но должно быть бываетъ такъ... А вообще, въ большинствѣ случаевъ—тяжело!... Выражаютъ свою заботливость—это стѣсняетъ... Безмолвно страдаютъ—это невыносимо!... И чувствовать себя виновникомъ... Ужасно...

Онъ умолкъ, ни у кого не нашлось отвѣта. Взволнованные, всѣ разошлись по своимъ комнатамъ. И долго еще былъ виденъ свѣтъ изъ окна Лизиной комнаты, долго еще сидѣла она на маленькомъ диванѣ, задумчиво устремивъ куда-то вдаль свои глубокіе глаза и силясь разрѣшить мучительные, вѣчно остающіеся неразрѣшимыми вопросы: «отчего все это такъ сложно, запутанно въ жизни, когда въ сущности должно было бы быть и просто, и легко, и понятно?»

IV.

На другой день, уже часовъ въ двѣнадцать, начались звонки. Варвара Борисовна, одѣтая въ бѣлое платье, изъ легкой шерстяной матеріи, въ своей небольшой, уютной, цвѣта терракоты, гостинной, принимала многочисленныя поздравленія. Пріѣхала и губернаторша—высокая полная брюнетка лѣтъ сорока.

— Очень рада, моя дорогая,—громкимъ, сочнымъ голосомъ заговорила губернаторша, обращаясь къ встрѣтившей ее возлѣ дверей Варварѣ Борисовнѣ. — Мы всѣ искренно страдали за васъ и теперь искренно всѣ радуемся. Bonjour, Геннадій Павловичъ, — протя-

нула она дружески руку, находившемуся тутъ же адвокату, герою вчерашняго торжества, — ваша рѣчь была настоящій chef d'œuvre. Моя милая Анна Семеновна,—губернаторша подошла къ сидящей на диванѣ старухѣ,—сердечно рада!... Я сама мать и понимаю, какъ вы страдали... M-lle Lise,—привѣтливо улыбнулась она Лизѣ, поднявшейся ей на встрѣчу, — всѣ знаютъ, какая вы чудная сестра... Поздравляю...

Она нѣсколько покровительственно, какъ подаютъ старшіе младшимъ, подала руку Лизѣ и сѣла на предложенное ей любезно Варварой Борисовной мѣсто.

— Я все время порывалась къ вамъ, моя дорогая но...—губернаторша запнулась.—Вы понимаете... оффиціальное положеніе моего мужа...—пояснила она многозначительно,—неловко... вы понимаете?.. Надо было ждать, пока все выяснится, хотя мы ни на минуту не сомнѣвались въ этомъ концѣ, но... опять это несносное «но»... Вы понимаете меня, не правда ли?

Варвара Борисовна любезно наклонила голову.

— А мы женщины,—ораторствовала губернаторша,—должны быть помощницами своихъ мужей!

Она любила при всякомъ удобномъ случаѣ изрекать истины, считая своею непремѣнною обязанностью направлять умы, поддерживать твердость нравственныхъ устоевъ среди мѣстныхъ дамъ и вѣрила слѣпо въ неотразимую силу своего слова и въ свое вліяніе.

— Желаніе души и сердца—все нужно покорить. Положеніе мужа, тѣмъ болѣе такое оффиціальное, — и конецъ! Вы сами женщина съ тактомъ, вы меня поймете...

Варвара Борисовна снова наклонила голову.

— Ну, а какъ онъ самъ—нашъ бѣдный страдалецъ?

— Ничего, mercі. Мы его не тревожимъ сегодня: онъ плохо спалъ всѣ эти ночи.

— Да, да, да!...—закивала головой губернаторша.— Ахъ, я такъ хорошо все это понимаю... Ужасно!... И вы... Перенести такое горе, бѣдняжка!... Это героизмъ!...

— Что дѣлать!...—Варвара Борисовна кротко улыбнулась.—Вы сами сейчасъ сказали и совершенно вѣрно: жена—помощница мужу.

— И печальница,—авторитетно подтвердила губернаторша. — Ахъ, это чудное русское выраженіе: печальница... Геннадій Павловичъ, вы нашъ знаменитый стилистъ... а? Какъ вы находите?

— Слово красивое,—небрежно проронилъ адвокатъ Геннадій Павловичъ Завадскій, мѣстный левъ, кумиръ всѣхъ дамъ, высокій, худощавый блондинъ, съ блѣднымъ, нѣсколько анемичнымъ, лицомъ и шапкой вьющихся кудрей на головѣ.

— Ну, а какъ удался вашъ базаръ?—грустно спросила Варвара Борисовна.—Мнѣ такъ и не пришлось участвовать.

— А какъ мы всѣ это чувствовали, я вамъ сказать не могу,—соболѣзновала губернаторша.—Я ужъ не говорю о кавалерахъ, они просто умирали отъ скуки безъ васъ... Вы счастливая belle-mère,—она обернулась къ Аннѣ Семеновнѣ,—а вашъ сынъ счастливѣйшій мужъ!... А я... я, моя дорогая, безъ васъ, — губернаторша выразительно взглянула на Варвару Борисовну,—совсѣмъ безъ рукъ... Вы интересуетесь базаромъ?... Плохо было, и даже очень, очень плохо!

— Что вы?

— Да, да, да! Пришлось замѣнить васъ Зоей Матвѣевной, и вышло совсѣмъ не то...

— Но отчего же? Зоя Матвѣевна такая милая...

— Д-да,—нехотя согласилась губернаторша, — но совсѣмъ не то... Manque d'éducation, и нѣтъ этого необходимаго общественнаго такта. Она помѣшана на простотѣ, а этого нельзя. Нужна извѣстная декорація, какъ говорятъ по-русски: представительство... Допустите простоту и... утраченъ весь престижъ. Наше общество утверждено правительствомъ, и мы обязаны быть оффиціальны... Простота, простота!... Простота хороша у себя дома, а не въ залѣ дворянскаго собранія, не правда ли?

Найдя весьма остроумнымъ этотъ выводъ, она засмѣялась довольнымъ смѣхомъ, потряхивая по-генеральски жирными плечами. Въ гостиной появились новые посѣтители. Вошла, только что осмѣянная, Зоя Матвѣевна, худенькая маленькая женщина, съ своимъ мужемъ, Захаромъ Ивановичемъ Ура́ловымъ, мѣстнымъ воротилой, богачомъ, въ противоположность женѣ обладающимъ громаднымъ ростомъ и геркулесовскимъ тѣлосложеніемъ. Раскланявшись съ хозяйками, онъ почтительно приложился къ ручкѣ губернаторши. Послѣ поздравленій со стороны вновь прибывшей четы, разговоръ опять коснулся базара-аллегри.

— А я такъ врагъ всѣхъ этихъ затѣй, ваше превосходительство,—басилъ добродушно Ураловъ.—Помилуйте, жена за это время окончательно и меня, и дѣтей, и весь домъ забросила; дѣти плачутъ, прислуга разбѣжалась... Положеніе убійственное!

— Ну, ты вѣчно преувеличиваешь,—сконфуженно остановила мужа Зоя Матвѣевна.—Мнѣ, напротивъ, очень совѣстно: я была плохою помощницей Софьѣ Ивановнѣ... и вообще принесла мало пользы.

— О, нѣтъ! Вы были премилая, — поспѣшила ее успокоить губернаторша,—и я, и члены комитета, мы всѣ вамъ безконечно благодарны... Конечно, — вотъ сейчасъ я говорила,—были маленькіе пробѣлы, но это отсутствіе опытности въ общественныхъ дѣлахъ... А вы не будьте эгоистомъ,—она погрозила мужу Зои Матвѣевны,—мы женщины должны принадлежать не только семьѣ, оставьте насъ хотя немножко и обществу, и добрымъ дѣламъ!...

Подъ шумокъ ихъ разговора Варвара Борисовна незамѣтно выскользнула изъ гостиной, чтобы провѣдать мужа.

Краевъ лежалъ въ кабинетѣ на своей турецкой тахтѣ. При входѣ жены онъ вскочилъ.

— Это я, чего ты испугался?

— Я задумался,—произнесъ онъ, точно извиняясь, и нѣжно поцѣловалъ руку жены.

— Я пришла тебя позвать, если можешь, выйди, пожалуйста... Неловко...

— Нѣтъ, не могу.

— Ну, право же, неловко...

— Что же дѣлать...

Варвара Борисовна постояла еще съ минуту.

— Какъ же быть?—недоумѣвающе проговорила она

— Говори всѣмъ, что я боленъ.

Она недовольно пожала плечами и направилась къ дверямъ.

— Пришли ко мнѣ Лизу,—сказалъ Краевъ.

Въ гостиной, между тѣмъ, оживленный разговоръ уже перешелъ на другую тему. Говорили о театрѣ. Геннадій Павловичъ рѣзко и безапелляціонно высказывалъ свое мнѣніе по поводу спектаклей, даваемыхъ пріѣзжей столичной трупой. Онъ считался въ городѣ знатокомъ и цѣнителемъ и самъ всегда изображалъ драматическихъ героевъ въ любительскихъ спектакляхъ.

— Помилуйте!.. Они принимаютъ насъ за алеутовъ какихъ-то, право. Пьесы скучнѣйшія, составъ труппы возмутительный. Одна Скворцова!.. Хоть и не важное положеніе занимаетъ на столичной сценѣ, но ничего, огонекъ есть, смотрѣть можно. А эта ихъ «сезонная», какъ они называютъ, пьеса *Печальные вздохи*—абсурдъ полный.

— Что вы, что вы?—горячо заступилась Зоя Матвѣевна.—Мы видѣли въ понедѣльникъ, и намъ очень понравилась.

Губернаторша укоризненно закачала головой.

— Ай-ай-ай. Геннадій Павловичъ, какой вы провинціальный! Вы—и вдругъ такой провинціализмъ... какъ это говорятъ?.. квасной?.. да, да, да, именно квасной. Сколько объ этомъ писали... даже, мнѣ кажется, и пьеса есть такая, Тургенева, если не ошибаюсь, «Провинціалка». Вы помните, мы хотѣли ее ставить въ благотворительный спектакль?

— Какъ же, какъ же,—предупредительно отозвалась вернувшаяся Варвара Борисовна.

— По-моему, провинція должна быть вѣрной послѣдовательницей столицы,—продолжала авторитетно

губернаторша.—Тамъ центръ, а мы какъ радіусы, всѣ должны стремиться къ этому центру... И эта пьеса, которую вы браните, Геннадій Павловичъ, — я сама читала объ этомъ въ «Новомъ Времени» и въ другихъ газетахъ, — весь Петербургъ съ ума сводила. А вы—ай-ай-ай! Геннадій Павловичъ!.. неужели же мы такъ отстали отъ столицъ въ своемъ развитіи?.. За что вы насъ такъ унижаете?

Геннадій Павловичъ улыбнулся небрежной, снисходительной улыбкой.

— Прежде всего себя и... никого другого. Браню *я*, а большинству въ городѣ пьеса нравится... Но труппа... труппа, согласитесь, ужасна! Я прямо высказалъ это свое мнѣніе представителю ихъ товарищества.

— Ахъ, какое счастіе, что я не въ составѣ труппы и не на мѣстѣ бѣднаго представителя! — игриво воскликнула губернаторша. Эта шутка показалась ей удивительно граціозной, и, довольная собой, она опять засмѣялась своимъ сочнымъ смѣхомъ, щуря заплывшіе маленькіе глазки. Затѣмъ она поднялась съ мѣста и стала прощаться.

— А мужу я скажу,—обернулась она уже въ дверяхъ, — ты плохой начальникъ губерніи: въ твоемъ городѣ такіе заядлые провинціалы!... и кто же, кто?— Геннадій Павловичъ! Онъ не повѣритъ мнѣ даже!

— Викторъ зоветъ васъ, - шепнула Варвара Борисовна Лизѣ, уходя проводить губернаторшу.

Въ гостиную вошли новые гости. Лиза отправилась къ брату. Она застала его около стола разбирающимъ какія-то бумаги.

— Ты звалъ меня?

— Да, что же ты не шла такъ долго?

— Мнѣ только сейчасъ сказали, да и все равно уйти раньше было бы неловко.

Раздался рѣзкій, дребезжащій звукъ электрическаго звонка. Краевъ наморщился.

— Какъ это раздражаетъ!.. Ты не знаешь, долго тамъ будетъ продолжаться эта комедія?

— До обѣда, вѣрно.

— А ты не находишь, что все это ужасно глупо?

Лиза улыбнулась.

— Что же дѣлать? Мнѣ самой кажется иногда, что гдѣ-нибудь да живутъ же люди просто, какъ хотятъ... Но разъ попадешь въ этотъ заколдованный кругъ, въ общество,—и... подчиняешься какъ-то волей-неволей всѣмъ условностямъ.

— Вотъ видишь ли, я собственно о чемъ хотѣлъ поговорить съ тобой,—разсѣянно слушая сестру, очевидно, поглощенный теченіемъ собственныхъ мыслей, произнесъ Краевъ,—о женѣ.

— О Варѣ?—Лиза посмотрѣла на него удивленно.

— Да... Мнѣ кажется, ты относишься къ ней не совсѣмъ справедливо.

— Изъ чего же ты это заключаешь?

— Такъ... какъ-то чувствуется... Неуловимо вѣдь это... Изъ словъ, случайно брошенныхъ... часто совершенно непроизвольныхъ выраженій глазъ, лица... образуется понятіе. И вотъ у меня сложилось такое.

— Что же ты видишь... несправедливаго... въ моемъ отношеніи... къ ней?—проговорила нѣсколько смущенно, запинаясь Лиза.

— Ты ея не любишь.

Лиза вздрогнула.

— Вотъ видишь ли, ты у насъ, вѣдь, прирожденная пуританка,—онъ ласково, какъ ребенка, погладилъ по головѣ сестру, — и не по убѣжденію ты до этого дошла, а... прямо-таки прирожденная... Позволь, дай мнѣ договорить... Ну, и въ силу этого своего свойства, на все въ жизни смотришь какъ-то примитивно: или *дурно*, или *хорошо*... но ты забываешь, что бываетъ еще: хорошо, да *не совсѣмъ*, и дурно, да *не очень*.

— Я вовсе не такъ узко смотрю на вещи.

— Позволь, ты на меня не обижайся... Я, вѣдь, тебя очень высоко ставлю, ты это сама знаешь. И я согласенъ: ты, можетъ быть, и въ правѣ такъ много требовать отъ другихъ, потому что сама безупречна, но, вѣдь, такихъ женщинъ, какъ ты, очень мало... а Варя,—онъ остановился, какъ бы подыскивая слово,—Варя женщина съ умомъ и нѣжнымъ сердцемъ, но... какъ бы это выразиться?.. она немножко... Ну, да я прямо скажу,—немножко куколка... И вотъ этой ея чисто-женской слабости ты простить не можешь.

Лиза порывалась что-то сказать,

— Нѣтъ, постой, дай мнѣ договорить до конца,—остановилъ онъ ее.—Варя—хрупкое, изнѣженное созданье, и она всегда останется такой, какія бы испытанія ни послала ей судьба. Въ этомъ ея истинное несчастье... а, пожалуй, и счастье. Она хорошенькая женщина,—вотъ причина: она привыкла и требуетъ, какъ должнаго, чтобы съ ней няньчились, ею восхищались; а эти ея маленькіе недостатки хорошенькой

женщины ты возводишь въ преступленія, забывая о достоинствахъ.

— Нѣтъ, Викторъ, я не согласна, — прервала его рѣчь взволнованная Лиза,—дай и мнѣ тоже сказать, что я думаю. Мы никогда не касались этого предмета, но разъ ты началъ, я тоже хочу говорить.

— Говори.

— Я не буду касаться твоей жены исключительно. Меня задѣла и интересуетъ общая сторона вопроса. Зачѣмъ ты хочешь мнѣ не симпатичное сдѣлать симпатичнымъ и привить мнѣ взгляды, для меня органически невозможные?

— Да не то вовсе!.. Не то! Терпимѣе, я говорю, терпимѣе надо относиться къ людскимъ слабостямъ— вотъ и все.

— Что значитъ терпимѣе? Я и безъ этого, ты знаешь, отношусь очень мягко ко всѣмъ человѣческимъ слабостямъ, но симпатизировать имъ для меня невозможно. Все прощать? Все прощать можетъ только одинъ Богъ, а человѣкъ,—онъ долженъ любить доброе, ненавидѣть злое и бороться со зломъ и помогать другимъ въ подобной борьбѣ. И потому ты меня прости, для меня непонятны слова: «женскія слабости», «слабости хорошенькой женщины»!.. Я просто оскорблена за женщину, я нахожу такой взглядъ унижающимъ.

Краевъ, грустно улыбаясь, смотрѣлъ любовно на сестру.

— Скажи ты мнѣ на милость, объясни, что означаютъ эти слабости: рядъ дурныхъ, безполезныхъ, распущенныхъ привычекъ,—вотъ и все, и признавать

за ними право на существованіе, потворствовать имъ— значитъ, по-моему, унижать женщину. И вотъ что ты мнѣ еще скажи: какъ совмѣстить? съ одной стороны поднимаются вопросы о равноправности, о необходимости женскихъ университетовъ, съ другой — утверждаютъ законность привычекъ куртизанки, низводятъ любовь на степень рабской угодливости, и женщина, если она хорошенькая, съ полнымъ сознаньемъ своей правоты можетъ сбросить съ себя всякую отвѣтственность матери, человѣка и оставаться всю жизнь до самой старости изящною куклой и... только!... А мужъ, общество поощряютъ эти «слабости», находя ихъ вполнѣ естественными, чуть ли не необходимыми!... Послушай, вѣдь это обидно!... Я понимаю, какая-нибудь ученая, что-ли, или общественный дѣятель еще имѣютъ, пожалуй, право на исключительность положенія; но почему это женщина самая обыкновенная. только потому, что она хорошенькая, можетъ небрежно относиться къ вопросамъ жизни и къ семьѣ—не понимаю! И въ твоей женѣ меня возмущаетъ это сознанье своей правоты. Ты заглянулъ мнѣ въ душу, ты угадалъ, — я не люблю ея, но это дѣло моего сердца, а такъ никто не въ правѣ упрекнуть меня въ несправедливомъ къ ней отношеніи... Я оказываю ей полное уваженіе и даже взяла на себя всю черную работу, всѣ заботы о домашнемъ строѣ, о дѣтяхъ...—Щеки Лизы покрылись мгновенно яркимъ румянцемъ.—Вотъ видишь ли,—сказала она сконфуженно,—я до того увлеклась, что стала даже какъ будто хвастать, но ты, ради Бога, не подумай,— она схватила брата за руку,—я вовсе не тяго-

щусь этимъ, для меня это большое наслажденіе, напротивъ...

Краевъ нѣжно поцѣловалъ маленькую трепещущую ручку.

— Я знаю, но... но, все-таки, ты опять не совсѣмъ справедлива, я говорю о «небрежномъ» отношеніи, въ которомъ ты сейчасъ упрекнула жену,— это неправда: какъ она любитъ и заботится о нашемъ благополучіи, о дѣтяхъ—про то я знаю, и какъ она цѣнитъ тебя, какъ благодарна—я тоже знаю, и если она не вмѣшивается въ твои заботы, ею руководитъ простая деликатность, полное довѣріе къ тебѣ.

Лиза не противорѣчила; она тоже знала обратную сторону любви и заботъ Варвары Борисовны, но, боясь снова увлечься и зайти слишкомъ далеко, рѣшила молчать.

— Но все это въ сущности пустяки,—сосредоточенно выговорилъ Краевъ, — Ты знаешь, зачѣмъ я звалъ тебя?—онъ посмотрѣлъ на нее серьезными, глубокими глазами,—мнѣ нуженъ другъ. Ты, пожалуй, опять обрушишься упреками на бѣдную жену мою,— онъ горько улыбнулся.

— Нѣтъ, Викторъ, зачѣмъ же?—смущенно пробормотала Лиза.

— Ты слишкомъ большая идеалистка и смотришь на вещи, какъ онѣ *быть должны*, а не такъ, какъ *онѣ есть*... Если я *нуждаюсь* въ другѣ, это не значитъ, что я одинокъ, что жена не хочетъ или не можетъ быть моимъ другомъ... Но бываютъ такіе случаи, когда нуженъ другой другъ—не жена... Случаи рѣдкіе... исключительные... Вотъ видишь-ли, я... я... это не рѣшено

еще, но очень можетъ быть... такъ могутъ сложиться обстоятельства... я долженъ буду исчезнуть... ну... ну... уѣхать, тамъ, что-ли...

— Куда?

— Далеко... и, можетъ быть, совсѣмъ, — отвѣтилъ тихо Краевъ, избѣгая смотрѣть на испуганную, недоумѣвающую Лизу. — Ты не пугайся... Я только на всякій случай... Хорошо... и дай Богъ тебѣ всегда оставаться такой опредѣленной, здоровой духомъ и жизнь провести чисто, а я... я... тоже... можетъ быть сумѣю побороть въ себѣ эту *слабость*,—подчеркнулъ онъ, переводя дыханіе, — но... на всякій случай, все-таки, хотѣлъ просить тебя...

Лиза крѣпко стиснула голову руками, въ вискахъ у нея стучало отчаянно, а сердце точно замерло и перестало биться. Она не смѣла проронить слова и съ жадностью, съ безумнымъ ужасомъ ловила странныя, отрывистыя слова брата, стараясь и боясь въ то же время вникнуть въ ихъ туманный, загадочный смыслъ.

— Ты не волнуйся,—продолжалъ онъ, силясь казаться спокойнымъ. — Я же говорю тебѣ, что ничего еще не рѣшено... можетъ быть, все перебродитъ... Я найду въ себѣ силы снова вернуться въ жизнь и... забыть, что я пережилъ, — произнесъ онъ съ трудомъ.—Но... но если со мною случится что-нибудь, — онъ заикнулся, — н-н-необычное... Ну, мало-ли что!.. Я знаю, дѣти найдутъ въ тебѣ и отца, и мать, но Варя будетъ одна... Такъ не бросай ее... и, помня меня, полюби!

Онъ дотронулся дрожащей рукой до ея горячаго лба.

— Обѣщаешь?

Лиза, тяжело дыша, молчала; она чувствовала, что если раскроются ея губы, оттуда вырвется крикъ, вопль,—однимъ словомъ, что-то такое, чего не должно быть въ эту минуту.

— Обѣщаешь? — услышала она снова тотъ же упорный вопросъ.

— Обѣщаю! — прерывистымъ голосомъ отвѣтила она, задерживая дыханіе, чтобъ остановить уже подступившія къ горлу слезы. Она схватила руку брата и крѣпко прижалась къ ней губами.

Послышались за дверьми шаги Варвары Борисовны.

— Никому ни слова, слышишь?—спѣшно проговорилъ Краевъ, сконфуженно освобождая свою руку и, отойдя къ столу, сталъ перебирать разбросанныя бумаги.

V.

Варвара Борисовна проснулась особенно поздно. Она устала. Цѣлый день вчера пришлось ѣздить съ отвѣтными визитами, и одной: Викторъ отказался, такъ это было неловко, непріятно! Она провела тревожную ночь. Она думала, перетасовывала обстоятельства и рѣшила, что нужно во что бы то ни стало уѣхать на мѣсяцъ, на двѣ недѣли, но уѣхать немедленно. Пора начать нормальную жизнь. Этотъ тюлень и его заботливая сестрица, кажется, совсѣмъ раскисли, а жизнь не ждетъ, нельзя терять ни минуты, надо жить. Слово «жить» Варвара Борисовна понимала по своему. Жить — значило, прежде всего, заботиться о сохраненіи молодости и красоты, вести

неустанную борьбу съ неумолимымъ временемъ, холить свое тѣло, какъ можно меньше расточать физическихъ силъ, постоянно ихъ возстановляя, и, главное, умѣть держать въ рукахъ царя міра — мужчину. Еще дѣвочкой лѣтъ десяти, Варвара Борисовна преважно заявляла, возбуждая всеобщій смѣхъ, что мужъ, по ея мнѣнію, можетъ быть не уменъ, не красивъ, не добръ, только бы былъ послушенъ. Съ годами эти требованія увеличились, но послушаніе все же цѣнилось больше всего. И вдругъ, къ ужасу своему, Варвара Борисовна замѣтила, или такъ ей показалось, что она начинаетъ утрачивать силу своего вліянія на мужа: онъ почти все время проводитъ въ кабинетѣ и спитъ даже тамъ — ну это, положимъ, пускай. Варвара Борисовна не особенно долюбливала его присутствіе въ спальнѣ. Но вотъ въ чемъ бѣда: какъ ни старалась Варвара Борисовна внушить ему сознанье, что онъ чуть-ли не погубилъ ее совершенно, и вотъ какая она кроткая, идеальная жена, — онъ, повидимому, нисколько не проникся этимъ; вмѣсто того, чтобъ удвоить свое вниманіе, свою любовь,—онъ даже какъ будто начинаетъ ускользать изъ рукъ. Нѣтъ, надо поскорѣй принять мѣры. Виновницей столь непріятнаго для себя обстоятельства она считала Лизу. Ахъ, если бы можно было совсѣмъ отъ нея отдѣлаться; какъ-нибудь убѣдить ее привести въ исполненіе свои планы, поступить на высшіе курсы. И, кто знаетъ, можетъ быть, оторванная отъ семьи, она будетъ настолько благоразумна, что выйдетъ, наконецъ, замужъ—вотъ это было бы отлично! И какъ кстати, если-бъ состоялся отъѣздъ ея именно теперь, осенью

Завѣтныя, давнишнія мечты Варвары Борисовны имѣть собственный домъ, устроенный по своему вкусу, уже осуществились. Можно даже переѣзжать, остались пустяки, только внутренняя отдѣлка комнатъ. Складъ жизни можно устроить самый симпатичный и по душѣ, одна Лиза—какъ черное пятно! Однако удивительные они люди, право, никому изъ нихъ до сихъ поръ и въ голову не приходитъ, что надо же имѣть общественное положеніе, нельзя оставаться оправданнымъ страдальцемъ—и только! А Варвара Борисовна уже позаботилась, закинула удочку толстяку Уралову относительно службы въ земельномъ банкѣ, гдѣ онъ директорствуетъ, и онъ обѣщалъ, сказалъ: сначала только придется немного перебиться, потомъ пріобрѣсти побольше акцій — и онъ проведетъ Виктора въ члены оцѣночной комиссіи, и будетъ великолѣпное положеніе! Пусть тогда скажутъ, что не она все устроила единолично.

Очень встревоженная и очень озабоченная, Варвара Борисовна наскоро приняла свою утреннюю душистую ванну, на этотъ разъ не доставившую ей ни малѣйшаго удовольствія и, отложивъ до другого времени всѣ остальные детали ухода за собой, накинувъ капотъ, поспѣшила въ кабинетъ, гдѣ застала мужа по обыкновенію въ обществѣ Лизы.

— Викторъ, я рѣшила знаешь что? Мы уѣдемъ въ Петербургъ на дняхъ, — объявила она весело. — Я давно не видалась съ родными.

— Въ Петербургъ, такъ въ Петербургъ, — отвѣтилъ равнодушно Викторъ Николаевичъ.

— Да, да, да, и какъ можно скорѣе!

Затѣмъ Варвара Борисовна сообщила свои планы относительно земельнаго банка, о полученномъ ею обѣщаніи Уралова, и отправилась подѣлиться своими соображеніями съ Анной Семеновной, у которой надѣялась найти большую поддержку.

Старуха любила ее, и тоже была послушной свекровью. Одна Лиза портила все.

Въ поспѣшныхъ сборахъ къ отъѣзду незамѣтно промелькнула недѣля, наступилъ и самый день. На вокзалѣ собралось большое общество проводить отъѣзжающихъ. Въ залѣ I класса ожидали Варвару Борисовну ея многочисленные поклонники съ бонбоньерками и букетами. Пріѣхала проводить и губернаторша. Пили шампанское. Геннадій Павловичъ сказалъ короткую, но прочувствованную, приличную случаю рѣчь. Краевъ былъ довольно оживленъ, нѣжно прощаясь съ матерью, Лизой и дѣтьми.

— Ну, смотрите, пострѣлята—шутилъ онъ,—слушаться и помнить: чуть что — мигомъ высылаю изъ Петербурга пучокъ особенныхъ петербургскихъ розогъ!

— Викторъ, ради Бога, береги себя, — просила Анна Семеновна, — впрочемъ, ты въ надежныхъ рукахъ,—улыбалась она сквозь слезы, любовно глядя на раскраснѣвшуюся отъ вина и волненія Варвару Борисовну. Лиза съ тревогой слѣдила за братомъ. О томъ чтобы поговорить съ нимъ, не могло быть и рѣчи. Она выбрала, наконецъ, удобную минуту и отвела его въ сторону отъ окружавшей ихъ плотно толпы.

— Викторъ, пиши мнѣ чаще, — серьезно сказала она брату.—Ты знаешь, я такъ за послѣднее время привыкла къ постоянному общенію съ тобой, мнѣ бу-

детъ тяжело, если ты забудешь, какъ я тревожусь здѣсь за тебя.

— Будь покойна! Береги себя, бабушку и дѣтей,— отвѣтилъ онъ, крѣпко цѣлуя ее,—за меня не бойся: видишь, я даже веселъ,—онъ улыбнулся дѣйствительно искренней улыбкой.

Раздался третій звонокъ. Послѣ рукопожатій, поцѣлуевъ, пожеланій и всевозможныхъ, довольно безтолковыхъ возгласовъ, какъ всегда это бываетъ въ послѣднюю минуту, когда каждый считаетъ своей непремѣнной обязанностью что-нибудь да сказать на прощанье, Краевы вошли въ купэ. Свистокъ—улыбающіяся лица, киванье головъ, обычное маханье платками, и поѣздъ волоча свой змѣевидный хвостъ, бросая клубы сѣро-чернаго дыма, врѣзался въ свѣтлую даль.

— Ну, слава Богу,—облегченно вздохнулъ Викторъ Николаевичъ, когда, обогнувъ небольшую возвышенность, поѣздъ оставилъ далеко за собою нарядную панораму южнаго города.—Точно я изъ тюрьмы какой вырвался—такая бодрость, и жить снова хочется. Это великая, собственно, вещь—оторваться отъ мѣста.

— Я же поэтому и рѣшила ѣхать. Видишь, я была права,—хвастливо отозвалась Варвара Борисовна.

Краевъ ласково потрепалъ жену по щекѣ.

— Да ты что—ты у меня молодецъ!

— Оттого и обидно, когда со мной не соглашаются. Если я что совѣтую, я уже знаю зачѣмъ. Ахъ, но какъ я устала, — протяжно выговорила она, сбрасывая съ себя дорожный сѣрый жакетъ. Она осталась въ такого же цвѣта юбкѣ и элегантной, изъ блѣдно-голубого шелка, рубашечкѣ-блузой.

— Распакуй подушки, будь добръ.

Краевъ вынулъ изъ ремней подушки, въ вышитыхъ, тоже голубыхъ, шелковыхъ наволочкахъ, и съ нѣжной заботливостью положилъ у окна возлѣ жены.

— Ахъ, до чего я измучена, ты не повѣришь,— шурша своими шелковыми юбками, она старалась улечься удобнѣе на скамьѣ,—живого мѣста нѣтъ.

Краевъ затуманился.

— Еще бы, хоть кого ухлопаетъ!

— Я не жалуюсь. Я такъ счастлива, что все по крайней мѣрѣ окончилось благополучно.— Она повернула къ нему розовое, улыбающееся лицо,—А ты?.. Ты очень радъ?

Онъ ничего не отвѣтилъ и только крѣпко поцѣловалъ ее. Она быстрымъ, ловкимъ движеніемъ перебралась съ своей скамьи на противоположную и, прижавшись крѣпко къ плечу мужа, заглядывала ему въ лицо плутоватыми глазами.

— Нѣтъ, скажи: ты доволенъ, что у тебя такая жена?

Онъ безмолвно гладилъ ея золотистые подвитые волосы.

— Но чего мнѣ это стоило!--перемѣнила она свой заигрывающій тонъ на печальный и прижалась еще крѣпче къ мужу.

Онъ, обнявъ ея стройную фигуру, отвернулся къ окну, разсѣянно разглядывая мелькавшія передъ глазами равнины и на горизонтѣ узкую полоску далекихъ горъ.

— Ахъ, еслибъ ты зналъ, какъ меня все мучитъ!

Краевъ встрепенулся:

— А что?

— Дѣти. Я буду очень скучать, безпокоиться за нихъ.

видимымъ наслажденіемъ улеглась на скамью, покрывшись мягкимъ полосатымъ плэдомъ.

— А ты что же?

— И я лягу,—отвѣтилъ Краевъ, хотя ему вовсе не хотѣлось спать.—А то можетъ быть, почитаемъ? Я достану дорожный подсвѣчникъ... и свѣчка есть.

Варвара Борисовна посмотрѣла испуганно.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, ложись пожалуйста. Ты знаешь, у меня будетъ голова завтра болѣть, если я не усну сейчасъ.

«И въ самомъ дѣлѣ,—подумалъ Краевъ,—лучше уснуть. Можетъ быть, сонъ самъ собой явится».

Онъ, не раздѣваясь, протянулся на диванѣ. Передъ глазами мигалъ, за синей тафтой, тусклый огонекъ фонаря, въ ушахъ равномѣрнымъ ритмомъ отдавался стукъ колесъ: та-та-та... та-та-та... та-та-та....

«Какой это размѣръ,—сталъ припоминать Краевъ,—дактиль, кажется. Удобно стихи сочинять подъ этотъ стукъ».

Онъ закрылъ вѣки. Стукъ колесъ началъ его раздражать. Ему стало душно въ купэ. Онъ вскочилъ, открылъ двери и, пройдя по узкому корридору, вышелъ на площадку вагона.

VI.

Пахнувшій въ лицо свѣжій ночной вѣтерокъ освѣжилъ его, но надоѣдливыя колеса стучали здѣсь еще громче, еще назойливѣе.

«Ну, чертъ съ ними,—рѣшилъ примириться съ этой неизбѣжностью Краевъ,—здѣсь, все-таки, лучше, чѣмъ въ купэ... вольнѣе!..»

Онъ, прислонясь къ наружной стѣнкѣ вагона, сталъ созерцать темное небо съ причудливо разбросанными по нему группами полночныхъ свѣтилъ.

«Красота»,—восхищался онъ бѣлыми огоньками звѣздъ,—«міры неизвѣстные. И никогда не постигнетъ ихъ тайны людская мудрость. Кроты, думаютъ побѣдили вселенную... толкуютъ о свободѣ,—а вездѣ тиски. Одна мысль летитъ, куда хочетъ. Впрочемъ, и она не свободна,—и тутъ тиски,—матерія, вѣсомость мозга... какой-то безобразной массы... и отъ нея зависитъ мысль. Уничтожить матерію, сорвать оковы—вотъ свобода!»

— У-ууу-у!—заунывно и протяжно прозвучало въ воздухѣ. Другой такой же звукъ отвѣтилъ въ унисонъ первому той же пронзительной нотой. Показались фонари встрѣчнаго поѣзда. И вотъ, съ шумомъ разрѣзая воздухъ, черною лентою пронесся онъ мимо.

Краевъ инстинктивно отшатнулся отъ края площадки. Замѣтивъ въ своихъ рукахъ уже потухшую папиросу, онъ почему-то бросилъ ее вслѣдъ удаляющему поѣзду.

«Одна минута... малѣйшій недосмотръ, и кончено,—подумалъ онъ,—и весь этотъ длинный, длинный поѣздъ скомканъ, разбитъ. А сколько ихъ тамъ, людей... счастливые или несчастные, но всѣ хотятъ жить...

«Вдругъ налетаетъ смерть... неожиданная, роковая... и оттого, что одинъ какой-то машинистъ проспалъ, не досмотрѣлъ!.. Ихъ много... онъ одинъ».

Краевъ вздрогнулъ,—ему стало страшно.

«И тогда была такая же темная, безлунная ночь. Ихъ было много—онъ одинъ. Но машинистъ, губя

сотни, самъ первый же погибаетъ. А онъ? Гдѣ же кара? Что это?—Ему послышался совсѣмъ близко какой-то странный звукъ, будто блескъ морскихъ волнъ.—Да, да, да!.. онѣ тутъ... вотъ лижутъ подножку вагона... вотъ поднимаются выше и, пожирая одна другую, настойчиво требуютъ вырванную изъ ихъ пучины, слѣпымъ случаемъ, жертву».

Краевъ безсознательнымъ медленнымъ жестомъ поднялъ желѣзную полоску барьера.

— Вашъ билетъ!—раздался около чей-то хриплый мужской голосъ.

Краевъ очнулся. Передъ нимъ стоялъ, въ сопровожденіи запаснаго кондуктора, сердитаго вида оберъ.

— Билетъ вашъ!—сердито повторилъ онъ.

— Сейчасъ.

Викторъ Павловичъ вернулся въ купэ. Варвара Борисовна спала крѣпкимъ сномъ. Краевъ осторожно снялъ съ крючка висѣвшую надъ ея головой дорожную сумку и подалъ требуемые билеты. Контроль ушелъ.

Краевъ присѣлъ на диванъ. Нервная дрожь пробѣжала по всѣмъ его членамъ, въ ушахъ отдавался несносный, раздражающій, все тотъ же стукъ колесъ. Краевымъ овладѣлъ какой-то паническій ужасъ, ему захотѣлось живыхъ звуковъ, живого человѣческаго голоса,

— Варя, Варя!—сталъ онъ будить жену,—Варя, да встань же.

Она вскочила, тревожно озираясь вокругъ полусонными глазами.

— А!.. Пересадка?.. Пріѣхали? Что такое?.. Билеты?.. Они тамъ,—потянулась она къ сумкѣ.

— Уже все сдѣлано, успокойся,—сказалъ онъ прерывистымъ голосомъ.—Слушай!—онъ схватилъ жену за руку,—слушай... можетъ быть, это не деликатно, эгоистично, но я... я... не могу больше... Мнѣ очень тяжело.—Онъ крѣпко стиснулъ ея руку.

— Ай! — вскрикнула она отъ боли. — Ты сумасшедшій!..

Онъ испугался самъ и сталъ осыпать поцѣлуями пострадавшую руку.

— Прости меня... прости! Не знаю, или, можетъ быть, я дѣйствительно сошелъ съ ума. Ну, спаси меня тогда, укрой, спрячь отъ меня самого, спрячь—я погибаю!

Варвара Борисовна ничего не понимала. Она была очень сердита и недовольна. Во всемъ тѣлѣ чувствовалась сладкая истома недавняго сна, а голову такъ и клонило опять на мягкую, неостывшую еще подушку, однако, мозгъ, уже начавшій смутно работать, сообразилъ, что непремѣнно нужно преодолѣть эту истому, постараться вникнуть во все, понять безсвязныя слова мужа.

Краевъ не замѣтилъ ни ея сердитаго тона, ни недовольнаго взгляда ея голубыхъ глазъ. То, что сейчасъ безпомощно билось въ его груди и, порываясь наружу, искало выхода, было такъ сильно, что заслоняло собой все остальное, всякую впечатлительность, всякую провѣрку внѣшнихъ ощущеній.

— Скажи, неужели же нельзя уйти... уйти куда-нибудь?—съ какимъ-то тупымъ отчаяніемъ спросилъ онъ жену, глядя въ упоръ на нее своими расширенными зрачками.

— Куда? О чемъ ты говоришь?

— Уйти, спастись!

«Надо прекратить это психопатическое настроеніе,—сердито подумала она,—что онъ говоритъ? Разбудилъ неизвѣстно зачѣмъ и несетъ какую-то чушь».

— Я, право, не понимаю, милый другъ, изъ-за чего ты впалъ въ такое состояніе, — постаралась произнести она какъ можно ласковѣе,—и именно теперь, когда уже все кончилось... Мы ѣдемъ, сбросивъ съ себя всякое бремя... Ты самъ же мнѣ говорилъ сегодня, что ты доволенъ и впереди ничего печальнаго нѣтъ... Матеріальное наше положеніе вовсе не такъ плохо... Если безпокоишься о мѣстѣ, и мѣсто будетъ...

— А эти стоны?

— Какіе стоны? — недоумѣвала Варвара Борисовна.

— Стоны!.. и уйти отъ нихъ некуда,— онъ покачалъ головой и указалъ на грудь. — Они всегда со мною—здѣсь... Ты меня не понимаешь, думаешь—сумасшедшій!.. Но я... я владѣю отлично всею суммою моихъ нравственныхъ способностей и сознаю, что по моей — моей, ну, пускай не винѣ — ошибкѣ, это все равно,—погибло двѣсти человѣкъ, я ихъ убійца—я... Постой же!..—остановилъ онъ раздражительно желавшую протестовать жену. — И то, что меня оправдали, уничтожаетъ меня еще больше, особенно теперь, когда я позналъ истину жизни. Ты будешь смѣяться... вѣдь это странно, человѣкъ, съ сѣдѣющей уже головой, говоритъ какъ мальчишка, но это напрасно, — познать истину никогда не поздно...

Недоумѣнье Варвары Борисовны возрастало все больше и больше.

— Можетъ быть, ты сомнѣваешься въ искренности оправдательнаго вердикта?—осторожно спросила она мужа.—Но въ этомъ ты не правъ: нѣтъ человѣка въ городѣ, который бы не былъ на твоей сторонѣ... И сами судьи...

— Нѣтъ... я не о томъ.—остановилъ онъ ее нетерпѣливымъ движеньемъ.—Слушай, слушай... да слушай же ты меня!—почти крикнулъ онъ, но сейчасъ же точно испугался самъ своего окрика и перешелъ къ шопоту:—Увези ты меня... ну, увези!... Бросимъ все, уѣдемъ!.. Кто знаетъ: чужой народъ... языкъ... жизнь, другія условія... Можетъ быть, я смогу еще стать человѣкомъ!..

Варвара Борисовна совсѣмъ не ожидала подобнаго оборота разговора. Она даже растерялась, не знала что отвѣчать.

— Вотъ видишь ли... Это такъ странно,—начала она съ разстановкою, послѣ минутнаго молчанья.—Я всегда тебя считала такимъ... здравомыслящимъ, мой милый... милый!..—постаралась смягчить вырвавшееся слово и стала гладить поникшую голову мужа,—ей не на шутку было жаль его.—Но... но... ты долженъ самъ понять, какъ все это странно, твои слова... Ты не сердись... Ты пойми... Ты знаешь, я тебя люблю, я готова на жертвы, но... но то, что ты хочешь, возможно только въ романахъ... Уѣхать... бросить... А домъ продать за грошъ? Остаться ни съ чѣмъ? Наконецъ, куда же ѣхать? Вѣдь мы не дѣти... И жертва хороша, когда она основательна!.. а... а это было бы ужъ слишкомъ неблагоразумно... Вѣдь ты со мной согласенъ, да?

Краевъ ничего не отвѣчалъ. Варвара Борисовна приняла это за знакъ согласія. Подкрѣпленная увѣренностью, что она убѣдила мужа, она продолжала говорить еще долго въ томъ же тонѣ. А въ душѣ Краева точно что обрывалось, потухало, и все становилось тамъ темнѣе и темнѣе. Варварѣ Борисовнѣ, наконецъ, надоѣло говорить.

— Надѣюсь теперь, я могу спокойно лечь спать?— спросила она съ обворожительной улыбкой.

Онъ разсѣянно кивнулъ головой.

— Ну, merci... смотри же, будь молодцомъ и ложись тоже.

Краевъ смотрѣлъ, какъ она опять стала укладываться на диванъ съ ужимками избалованнаго котика, наконецъ, нашла для себя удобное положеніе, закинула руки за голову и, тотчасъ-же почти, уснула.

«Красивая!.. — думалъ Краевъ, невольно любуясь женой.—А она не любитъ... да. Сострадаетъ теперь только. Это ужасно, когда всѣ, жена даже, только сострадаютъ! . И она права... Куда же ѣхать? Безполезно... Судъ человѣческій — лукавый судъ... Судъ Божескій всегда справедливъ, но милостивъ... Судъ собственный—безпощаденъ. К уда же уйти? И никому не нуженъ... Ей тоже не нуженъ... А сорвать оковы какъ-то жалко. Центръ тяжести—земля и ея радости, вотъ и тянетъ къ землѣ... Сомнѣваешься и ждешь этихъ радостей, и надежда далекая, смутная... все еще живетъ... А она—не любитъ, это такъ... да и быть такъ должно»...

Та-та-та... та-та-та. . та-та-та...—попрежнему отбивали свой тактъ колеса.

У-уу-у!..—протяжно просвистѣлъ паровозъ.

Подходили къ большой станціи. На горизонтѣ показалась яркая оранжевая полоса разсвѣта. Подулъ свѣжій утренній вѣтеръ. Измученный Краевъ, неудобно прислонясь головой къ спинкѣ дивана, дремалъ безпокойнымъ сномъ.

VII.

...Былъ ясный осенній день, одинъ изъ тѣхъ, когда вамъ кажется, что лѣто еще въ полномъ своемъ разгарѣ, только въ воздухѣ вѣетъ неуловимая струя, какой-то особый запахъ, напоминающій объ осени. Солнце не жгло, а нѣжно грѣло, лаская своими мягкими лучами. На береговомъ бульварѣ, съ наслажденіемъ вдыхая влажный морской воздухъ, любуясь переливами волнующагося моря, сидѣла Лиза съ книгой въ рукахъ. Тутъ же рядомъ съ дочерью помѣстилась и мать. Поодаль, почти у самаго моря, бѣгали дѣти.

Лиза похудѣла за это время, глаза ея стали будто глубже и задумчивѣе.

— Нѣтъ, ты ошибаешься,—обратилась она къ матери, продолжая начатый раньше разговоръ,—веселость его напускная. Вчера, можетъ быть, только что съ поѣзда онъ и искренно обрадовался: все же вернулся домой, насъ всѣхъ увидѣлъ, а сегодня...

— Что же?.. Я ничего не замѣтила.

— Не хорошъ,—покачала Лиза головой.

— Не знаю... Я нашла его молодцомъ. Онъ будто поправился даже. Ну, что же? Теперь, кажется, онъ можетъ быть спокоенъ вполнѣ.

— Конечно... чего еще?.. Даже грѣшно было бы. Дѣло кончилось великолѣпно, мѣсто въ виду прекрасное, въ семьѣ счастливъ. Нечего роптать: дѣти прелестныя, жена очаровательна, любитъ его...

Лиза низко наклонилась надъ книгой, чтобы скрыть отъ матери краску, залившую мгновеннымъ заревомъ ея щеки.

Вчера ей особенно рѣзко бросилась въ глаза вся фальшь показной любви Варвары Борисовны и отсутствіе дѣйствительной теплоты въ ея отношеніи къ мужу. За время путешествія она, какъ казалось Лизѣ, пріобрѣла особенный командующій тонъ, чего прежде будто бы не было, или, можетъ, не проявлялся этотъ тонъ такъ рѣзко; но Лизу поразилъ и онъ и полная безвольность брата въ связи съ какой-то странной лихорадочной живостью. Поговорить не пришлось— братъ, точно умышленно даже, какъ будто избѣгалъ остаться съ ней наединѣ. Лиза поспѣшила успокоить его на этотъ счетъ. Она и сегодня, несмотря на жгучее желаніе побыть съ братомъ и разспросить его подробно обо всемъ, сейчасъ послѣ завтрака ушла изъ дому, чтобъ онъ не заподозрилъ ее въ навязчивости, и даже увела съ собою мать и дѣтей. Ей было очень больно, ей мучительна была эта неизвѣстность недоговоренность, и ненужная и обидная. «Вѣдь, только переступить едва замѣтную, чувствительную для нихъ обоихъ грань—и все станетъ ясно, но откуда эта грань выросла и какъ переступить ее?»

— Мама, а мама!.. — Лиза подняла голову отъ книги, въ которой ровно ничего не прочла.

— Что?

— Тебя не поразилъ ея тонъ?

— Чей тонъ?

— Да Варинъ,—досадливо произнесла Лиза, не понимая, какъ это мать не догадывается, о чемъ она говоритъ.

— Какой же такой тонъ?

— Приказывающій!.. А онъ точно не замѣчаетъ, безпрекословно повинуется, точно всякую самостоятельность, за время пребыванія въ Петербургѣ, потерялъ.

— Не знаю,—недоумѣвала Анна Семеновна, — я ничего въ этомъ ни страннаго, ни обиднаго не вижу. Она столько вынесла, столько для него сдѣлала... если немножко и покомандуетъ—что-жъ за бѣда?

«Слабости хорошенькой женщины».—Лизѣ припомнился ея разговоръ на эту тему съ братомъ, еще до его отъѣзда въ Петербургъ. Что же, можетъ быть, они дѣйствительно правы!.. Она опять нагнулась къ книгѣ, чтобы не продолжать разговора: — пожалуй увлечешься, скажешь лишнее, безполезно огорчишь мать.

— Дѣти!.. Осторожнѣе!..—крикнула Лиза черезчуръ уже разыгравшимся мальчикамъ.

Волненіе въ морѣ усилилось. Волны, набѣгая и разбиваясь о нагроможденныя груды камней, разлетались далеко пѣнистыми каскадами мелкихъ брызгъ.

— Идите наверхъ на дорожку!

Мальчики, визжа и захлебывась отъ смѣха, улепетывали отъ грозно надвигавшейся волны. Море играло самыми капризными тонами: на горизонтѣ почти безцвѣтное, оно мало-по-малу принимало сначала сѣрый

оттѣнокъ, потомъ голубоватый, потомъ какой-то лиловый и наконецъ, бурное и негодующее, обрушивалось на берегъ своими мутными волнами бураго цвѣта; а тамъ, разбившись о камни, высоко взлетали на воздухъ бѣлоснѣжные хлопья пѣны, мѣшаясь съ брызгами уже прозрачной изсиня-зеленоватой воды.

Лиза молча любовалась этою дикой, страстной игрой моря съ землей.

— Ахъ, хорошо,—вырвалось у нея, и она почувствовала, что часть душевной тяжести — тотъ гнетъ, который она ощущала, какъ бы оторвался отъ нея и унесся куда-то въ воздухъ, вмѣстѣ съ этимъ возгласомъ.

— Да, хорошо,—задумчиво повторила за ней мать.

...На одной изъ оживленнѣйшихъ улицъ города, чета Краевыхъ только вчера вернувшаяся изъ своего путешествія, съ большимъ вниманіемъ осматривала работы въ почти уже законченномъ собственномъ домѣ.

Варвара Борисовна, какъ только встала,—а встала она сегодня поздно, уже послѣ общаго завтрака,—такъ и потащила мужа осматривать ихъ будущее жилище; она сгорала нетерпѣніемъ устроиться какъ можно скорѣе въ собственномъ гнѣздѣ, гдѣ каждый крючокъ будетъ вбитъ по ея вкусу. Теперь они находились въ небольшой крадратной гостиной, съ лѣпными стѣнами и потолкомъ. Варвара Борисовна, съ аршиномъ въ рукѣ, вымѣряла комнату, тщательно записывала на бумажкѣ свои разсчеты и соображенія.

— Вотъ ты спорилъ, что диванъ можетъ стать

въ этомъ простѣнкѣ,—укоряла она мужа, — видишь, семь вершковъ лишнихъ.

— Я вовсе не спорилъ,—весело откликнулся Краевъ,—мнѣ только такъ больше нравится.

Онъ имѣлъ видъ довольно бодрый, только сталъ держаться какъ будто болѣе сутуловато, да въ глазахъ мелькало иногда какое-то неуловимое новое выраженье.

— И совсѣмъ это некрасиво, ты ничего не понимаешь.

Краевъ добродушно махнулъ рукой.

— Ну, Богъ съ тобой, дѣлай, какъ знаешь, а я ужъ усталъ.—Онъ присѣлъ на подоконникъ.

— Тише, тише!—закричала Варвара Борисовна,—испортишь краску, она еще слишкомъ свѣжа.

— Я думаю, я тоже здѣсь хозяинъ отчасти,—шутливо отвѣтилъ Краевъ,—твое «хозяйское добро» жалѣю не меньше тебя.

Варвара Борисовна сконфузилась. Чтобы загладить свою выходку, она поспѣшила къ мужу.

— Ну, *хозяинъ*,—кокетливо передразнила она его,—цѣлуй!..

Онъ посадилъ ее къ себѣ на колѣни и крѣпко, не отрываясь, сталъ цѣловать ея пухлыя губы, потомъ щеки, шею, руки.

— Ну, довольно!.. Пошла, работай... — поправивъ ея растрепавшіеся на лбу и вискахъ волосы, онъ спустилъ ее съ колѣнъ. Издали доносились голоса людей, стукъ молотка. Ставили балконъ.

— Пойдемъ туда, — быстрымъ шопотомъ проговорила Варвара Борисовна, — рѣшетку смотрѣть, я еще не видѣла.

Краевъ отрицательно покачалъ головой.

— Солнце... печетъ...

— Помилуй, тамъ тѣнь, балконъ выходитъ на сѣверъ... Ахъ, посмотри: прелесть какая!.. — Она повернула его голову и вмѣстѣ съ нимъ высунулась сама изъ окна. — Смотри, какая роскошь: растенія... розы... кипарисы... А небо?.. а воздухъ?.. ароматъ!.. нѣга!..

Она съ восторгомъ, съ изысканной чувственностью упивалась волнами ароматическаго воздуха, подставляя свое лицо легкимъ поцѣлуямъ свѣжаго морского вѣтерка. Такимъ наслажденіямъ она отдавалась свободно: вѣдь, здѣсь не грозило разрушеніе, здѣсь это красивое, гибкое тѣло только обновлялось, крѣпло и почерпало здоровье.

— Что-жъ ты молчишь?.. Развѣ не хорошо?.. — тихо-тихо спросила она мужа, точно боясь нарушить своимъ голосомъ разлившуюся во всемъ ея тѣлѣ истому.

— Да... не знаю, право... — медленно протянулъ въ отвѣтъ Краевъ.—Синее небо это и солнце... и зелень—все такъ опредѣленно и... нарядно черезчуръ... Вотъ ты смѣешься, и каждый, пожалуй, смѣяться будетъ, а меня раздражаетъ эта праздничная природа...

Варвара Борисовна не возражала, — она привыкла къ разнымъ его глупостямъ послѣ процесса и перестала уже обращать на нихъ вниманіе.

— Ну, пойдемъ, рѣшетку посмотримъ.

— Вотъ, молодецъ! — воскликнула Варвара Борисовна и, схвативъ его подъ руку, быстро потащила впередъ.

Столъ уже былъ накрытъ. Лиза, бабушка и дѣти сидѣли на своихъ мѣстахъ, когда запоздавшіе Краевы вернулись домой.

— Простите, простите!—весело щебетала Варвара Борисовна, шумно присаживаясь къ столу.—Мы увлеклись домомъ... Ахъ, какая прелесть потолки вышли!.. И балконъ... и ванна—восторгъ!..

— Комнаты немного низки, — замѣтилъ Викторъ Николаевичъ.

— Выше были бы неуклюжія... Ахъ, ты ничего не понимаешь!..

— Кушай, Викторъ! — прервала ее Лиза, подавая брату тарелку съ супомъ.

— Я думаю, послѣ столичнаго, наше домашнее невкусно покажется,—сказала, добродушно улыбаясь, Анна Семеновна.

— Ну, я, мамочка, плохой гастрономъ. А свое всегда вкуснѣе...

— Мама, а ты государя видѣла?.. А офицеровъ тамъ много?—приставали дѣти къ Варварѣ Борисовнѣ.

— Много, много...

— А государя ты видѣла?

— Да нѣтъ же, нѣтъ... Отстаньте!

— Что же, все время въ Павловскѣ проводили?—съ интересомъ разспрашивала Анна Семеновна сына.

— Нѣтъ... Много гдѣ были: въ Ораніенбаумѣ, въ Петергофѣ, въ Петербургъ часто ѣздили за покупками...

— Ахъ, я вамъ буду сейчасъ на него жаловаться,—заявила Варвара Борисовна. — Представьте, въ петербургскую природу, гнилую, влюбился—туманы, вѣчно

сѣрое небо, чахлая зелень,—въ этомъ находилъ прелесть! Я понимаю, тамъ *другое* можетъ нравиться: блескъ жизни веселой, беззаботной... Но я не хотѣла бы тамъ жить, нѣтъ! Страшно—соблазновъ много,— она даже вздрогнула всѣмъ тѣломъ. — А природа... бррр... отвращенье!.. Но ему нравилось...

— Ай, Викторъ, — укоризненно покачала головой Анна Семеновна.

— Она нѣсколько преувеличиваетъ,—конфузливо оправдывался Викторъ Николаевичъ. — Но, правда, яркость красокъ меня немного утомляетъ, хочется полутоновъ... Туманы по вечерамъ, сумерки, полусвѣтъ, тусклое небо успокаиваютъ нервы... мягче краски... Но это, конечно, временное настроенье... — какъ бы поспѣшилъ онъ успокоить мать.

Старуха пытливо смотрѣла на сына.

«А Лизочка права, — думала она, — онъ странный такой... держится, будто въ гостяхъ».

— Ну, я не понимаю, — продолжала она разговоръ,—по моему гадость все это, что ты хвалишь, и какъ же сравнить... Нѣтъ, милый, ты напускаешь на себя блажь, больше ничего...

— И я вотъ то же говорю, — съ какою-то злобной радостью подтвердила Варвара Борисовна.

Лиза враждебно взглянула на невѣстку.

— Пойдемъ сегодня всѣ на бульваръ,—неожиданно перемѣнилъ разговоръ Викторъ Николаевичъ. — Сегодня что—аллегри?

— Нѣтъ, это завтра.

— Ну, сегодня пойдемъ, все-таки, музыку послушать.

— Вотъ это отлично!—подхватила Варвара Борисовна,—хотя послѣ павловскаго оркестра уши будутъ вянуть отъ нашихъ доморощенныхъ талантовъ, но зато всѣхъ знакомыхъ увидимъ. Погода чудная...

— Мнѣ кажется твоя комната, въ новомъ домѣ, черезчуръ мрачной, — точно стѣсняясь и, въ то же время, желая заговорить съ сестрой, обратился Краевъ къ Лизѣ.

— Нѣтъ, отличная, окнами въ садъ, — все, чего я желала.

Обѣдъ кончился. Анна Семеновна поднялась съ мѣста.

— Ну, дѣтки, Христосъ съ вами, болтайте, а я пойду отдохнуть.

Лиза тоже поторопилась встать.

— Значитъ до вечера,—Викторъ Николаевичъ поцѣловалъ руку у матери,—на прогулкѣ?

— Куда мнѣ старухѣ гулять по вечерамъ, гуляйте вы, а я ужъ одна — чулокъ да пасьянсъ — мнѣ и весело.

— А ты пойдешь?—нерѣшительно спросилъ Краевъ сестру.—Пойдемъ,—прибавилъ онъ уже настойчиво,—всѣ вмѣстѣ, знаешь, я такъ люблю...

— Пойдемъ!—односложно отвѣтила Лиза, удивленная этимъ его непремѣннымъ желаніемъ отправиться почему-то на бульваръ, который раньше онъ терпѣть не могъ, находя ежедневныя прогулки цѣлаго города по вечерамъ на этомъ бульварѣ скучными и надоѣдливыми.

И вдругъ почувствовала она, что что-то рушится, ломается, ползетъ врозь, что этотъ стоящій передъ

ней человѣкъ, ея братъ, уходитъ... Ушелъ уже куда-то далеко, что самъ онъ боится... хочетъ склеить, соединить разрозненныя части и... не въ силахъ!..

VIII.

На бульварѣ гремѣла музыка. По аллеямъ бродила гуляющая толпа. На большой площадкѣ и верандѣ клуба, гдѣ были разставлены столики, обрѣталась «чистая половина» публики. На скамейкахъ, по берегу моря, подъ темнымъ пологомъ южной прохладной ночи, пріютились влюбленныя парочки. Внизу большой мраморной лѣстницы, въ ожиданіи яликовъ, собрались любители сильныхъ ощущеній, чтобы прокатиться подъ парусами. Начинавшееся утромъ волненіе хотя и спало значительно, но упрямыя волны, не желая успокоиться все еще ходили сердитыми валами по поверхности моря.

Краевы, направляясь къ клубу, шли по одной изъ боковыхъ дорожекъ бульвара. На Варварѣ Борисовнѣ было легкое газовое платье; большая очень оригинальная, вся изъ чайныхъ розъ, шляпа, надѣтая немного назадъ, красиво обрамляла своими полями ея изящное лицо. За братомъ и его женой неохотно слѣдовала Лиза. Ей было не по себѣ, совсѣмъ не того ждала она, когда вчера съ такимъ нетерпѣньемъ, съ такою радостью отправлялась на поѣздъ встрѣтить брата. И вотъ онъ вернулся. Сегодня цѣлый день прошелъ. Разговоры самые странные — прежней близости какъ не бывало. Теперь эта прогулка, ненужная, скучная. Сердце Лизы сжималось тоскливо. Зачѣмъ это? Зачѣмъ? Онъ вѣдь чувствуетъ эту фальшь, а фальшивитъ, можетъ быть,

даже передъ самимъ собой. Лизѣ хотѣлось громко окликнуть брата, кинуться ему на шею, заставить сбросить ненужное лицемѣріе, заплакать вмѣстѣ съ нимъ. Но она молча шла, только строгіе глаза ея становились все строже и строже, да суровѣе сдвигались тонкія полосы темныхъ бровей.

— Боже! Кого я вижу? Они уже здѣсь!

— Какъ же, какъ же! Развѣ вы не слыхали? Григорій Аполлоновичъ говорилъ, что видѣлъ ихъ вчера на поѣздѣ.

— Нѣтъ, мы ничего не знали!

— Здравствуйте! Къ намъ... къ намъ!.. — шумно привѣтствовало Краевыхъ цѣлое общество разряженныхъ дамъ и кавалеровъ, засѣдавшее за однимъ изъ столиковъ на верандѣ.

— Душечка, какая шляпа!—взвизгнула молоденькая блондинка, жена товарища прокурора, съ восторгомъ и съ завистью оглядывая шляпу Варвары Борисовны.

— Честь и мѣсто!—галантно подставилъ свой стулъ находящійся тутъ же Геннадій Павловичъ.—Человѣкъ! еще три стула,—приказалъ онъ пробѣгавшему мимо лакею.—Ну, что, милѣйшій Викторъ Николаевичъ, какъ поживаемъ? Видъ у васъ великолѣпный...

Но видъ у Виктора Николаевича былъ, напротивъ того, совсѣмъ не великолѣпный. Онъ глядѣлъ растерянно, широко раскрывъ глаза, и губы его, силясь изобразить привѣтливую улыбку, складывались въ некрасивую гримасу.

Море волнующееся, мрачное открывалось съ веранды во всемъ своемъ грозномъ величіи и красотѣ. Онъ забылъ его, этого вѣроломнаго друга, эту капризную,

измѣнчивую стихію... Вотъ она!.. безпощадная, величавая, здѣсь опять передъ глазами...

— Викторъ Николаевичъ!.. Викторъ Николаевичъ, да что съ вами?.. А-а! залюбовались... Послѣ холоднаго сѣвера стоитъ какъ очарованный!.. Викторъ Николаевичъ!—окликнула Краева одна изъ нарядныхъ дамъ.

— Ахъ, pardon,—извинился Викторъ Николаевичъ,— я дѣйствительно залюбовался,—съ трудомъ выговорилъ онъ, взявъ принесенный лакеемъ стулъ и, поддаваясь безотчетному чувству тоски и страха, сѣлъ, обернувшись къ морю спиной. Помимо этого ему просто было неловко и будто стыдно чего-то, и лишнимъ чувствовалъ онъ себя среди этихъ нарядныхъ знакомыхъ ему и когда-то даже милыхъ людей. Не одинъ разъ—и во время процесса, и послѣ—онъ испытывалъ приступы подобныхъ ощущеній, но никогда еще не проявлялись они такъ ярко, какъ теперь, когда изъ чуждой ему обстановки вернулся онъ опять въ свой городъ, къ тѣмъ самымъ людямъ, съ которыми сжился, къ которымъ привыкъ.

— Во-первыхъ, будемъ достойно привѣтствовать новоприбывшихъ,— объявилъ Геннадій Павловичъ.— Человѣкъ,—онъ постучалъ вилкой о стаканъ,— двѣ бутылки Клико, скорѣй!

Официантъ, размахивая бѣлой салфеткой, проворно побѣжалъ исполнять заказъ.

— Зачѣмъ это? Не надо,—протестовали Краевъ и Лиза.

— Нѣтъ, нѣтъ. нѣтъ! Непремѣнно! — отстаивала предложеніе Завадскаго остальная компанія.

— И въ самомъ дѣлѣ, господа,—весело подхватила

Варвара Борисовна,—давайте кутить! мы тоже ставимъ шампанское. Викторъ, будемъ веселиться, вспрыснемъ наше новое жилище!

— Ну, какъ же съѣздили, хорошо!

— Ахъ, отлично!

— А у насъ такая скука все время была.

— Завтра аллегри?

— Да, и представьте какая путаница вышла,—сообщала, захлебываясь, маленькая блондинка:—посадили за одинъ столъ Евгенію Платоновну и Катерину Ивановну, онѣ перессорились; Евгенія Платоновна взяла, со злости, и порвала всѣ написанные ею билетики; пришлось вновь писать, привязывать къ вещамъ,—возня страшная... У бѣдной Катерины Ивановны голова просто идетъ кругомъ!

— Отчего вы не въ духѣ сегодня, Лизавета Николаевна,—допрашивалъ Лизу красивый офицеръ, съ франтовской выправкой и лихо закрученными усами.

— Нездоровится.

— Здоровье нашихъ милыхъ симпатичныхъ, сердечныхъ!—Геннадій Павловичъ поднялъ свой бокалъ.—Далѣе не продолжаю, предоставляю каждому изъ присутствующихъ, въ свою очередь, присоединить свой собственный эпитетъ по адресу прелестнѣйшей Варвары Борисовны и милѣйшаго Виктора Николаевича, а я, чтобы не терять дорогого времени, спѣшу скорѣе выпить мою чару во ихъ здравіе... Варвара Борисовна, Викторъ Николаевичъ!—чокнулся онъ своимъ бокаломъ о бокалы мужа и жены и выпилъ залпомъ шампанское.—Вотъ—до дна!—и онъ высоко надъ головой поднялъ опорожненный бокалъ.

— Браво!—закричали присутствующіе.

Варвара Борисовна, откинувшись на спинку стула, пила медленно глотокъ за глоткомъ, любуясь искрами холоднаго пѣнящагося вина.

Однимъ глоткомъ осушивъ свой бокалъ, Краевъ вдругъ почувствовалъ приливъ самой безшабашной, необузданной веселости, точно въ давно прошедшія времена на какой-нибудь товарищеской пирушкѣ, весело, потому что весело, потому что молодъ, вѣришь въ жизнь, ждешь счастья и жаждешь борьбы. Когда вино приходило къ концу, онъ потребовалъ еще. Геннадій Павловичъ отвѣтилъ въ свою очередь. Къ столу подходили знакомые мужчины и дамы, присаживались, разспрашивали, говорили любезности, опять уходили, появлялись новыя лица, и всѣ они казались Краеву такими добродушными, славными, и онъ всѣхъ любилъ ихъ.

— Лизочка, что же ты не пригубила?—весело окликнулъ онъ сестру, замѣтивъ передъ ней еще первый нетронутый бокалъ.

— Не хочется.

— Отчего ты печальная такая?.. Брось! Право, жизнь хороша... да еще въ твои годы!.. Ахъ, какъ бы я былъ доволенъ, если бъ былъ такъ молодъ, какъ ты,—подумай, 25 лѣтъ! Мнѣ уже 40, вотъ смотри: жизнь почти прожита, а мнѣ еще хочется жить. Эхъ, Лизокъ, будь весела, пей!

Лизѣ было невыносимо тяжело, ей хотѣлось поскорѣ увести брата. Несмотря на его оживленный видъ и веселый звукъ голоса, ей все казалось, что онъ страдалъ ужасно.

— Пора намъ домой, Викторъ,—тихо и робко замѣтила она брату.

— Отчего пора?.. Оставь хоть на сегодня это твое вѣчное «стопъ». Зачѣмъ? Неужели человѣкъ не можетъ никогда быть свободнымъ отъ оковъ?.. Все оковы... оковы!.. Приличія... долгъ... обязанности... Это скучно.

— Вѣрно подхватилъ Завадскій.—Vive la liberté! А если наши дамы не согласны, предоставимъ имъ безъ насъ скучать въ своихъ гостинныхъ наединѣ съ ихъ скучной pruderie!

— Вотъ это любезно!—взволновалась вся женская половина компаніи.

— Ну, а если мы въ свою очередь объявимъ вамъ войну?—задорно бросила Варвара Борисовна, — тогда бѣда: ваша хваленая свобода станетъ чѣмъ-то совсѣмъ ненужнымъ, потому что женщиной дается счастье и ею держится міръ.

— Madame a raison! Сдаюсь!.. Сдавайтесь лучше и вы, Викторъ Николаевичъ, мой совѣтъ!—предложилъ Завадскій.

— Отчего вы сегодня такая грустная?—продолжалъ приставать офицеръ къ Лизѣ, глядя на нее томнымъ, многозначительнымъ взглядомъ.

— Ахъ, оставьте, пожалуйста, я вамъ говорю: не здоровится.

— Нѣтъ, я знаю причину.

— Какая причина?

— Это мой секретъ.

Лиза пожала плечами.

Офицеръ не унимался.

— Если бъ былъ здѣсь нѣкто,—подчеркнулъ онъ,— вы, знаете о комъ я говорю?

Лиза посмотрѣла удивленно и строго.

— Вы кажется съ ума сошли!

— Молчу, молчу!—офицеръ расправилъ усы, поднесъ стаканъ къ губамъ и, нарочно показывая бѣлые зубы, сталъ цѣдить сквозь нихъ вино.

Лизѣ становилось просто душно въ этой атмосферѣ: разряженныя дамы, бѣгающіе сѣменящей походкой лакеи, раскаты барабана и поющіе звуки скрипокъ, даже глухой немолчный блескъ бьющагося о подножіе веранды моря—все раздражало, хотѣлось уйти, запереться и быть одной. Но какъ уйти? Вотъ Викторъ довольный такой, съ сверкающими глазами, ему весело... Можетъ быть, онъ и правъ: вездѣ оковы! Зачѣмъ мѣрить на свой аршинъ? Зачѣмъ мѣшать, когда другому хорошо?

О чемъ-то оживленно спорили. Лиза прислушивалась—говорили о счастьѣ.

— Счастье... Что такое счастье? Мигъ! Оно не слушаетъ насъ: мелькнуло и исчезло,—громкимъ, звенящимъ голосомъ произнесъ Викторъ Николаевичъ.

— Позвольте! Я бы на мѣстѣ Варвары Борисовны обидѣлась,—заявила одна изъ дамъ.—Такъ говоритъ мужъ, который женатъ—сколько? десять уже, кажется лѣтъ, имѣетъ такую очаровательную жену... Варвара Борисовна, да вы слышите?

Варвара Борисовна небрежно махнула рукой. Она улыбаясь и обмахиваясь вѣеромъ, слушала офицера, который теперь подсѣлъ уже къ ней и, все также глядя таинственно и томно и расправляя поминутно усы, нашептывалъ ей что-то вполголоса.

— Викторъ Николаевичъ имѣлъ именно это въ виду,—вставилъ свое слово Завадскій.— Онъ хотѣлъ сказать, что десять лѣтъ счастья пронеслись какъ мигъ.

— Но почему же «мелькнуло и исчезло?»

— Это такъ, для украшенія стиля!

— Ахъ, Геннадій Павловичъ всегда найдется, всегда скажетъ что-нибудь удачное,—трещали восхищенныя дамы.—Но въ чемъ же счастье, въ чемъ истинное счастье?.. Вы, однако, не сказали своего мнѣнія Геннадій Павловичъ!.. Геннадій Павловичъ?..

— Счастье—быть любимцемъ милыхъ дамъ,—любезно острилъ Завадскій.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! — говорите свое мнѣніе серьезно.

Геннадій Павловичъ снялъ шляпу, расправилъ кудри и мечтательно закинулъ назадъ голову.

— Счастье?—онъ остановился.—Счастье... счастье...

— Да, счастье?—у дамъ захватило дыханье.

— Какъ бы вамъ сказать... Вотъ Викторъ Николаевичъ говоритъ—мигъ. Я пойду дальше: это—миѳъ, это—фикція, его нѣтъ совсѣмъ.

— Ну-у-у,—недовольно и какъ бы обидясь протянули дамы.—Къ чему же такое разочарованіе?

— Нѣтъ, оно есть,—раздался снова громкій голосъ Виктора Николаевича.—Но нужно не думать, главное, ни о чемъ не думать... Задумался — шабашъ... Нужно жить—жить безъ оковъ. Воспоминаній не надо... надеждъ не надо!.. Пришла минута, лови — она твоя!.. Что завтра будетъ—не думай!

— Нѣтъ это не то!.. Въ чемъ же настоящее счастье? — настойчиво допытывалась жена товарища

прокурора, бросая краснорѣчивые и умоляющіе взгляды на Завадскаго.

— Мнѣ, напримѣръ, нужно, чтобы меня баловали, чтобы исполняли мой каждый капризъ,—прогнусавила, жеманясь, толстая некрасивая брюнетка, съ лицомъ напоминающимъ морскую свинку, одѣтая безъ вкуса, но модно и съ претензіей. Ея мужъ, ротный командиръ, забулдыга и пьяница, бѣгалъ отъ нея, какъ отъ чумы, цѣлыя ночи проводя въ клубѣ за картами. Разочарованная въ семейной жизни, бѣдняжка, все-таки, вѣрила въ свою звѣзду, хотя «баловальщики» поступали съ нею не менѣе коварно, чѣмъ законный мужъ.

— Вы желаете, чтобы счастье непремѣнно существовало?—обратился къ дамамъ Геннадій Павловичъ.—Ce que la femme veut—Dieu le veut. Да будетъ такъ! Теперь въ чемъ мое счастье? Въ любви!

Дамы облегченно вздохнули...

— Въ самоотреченіи,—какъ бы про себя проговорила Лиза.

— Въ чистой совѣсти,—небрежно бросилъ офицеръ, не слышавшій даже начала разговора; до слуха его долетѣла только послѣдняя фраза, произнесенная Завадскимъ.—«Въ любви»!.. Это ужъ не ново! — найдя свой отвѣтъ гораздо болѣе оригинальнымъ, офицеръ окинулъ присутствующихъ самодовольнымъ взглядомъ.

— Что?.. Что вы сказали?—вдругъ вскочивъ, какъ ужаленный, набросился на офицера Викторъ Николаевичъ.

Тотъ поглядѣлъ удивленно.

— Въ чистой совѣсти,—повторилъ тотъ.—Развѣ

неудачно? Счастье и чистая совѣсть... Мнѣ кажется прекрасно.

— Нѣтъ, вы мнѣ отвѣчайте прямо: на что вы намекнули? Это невѣжливо... Не... не... не деликатно!.. Это не дѣлаетъ чести!..

— Позвольте-съ, — всполошился въ свою очередь офицеръ.—Я не понимаю.

Викторъ Николаевичъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Если вы желаете говорить со мной подобнымъ образомъ, вы можете выбрать другое время, я нахожу неудобнымъ отвѣчать вамъ здѣсь...

Всѣ поднялись съ своихъ мѣстъ растерянные, ничего не понимая.

Офицеръ понималъ меньше всѣхъ. Онъ какъ-то глупо хлопалъ глазами и смущенно улыбался.

Первая пришла въ себя Варвара Борисовна.

«Что онъ съума сошелъ или ревнуетъ? Какъ это нелѣпо, неумѣстно».

— Викторъ, — сказала она громко, съ нѣсколько натянутой, но очаровательной улыбкой. Намъ пора. Покончимъ споръ. Бѣдное счастье!.. Оно, право, не должно быть причиной такихъ ожесточенныхъ преній. До свиданья, до свиданья,—поспѣшно прощалась она съ окружающими.

Лиза взяла брата подъ руку.

— Пойдемъ, Викторъ, домой, ты усталъ еще съ дороги, пойдемъ!

Викторъ Николаевичъ стоялъ, не двигаясь. Раздраженіе исчезло. Онъ самъ теперь ощущалъ всю неловкость происшедшей сцены и готовъ былъ провалиться сквозь землю. Онъ сконфуженно, какъ виноватый,

сдѣлалъ общій поклонъ, пробормоталъ безсвязно что-то въ родѣ извиненія за свою запальчивость, и они всѣ трое направились къ дорожкѣ, ведущей къ выходу.

— Что съ тобой было?.. Это возмутительно... это безобразіе — такая распущенность... Нужно владѣть собой или нужно лѣчиться, наконецъ,—осыпала упреками мужа Варвара Борисовна.

— Зачѣмъ же онъ намекнулъ!..—пробовалъ защищаться робко и неувѣренно Краевъ.

— На что?

— Онъ намекнулъ на чистую совѣсть... Я знаю, я не правъ. Но... но всякій мальчишка, всякая дрянь смѣетъ теперь глумиться надъ моимъ несчастьемъ. Это невыносимо!

Варвара Борисовна пожала плечами.

— Вотъ вздоръ!.. Право, нужно имѣть какое-то ненормальное воображенье!

— Нѣтъ, ты меня не увѣряй, — снова началъ горячиться Краевъ. — Это было съ умысломъ... съ умысломъ!..

— Викторъ... голубчикъ... родной!—умоляла Лиза.— Успокойся! Тебя всѣ уважаютъ, всѣ! Да и кто смѣетъ тебя не уважать?

Дрогнувшій голосъ Лизы звучалъ горячо и съ такимъ убѣжденьемъ, а въ честныхъ глубокихъ глазахъ, наполненныхъ слезами, свѣтилось столько любви и ласки, что Краеву вдругъ стало легче. Сомнѣнія, острыя муки больного, измученнаго сердца смѣнились тихою тоской. Безъ словъ, однимъ крѣпкимъ пожатьемъ руки поблагодарилъ онъ сестру и, почти успокоенный, вернулся домой.

IX.

— Не знаю, мамочка, зачѣмъ они хотятъ дѣтей тащить на этотъ пикникъ, — недовольнымъ тономъ спросила у матери Лиза, быстро вошедшая въ комнату.

Старуха подняла голову отъ газеты, которую читала, и посмотрѣла поверхъ очковъ на дочь.

— А отчего же ты такъ противъ этого? Тамъ хорошо, въ Ялтѣ, побѣгаютъ, погуляютъ.

— Да, но уже пора приниматься за правильныя занятія. Теперь ихъ взбудоражили, ничего имъ въ голову не полѣзетъ, а... отпустить ихъ невозможно.

— Ну, ты и скажи, чего же кипятиться?

— И скажу, и не пущу.

— Геннадій Павловичъ ѣдетъ?

— Да.

— Вотъ это отлично, я очень рада.

— А я такъ напротивъ, совсѣмъ не рада всей этой выдумкѣ, и такъ болитъ сердце — сказать не могу.

— Чего ты? Господь съ тобой... Чего бояться, — онъ не одинъ ѣдетъ — съ женой, ужъ тутъ можно быть спокойной... А ему очень полезно — пусть прокатится, онъ правда все хандритъ и скрыть даже не можетъ, да и не привыкъ онъ безъ занятій, чувствуетъ себя неловко!.. Нѣтъ, Варечка отлично придумала: превесело проведутъ время, вернутся — примемся за переѣздъ — это опять его займетъ, а тамъ на мѣсто опредѣлится, и все съ Божьей помощью войдетъ въ свою колею...

*

— Барышня, барыня проситъ помочь имъ, — позвала Лизу вошедшая горничная.

Лиза побѣжала помогать.

Варвара Борисовна набирала съ собой такую массу туалетовъ и разнородныхъ принадлежностей къ нимъ, что дѣйствительно едва могла справиться только съ укладкой своихъ вещей.

Лизѣ пришлось собрать необходимое для брата.

— Зачѣмъ ты столько берешь съ собой? — спрашивалъ жену Краевъ, — вѣдь, мы ѣдемъ на два, на три какихъ-нибудь дня, а ты собираешься точно на мѣсяцъ.

— Ты ничего не понимаешь,—нетерпѣливо отвѣтила Варвара Борисовна,—тамъ такая теперь избранная публика — въ день, можетъ быть, придется перемѣнить два-три туалета... А мелочи — онѣ необходимы... А шляпы?.. а амазонка — тоже, скажешь, ненужна?

Наконецъ, наскоро позавтракавъ, они отправились въ путь.

Огромная каменная пристань уже кипѣла своей суетливой своеобразной жизнью. Носильщики, нагибаясь подъ непосильными тяжестями, обливаясь потомъ, таскали громадные тюки товаровъ. Корпусъ парохода, величаво колыхаясь на зыбкой поверхности моря, уже готовъ былъ къ отплытію, когда запоздавшіе Краевы вбѣжали по широкимъ сходнямъ наверхъ. Публики было много, и палуба I класса пестрѣла нарядными дамскими туалетами.

— Что же вы такъ поздно? Я уже билеты взялъ,

и не зналъ, что дѣлать съ ними, думалъ не пріѣдете,— встрѣтилъ Краевыхъ Завадскій.

Загудѣлъ третій свистокъ.

— Прощай, Лиза!—громко крикнулъ Краевъ.

— До свиданія!—донеслось съ берега.

Пароходъ началъ отчаливать. Вотъ удаляется пристань, на ней толпа людей... посреди ихъ Лиза... Пароходъ поворачиваетъ и, пройдя бухту, выплываетъ въ открытое море.

Передъ глазами открылась безбрежная свѣтлая даль... Залитое солнцемъ море вся сплошь покрыто легкимъ серебристымъ налетомъ. Отвѣсно падающіе лучи, преломляясь, играли разноцвѣтными огоньками въ серебряныхъ волнахъ.

Краевъ стоялъ на кормѣ. Послѣ случившагося съ нимъ несчастья, онъ первый разъ попалъ въ эту, слишкомъ хорошо знакомую ему, обстановку.

Онъ стоялъ и смотрѣлъ, какъ разрѣзывалъ винтъ аквамариновыя волны, взбивая и разбрасывая вокругъ бѣлую, пушистую пѣну. Полоса оставляемаго пароходомъ слѣда бѣжала вдаль, все расширяясь и расширяясь, пока не терялась въ безбрежномъ пространствѣ моря.

Краевъ смотрѣлъ и думалъ... думалъ—самъ хорошенько не зная о чемъ. Мысли, сплетаясь, цѣпляясь другъ за друга, наконецъ, слились въ что-то опредѣленное, и онъ почувствовалъ привычное ему безпокойство капитана. Онъ даже повернулся, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, чтобъ отдать какія-то распоряженія и... вдругъ, вспомнивъ, что здѣсь онъ такой же обыкновенный пассажиръ, какъ и вся эта сидящая, гуляю-

щая по палубѣ публика, сконфузился передъ самимъ собой. Ему стало жутко и странно, и не по себѣ, и показалось ему, что всѣ это замѣтили и понимаютъ, даже посмѣиваются надъ нимъ или сожалѣютъ: «Ахъ, это тотъ несчастный, бывшій капитанъ *Баяна!*» Онъ возмутился внутренно:

«Что же, мнѣ, значитъ, запрещенъ входъ что-ли на пароходъ? Или я не смѣю уже больше любоваться красотой моря, или не могу уже больше жить, какъ всѣ?

— Вы не знаете, качки не будетъ?—робко обратилась къ нему какая-то дама.

Онъ разсердился,—ему показался и этотъ вопросъ предумышленнымъ. Откуда она знаетъ, что онъ морякъ и лучше другихъ можетъ предсказать погоду? Почти съ ненавистью посмотрѣлъ онъ на эту незнакомую ему даму, отвѣтивъ сурово: «не знаю-съ!» — и отошелъ прочь. Онъ сталъ искать жену и Завадскаго.

— Наконецъ-то, вы къ намъ,—громко окликнулъ его Геннадій Павловичъ, когда онъ подошелъ къ ихъ скамьѣ,—присаживайтесь, присаживайтесь. Ахъ, славно здѣсь,—онъ вздохнулъ всей грудью,—ну, а вы какъ чувствуете себя, Викторъ Николаевичъ, на положеніи свободнаго пассажира?

— Отлично, я думаю, — отвѣтила за мужа Варвара Борисовна, — пей, ѣшь, спи, гуляй и ни о чемъ не безпокойся. Вѣдь, правда?

— Да, да, да!

— Что ты точно въ воду опущенный?..

— Гипнозъ моря, близость воды, — острилъ Геннадій Павловичъ.

— Вотъ дуракъ - то! — мысленно выругался Краевъ.

Ему было досадно и на жену, и на Завадскаго, и на всю эту съ давнихъ дней знакомую обстановку, и на свое согласіе на поѣздку, и на свое малодушное ощущеніе какой-то неловкости, и на безсиліе избавиться отъ этой неловкости.

— Пойдемъ въ каюту что-ли,—предложилъ онъ,— голова здѣсь что-то кружится, должно быть отвыкъ я отъ моря.

Спускаясь съ лѣстницы, они столкнулись съ капитаномъ парохода — загорѣлымъ, бородатымъ, добродушнымъ малымъ, охотникомъ выпить и поужинать.

— Викторъ Николаевичъ! Краевъ! Здорово, дружище! Очень радъ! Куда ѣдешь?.. Варвара Борисовна— мой привѣтъ!.. — Капитанъ звонко чмокнулъ ручку Варвары Борисовны.—Геннадій Павловичъ, и вы тутъ? Отлично — вотъ сюрпризъ — да мы превесело проведемъ время. Куда путь?

— Въ Ялту.

— Ну, что такъ близко?—ѣхали бы дальше.

— Пойдемте съ нами въ каютъ-кампанію, — пригласила Варвара Борисовна.

— Bene!

— Что будемъ пить? — спросилъ Викторъ Николаевичъ, когда они всѣ размѣстились за однимъ изъ длинныхъ столовъ.

— Чего нибудь полегче—бѣлаго!..—отвѣтила Варвара Борисовна.

— Ну что, старый дружище? — добродушно хлопнулъ Виктора Николаевича по плечу капитанъ,—слы-

шалъ, слышалъ — все кончилось какъ нельзя лучше!.. и теперь... вольный казакъ.

— Нѣтъ тамъ еще... гражданскіе истцы кассировали, дѣло пошло дальше.

— Ну да, вѣдь это ужъ касается компаніи, а твое личное дѣло кончилось.

— Да, и самымъ блестящимъ образомъ! —подтвердила за мужа Варвара Борисовна.

Краева покоробило. Онъ улыбнулся, желая скрыть свое смущеніе.

— Отлично, очень радъ! Теперь чиновникомъ? Оно, знаешь, спокойнѣе, братецъ. Проклятая она, наша служба! Я бы и самъ бросилъ, да куда пойдешь? Привычка... Привычка — ничего не подѣлаешь. Ну конецъ, всему дѣлу вѣнецъ, — чокнемся,дружище, давай!

Викторъ Николаевичъ мрачно пилъ свое вино; его тянуло опять на палубу, оттуда на мостикъ. Ахъ, да!.. туда ужъ больше не нужно — онъ вольный казакъ, свободный пассажиръ, — «пей, ѣшь, гуляй», ни о чемъ не безпокойся!..

Онъ смотрѣлъ на Варвару Борисовну. Она смѣялась. Капитанъ отпускалъ неуклюжіе каламбуры. Геннадій Павловичъ острилъ элегантно и умно. А ей было весело. И вспомнилъ, почему-то, Викторъ Николаевичъ несносный стукъ колесъ ѣдущаго поѣзда, душное купэ и темную ночь, когда, измученный, онъ ей открылъ свой страхъ, свою тоску и не нашелъ отвѣта.

— Да, она ужъ не любитъ, сострадаетъ тоже, какъ всѣ.

Викторъ Николаевичъ поднялся съ мѣста.

— Куда же ты, братецъ? посиди, — убѣждалъ капитанъ.

— Духота здѣсь, я пойду наверхъ.

— Что съ нимъ? — по его уходѣ спросилъ, удивляясь, капитанъ,—точно не въ своей тарелкѣ?

Геннадій Павловичъ покачалъ головой.

— Да у него нервы шалятъ. Ну, да это ничего, пройдетъ, видъ у него отличный.

— Ахъ, онъ меня измучилъ,—проговорила жалобно Варвара Борисовна,—и если я, сравнительно, спокойна, это только потому, что я знаю, это пройдетъ.

Викторъ Николаевичъ бродилъ наверху, нетерпѣливо ожидая конца ихъ маленькаго плаванія. Внутреннее безпокойство не покидало его. Но это было уже не безпокойство капитана «не у дѣлъ», а какое-то общее безпокойство. Хоть бы скорѣе пріѣхать, что ли! А пароходъ ползетъ, какъ черепаха!.. Онъ быстрыми шагами ходилъ по палубѣ. Ему хотѣлось движенія, движенія, движенія впередъ, дальше, скорѣе!.. Такъ звѣри ходятъ въ клѣткѣ, такъ бѣлка кружится въ колесѣ, подчиняясь потребности движенія и ища выхода. Да скоро ли?..

Викторъ Николаевичъ посмотрѣлъ на берега. Все тѣ же сѣроголубыя скалы. Пароходъ точно и не подвинулся впередъ. Разсерженный, усталый Викторъ Николаевичъ, наконецъ, бросился на первое попавшееся свободное мѣсто. Его сосѣдями справа оказались два какихъ-то господина, должно быть купцы. Викторъ, Николаевичъ сталъ разсѣянно слушать ихъ разговоръ.

— Въ прошломъ году контора работала на сто

тысячъ въ этомъ мѣсяцѣ, грузили по два парохода въ недѣлю, а нынче застой,—соболѣзновалъ одинъ.

— Ничего не подѣлаешь: урожай плохъ, — отвѣтилъ другой.

— Буддизмъ въ Парижѣ давно уже играетъ важную роль. Онъ собственно и составляетъ одно изъ главныхъ основаній ученія теософовъ,—объяснялъ кому-то маленькій брюнетикъ, студентъ, сидѣвшій слѣва отъ Виктора Николаевича.

— Что вы мнѣ будете говорить: случайныя аваріи, случайныя аваріи! А я вамъ докажу, что всѣ они— подлецы, вотъ что-съ!—донеслось откуда-то сбоку.

Викторъ Николаевичъ обернулся. За купцомъ возсѣдалъ толстый, сѣдой господинъ и ожесточенно нападалъ на своего сосѣда—инженера, въ очкахъ.

— Случайныя, случайныя!.. Вѣдь, это каждый годъ, чуть ли не каждый мѣсяцъ!.. Вотъ прочтите-ка сегодняшнюю газету!.. Нѣтъ, это не случайныя это— русское «авось», это непростительная халатность. Да что говорить—прямо подлецы!..

Викторъ Николаевичъ удвоилъ вниманіе.

— Изволите видѣть: рифъ тамъ какой-то, рифъ! Наткнулись. А ты, каналья этакій, знай! Ты долженъ все знать, на то и морякъ. Ночь не спи, заботься!.. Нѣтъ и не защищайте. Подлецы, подлецы, подлецы...— горячился толстякъ, потрясая въ воздухѣ газетой, которую держалъ рукахъ.

— Я понимаю, буря! Другое дѣло... А тутъ капитанъ подлецъ —и все несчастіе въ этомъ. Подлецъ— да и все тутъ!..

Виктору Николаевичу ужасно нравилось, какъ произносилъ толстый господинъ это слово: «подлецъ!»

Такъ жгуче било оно по нервамъ.

«Ну да, конечно, онъ подлецъ!.. И вовсе не выбитый изъ колеи, и вовсе не лишній, а просто — подлецъ!»

И показалось ему, что онъ какъ бы добился чего-то давно желаемаго, чего-то разрѣшающаго его муки и сомнѣнія... Онъ нашелъ, нашелъ, наконецъ, свое слово: онъ, Викторъ Николаевичъ Краевъ—подлецъ!

Точно бремя свалилось теперь съ сердца. Каменная стѣна разступилась, и онъ увидѣлъ свѣтъ, озарившій мракъ его темницы.

— Вотъ она—разгадка!.. Вотъ!.. Боже мой, да какъ же все это просто!..

— Викторъ Николаевичъ!—послышался съ лѣстницы голосъ Завадскаго, — обѣдать идите, ужъ столъ накрытъ.

Черезъ минуту раздавшійся звонокъ всполошилъ пассажировъ, и мѣста за красиво сервированнымъ столомъ быстро были заняты хлынувшей внизъ толпой. Викторъ Николаевичъ давно уже не обѣдалъ съ такимъ аппетитомъ.

— Нѣтъ, ты вотъ этого, братецъ, отвѣдай,—предупредительно угощалъ его капитанъ, — вотъ этого! Хорошо, каналья, поваръ готовитъ!

Показалась уже красавица Алупка, покорно прильнувшая къ подножью величаваго Ай-Пьетри. Прошли и мысъ Ай-Тодоръ съ бѣлой башней маяка на вершинѣ плоской скалы, за нимъ Оріанда, потомъ Ливадія и... вотъ, наконецъ, длинная вереница домовъ потянулась по нарядной набережной Ялты.

Чалки сданы. Спускаютъ сходни.
Пріѣхали.

X.

Варвара Борисовна объявила, что она намѣрена освѣжиться и ни минуты не желаетъ терять времени даромъ.

Какъ только размѣстились наши путешественники въ отелѣ, сейчасъ же рѣшено было предпринять какую-нибудь прогулку. Ѣхать за городъ было уже поздно, отправились побродить по набережной и заглянуть въ магазины.

Варвара Борисовна чувствовала себя, какъ рыба въ водѣ.

Она шныряла по магазинамъ, добиваясь найти что-нибудь особенно оригинальное и увлекая за собой покорныхъ спутниковъ.

Въ дверяхъ одного изъ магазиновъ они столкнулись съ Ураловыми.

— Какими судьбами?

— Только что пріѣхали.

— А мы съ Кавказа. Не миновали нашего волшебнаго уголка. Покупаете? — иронически басилъ Ураловъ.

— Да.

— Не стоитъ, бросьте!.. И я свою Зою Матвѣевну тоже вытащилъ... Пойдемте въ садъ.

— Тамъ что?

— Спектакль какой-то.

— А что-жъ, идемте! — вдругъ съ живостью под-

хватилъ Викторъ Николаевичъ, — давайге веселиться во всю!

— Вотъ это я понимаю,—одобрилъ Завадскій,—а то на пароходѣ на насъ такую скуку нагналъ!

— Чуръ, стараго не вспоминать,—остановила его Варвара Борисовна,—идемте веселиться. Чѣмъ меньше будемъ разсуждать, тѣмъ лучше.

— Вѣрно!.. Чѣмъ глупѣе, тѣмъ веселѣе, — согласился Краевъ.

— Нѣтъ, я противъ глупости, — слабо протестовала Зоя Матвѣевна.

— А мы тебя не послушаемъ,—поддразнилъ жену Ураловъ.

Изъ сада неслись звуки духового оркестра. Любители послушать музыку даромъ гуляли себѣ преспокойно взадъ и впередъ по тротуару или сидѣли у моря, на скамейкахъ, противъ сада.

Разукрашенный разноцвѣтными фонариками садъ пустовалъ.

На сценѣ хорошенькаго деревяннаго театра плохонькая труппа изображала какой-то модный плоскій фарсъ.

Наши путешественники спросили ложу. Имъ предложили у самой сцены съ громкимъ названіемъ „директорской“.

Шелъ уже второй актъ. Юркая, довольно миловидная блондинка, суетливо бѣгая по сценѣ, все кого-то искала или, наоборотъ, кого-то прятала, являлись молодые люди съ моноклями и въ красныхъ галстукахъ, расшаркивались передъ блондинкой и тоже кого-то искали; добродушный толстякъ, отецъ или

мужъ блондинки, хорошо нельзя было разобрать, ничего не подозрѣвалъ и смѣшилъ публику грубымъ комизмомъ своего положенія.

Въ «директорской» много смѣялись, апплодировали блондинкѣ и молодымъ людямъ въ красныхъ галстукахъ и комическому толстяку. Викторъ Николаевичъ смѣялся больше всѣхъ. Съ тѣхъ поръ, какъ на пароходѣ онъ нашелъ «свое слово», какое-то особенное настроеніе овладѣло имъ,—такое благодушное, умиротворяющее; постоянныхъ, ставшихъ словно хроническими, душевныхъ мукъ какъ бы и слѣдъ простылъ. Въ мозгу упорно засѣло сознаніе чего-то неизбѣжнаго, чего предотвратить нельзя, а сердце умилялось отъ всякихъ пустяковъ, отъ всякаго вздора, какъ у ребенка. Ему было весело, ему хотѣлось глупо, по-дѣтски шумѣть, хохотать, чуть не прыгать. Миловидная блондинка такъ привѣтливо улыбалась, когда ее вызывали, молодые люди и комическій старичокъ съ такимъ достоинствомъ раскланивались передъ пустыми стульями зрительнаго зала, что Викторъ Николаевичъ невольно подумалъ, глядя на нихъ, — «вотъ истинные счастливцы: какія-то побрякушки, глупый обычай — битье въ ладоши, а имъ удовольствіе изъ-за того хлопотать... этого добиваются»...

— Браво-о-о! — протяжно и громко кричалъ онъ, усердно, изъ всѣхъ силъ апплодируя.

— Настоящая овація, — проиронизировалъ Захаръ Ивановичъ.

— Мнѣ это напоминаетъ одинъ анекдотъ, — засмѣялся Геннадій Павловичъ, — знаете этотъ: какой маленькій городъ...

— И какой большой дождь... Вотъ, вотъ... именно... — зычно хохоталъ Захаръ Ивановичъ, — а что?.. Намъ, знаете, не пойти ли всей компаніей въ буфетъ, — предложилъ онъ,—дамамъ можно чего-нибудь этакого эѳирнаго...

Но дамы пожелали просто пройтись. Геннадій Павловичъ, какъ истый кавалеръ, отправился ихъ сопровождать.

— Вѣдь, вотъ глупѣйшая привычка,—разсуждалъ Захаръ Ивановичъ, — не хочется ни пить, ни ѣсть, а какъ-то такъ ужъ заведено,—ну, и тянетъ къ буфету.

Третій актъ ничѣмъ не отличался отъ второго,—былъ такъ же суетливъ и безсмысленъ.

— Относительно программы глупостей мы пока вѣрны себѣ,—говорилъ Геннадій Павловичъ.—До чего пьеса глупа!.. А, впрочемъ, оно весело. Театръ долженъ развлекать и веселить.

— И это вы говорите? Такой знатокъ и театралъ?—укорила его Зоя Матвѣевна.

— Что-жъ, я говорю правду. Знаменіе времени... жизнь — грустный мигъ, вся сила въ забвеньи. Викторъ Николаевичъ, а? Какъ вы думаете?— обратился онъ къ Краеву.

Тотъ, съ разсѣянной улыбкой, утвердительно кивнулъ головой. Онъ не разслышалъ вопроса, уловилъ только одно слово: «забвенье». Онъ весь былъ поглощенъ своимъ *умиленьемъ*, той внутренней неудержимой работой, которая въ немъ совершалась... Забвенье... да! Забвенье хорошо... Онъ глядѣлъ на блондинку, бѣгающую по сценѣ, и нашелъ почему-то сходство между ней и своей женой.

Онъ посмотрѣлъ на жену. Неясныя воспоминанья встали передъ нимъ, воспоминанья о чемъ-то давно прошедшемъ, невозвратномъ: Варварѣ Борисовнѣ семнадцать лѣтъ... Бѣлые пушистые волосы... Лицо ангела... Она инстинктомъ уже чувствуетъ неотразимую силу своей женской прелести и такъ *властно* разговариваетъ съ нимъ, а онъ... онъ около нея весь дрожитъ отъ безумнаго счастья... онъ просидѣлъ бы такъ всю жизнь, глядя въ ея лучезарные глаза, упиваясь звуками ея голоса... О возможности назвать ее своей женой онъ не думаетъ. Ему даже кажется это чѣмъ-то такимъ обыденнымъ, грубымъ... Не можетъ быть?.. Какъ? Эта нарядная дама въ вычурной шляпкѣ на пышной прическѣ и съ подрисованными слегка глазами—та самая худенькая, бѣлокурая нимфа... Когда совершилась эта метаморфоза и какъ? Онъ не замѣтилъ... И стало ему жалко до слезъ свою жену... Что ей дала жизнь?.. И захотѣлось ему съ безумной силой вернуть ей ея семнадцать лѣтъ и жажду счастья, и неизвѣданность жизненныхъ тревогъ. Но это невозможно! Такъ что же дѣлать теперь... скорѣе, чтобы дать ей если не счастье, то пусть забвеніе?.. Бѣдная, вотъ гдѣ причина ея страсти къ комфорту... Нѣтъ счастья,—она искала суррогатовъ, искала забвенья. А онъ? онъ теперь больше, чѣмъ кто-нибудь, зналъ цѣну счастью,—онъ понялъ все.

На сценѣ, между тѣмъ, блондинка, пойманная врасплохъ, должна была сознаваться въ непростительномъ кокетствѣ и въ страсти къ приключеніямъ. Немногочисленная публика хохотала. Занавѣсъ опустился.

— Браво-о!—кричалъ очнувшійся Краевъ.

— Я думаю, эти актеры еще не видѣли такого азартнаго поклонника,—смѣялась Варвара Борисовна.

Краевъ схватилъ ея руку и сталъ осыпать горячими поцѣлуями.

— Что ты, что ты, сумасшедшій!—отнимала Варвара Борисовна руку. — Ты должно быть, въ порывѣ восторга принялъ меня за эту актрису!

Она засмѣялась, засмѣялись всѣ остальные, засмѣялся и Краевъ.

— Однако, вѣдь, это конецъ, кажется?—Геннадій Павловичъ посмотрѣлъ на афишу.—Три акта—конецъ. Вотъ это мнѣ нравится. Конецъ, а можно принять за начало и снова продолжать играть, смыслъ будетъ тотъ же. Удивительное искусство писать подобныя пьесы!

Всѣ стали выходить изъ ложи.

— Поужинать бы, я думаю, хорошо? — нерѣшительно обратился къ остальнымъ Захаръ Иванычъ,— а? Какъ вы полагаете?

Но поддержки онъ не нашелъ.

— Пойдемте подъ парусами кататься, — весело воскликнула Варвара Борисовна, — Викторъ будетъ править.

Всѣмъ очень понравилась эта мысль, и компанія двинулась къ «Старой пристани», гдѣ стояли лодки.

Викторъ Николаевичъ сѣлъ на руль, прочіе размѣстились по двое на боковыхъ мѣстахъ. Лодочникъ отвязалъ веревку, и лодка слегка накренясь отъ набѣжавшаго сбоку прибоя, скользнула по зыбкимъ волнамъ.

— Въ полосу, скорѣе въ полосу! — нетерпѣливо кричала Варвара Борисовна, указывая на свѣтлую широкую полосу, какъ бы перерѣзывающую море, гдѣ луна, серебря поверхность, отражалась въ изгибахъ волнъ.

Лодку сильно подняло вверхъ.

— Ай!—испуганно взвизгнула Зоя Матвѣевна.

— Вы боитесь? — пренебрежительно спросила ее Варвара Борисовна.

— Д-да... страшно!

— По мнѣ, лучше бы ужинать, — вставилъ робко свое слово Захаръ Ивановичъ.

— Ахъ, вы... матерьялистъ! — упрекнулъ его Завадскій,—поэзіи въ душѣ никакой.

— Нѣтъ-съ, извините, я поэзію люблю, только, знаете, не этакую, а такъ, чтобы «птички пѣли, травка зеленѣла, рѣчка бѣжала»,—вотъ какую!

— Спойте что-нибудь, Геннадій Павловичъ,—просила Зоя Матвѣевна.

— Спѣть... Я и самъ хотѣлъ предложить что-нибудь хоровое.

— Нѣтъ, вы лучше одинъ.

Завадскій считался въ городѣ хорошимъ пѣвцомъ. Самъ, будучи очень высокаго мнѣнія о своихъ талантахъ, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ онъ любилъ проявлять ихъ.

Онъ слегка откашлянулся и началъ пѣть. Голосъ у него былъ довольно пріятнаго тембра баритонъ, но сильно вибрировалъ на высокихъ нотахъ, особенно когда пѣвецъ хотѣлъ выразить чувство.

— «Плачь, плачь!.. облегчи страданье», — разно-

сились въ воздухѣ грустныя слова унылаго мотива, а имъ вторили волны, съ шумомъ набѣгавшія одна на другую. Какъ птица, неслась лодка, распустивъ бѣлыя крылья паруса.

Хорошо было Виктору Николаевичу. Что-то могучее схватило, увлекло его, и онъ самъ, ничего не сознавая, ни о чемъ не думая, распустивъ свой парусъ, какъ эта лодка, несся, несся куда-то быстро, неудержимо. Давно ему не было такъ хорошо... И какъ любилъ онъ въ эту минуту всѣхъ, а главное — жизнь, жизнь какъ вѣчное движенье; гибнутъ одни—нарождаются другіе, а жизнь, неизсякаемое движенье,—она вѣчна!

— «Не таи рыда-а-анья», — выводилъ старательно Геннадій Павловичъ.

Жж-жж-жи... — аккомпанировали ему волны, подбрасывая лодку и обдавая сидящихъ въ ней мелкими брызгами.

— Хорошая пѣсня, — похвалилъ Викторъ Николаевичъ.

— А, право, лучше бы вернуться, — началъ было Ураловъ.

— Ой, нѣтъ! — и Краевъ съ порывистой удалью тряхнулъ головой.

— Эхъ, что-нибудь бы русское теперь, хоровое!

— Спойте еще, Геннадій Павловичъ,—приставали расчувствовавшіяся дамы.

Лодка вошла въ полосу свѣта.

— Ахъ! Ахъ!.. Ахъ, какъ хорошо! — закричали дамы.

— Вотъ что давайте пѣть,—съ живостью предло-

жила Варвара Борисовна, — «Моряки», и подходящее, и можно хоромъ. Начинайте, Геннадій Павловичъ, а мы подхватимъ, когда припѣвъ.

— Хорошо,—неохотно согласился Геннадій Павловичъ. Онъ чувствовалъ влеченье только къ цыганскимъ романсамъ.

— «Нелюдимо наше море»,—началъ онъ лѣниво и въ полголоса.

— Громче, Геннадій Павловичъ, громче.

— «День и ночь шумитъ оно»,—усилилъ нѣсколько голосъ Заваескій.

— «Шумитъ оно»... — подпѣвалъ Викторъ Николаевичъ.

— Викторъ, не надо... Мы потомъ, всѣ вмѣстѣ,— остановила его жена.

— Зачѣмъ потомъ, когда я теперь хочу

— Ну, что же? — спросилъ Геннадій Павловичъ, дошедшій до того мѣста, гдѣ начинался припѣвъ.

— Вотъ и опоздали! — кипятилась Варвара Борисовна, бросая на мужа сердитые взгляды.—А все ты... Нужно опять сначала. Викторъ, ты молчи — пускай Геннадій Павловичъ одинъ...

Начали снова. Викторъ Николаевичъ продолжалъ подпѣвать. Какъ тогда въ ложѣ ему хотѣлось шумѣть, такъ теперь хотѣлось пѣть, и онъ не могъ остановиться. Варвара Борисовна безнадежно махнула рукой по адресу мужа.

— Оставьте его,—тихо шепнула Зоя Матвѣевна.

Смѣло братья, вѣтромъ полный,
Парусъ свой направилъ я.

Звонко раздавались въ воздухѣ женскіе голоса,

покрываемыя басистымъ рявканьемъ со стороны Захара Ивановича.

— «Будетъ буря, мы поспоримъ»,—старался какъ можно выразительнѣе передать Завадскій.

— «И поборемся мы съ ней!» — подпѣвалъ Викторъ Николаевичъ. — Буря... буря.. буря, — вертѣлось у него въ головѣ. Она была, и онъ боролся и поборолъ. Но буря та была особенная—то буря животворная, все вырветъ, все сломаетъ и... дастъ вожделѣнный покой...

— Довольно!—раздался повелительный голосъ Варвары Борисовны.—Стопъ! Пора, ѣдемъ домой!

Викторъ Николаевичъ повернулъ лодку. Всѣ сразу смолкли и задумались.

По темно-синему небу сыпались звѣзды: одна... другая... третья...

— Ай! — тихо вскрикнула, затаивъ дыханье, Зоя Матвѣевна.

— То фейерверкъ юга, — задумчиво проговорилъ Завадскій.—Вы помните, какъ это хорошо у Беранже:

„Кто знаетъ
Чья это звѣздочка блеститъ...
Блеститъ и... исчезаетъ?“

Какъ очарованная сидѣла въ лодкѣ небольшая группа людей. Волнуемые различными мыслями, они всѣ были соединены воедино однимъ, одинаковымъ для всего живого трепетомъ жизни — властнымъ, всеподчиняющимъ.

Эта ночь съ фосфорическимъ свѣтомъ купающагося въ морѣ мѣсяца, и падающія звѣзды, и море съ

его «роковымъ просторомъ», и Ялта, играющая огоньками, и влажный воздухъ, и темные силуэты горъ — все это было слишкомъ хорошо, все говорило о жизни.

Черезъ четверть часа лодка причалила.

— Такъ мы и не поужинали! — огорченно вздохнулъ Захаръ Ивановичъ.

XI.

Часы давно уже пробили двѣнадцать, а Варвара Борисовна все еще нѣжилась и потягивалась въ кровати. Она припомнила, что рано-рано утромъ, часовъ въ девять, была разбужена легкимъ шумомъ, который производилъ мужъ: писалъ что-то, шуршалъ бумагой. Эгоистъ! Ну, проснулся раньше, лежи смирно: знаетъ, какой у нея чуткій сонъ. Вотъ ей помѣшали, и теперь она проспала лишнихъ два часа, — во-первыхъ это нездорово, во-вторыхъ, она пріѣхала веселиться, а не спать. Она очень досадовала на мужа. Вдобавокъ, куда-то исчезъ и до сихъ поръ его нѣтъ. Какъ это скучно!.. Но мало-по-малу мысли Варвары Борисовны приняли болѣе свѣтлую окраску. Она поднялась съ подушекъ и сѣла на кровати, спустивъ ножки, — ножки были хорошенькія, стройныя. Варвара Борисовна провела рукой по одной изъ нихъ передъ тѣмъ, какъ надѣть чулокъ и осталась довольна. Да! это средство прелестное: кожа совсѣмъ атласъ. Надо всегда его класть въ ванну. Она медленно и лѣниво надѣвала чулки. Въ номерѣ было томительно и душно. Всунувъ ноги въ широкія турецкія туфли, Варвара Борисовна подошла къ умывальнику и стала съ на-

слажденьемъ плескаться въ водѣ. Наконецъ, освѣженная и бодрая, она вышла изъ-за перегородки, раздѣлявшей номеръ пополамъ, бросилась въ глубокое кресло, противъ трюмо, и, увидѣвъ себя въ зеркалѣ, улыбнулась. Голубой батистъ ея цвѣтной рубашки, отдѣланной валансьеномъ, удивительно нѣжно оттѣнялъ мраморную бѣлизну кожи и такъ шелъ къ золотистому отливу ея волосъ. «О, мы еще ничего. Даже и очень себѣ ничего!»—любовалась она своимъ изображеньемъ въ зеркалѣ. Потомъ она заложила руки за голову и стала думать. Соображенія ея были все больше практическаго свойства. «Двѣ тысячи... Мамина пенсія три тысячи,—она, конечно, считаться не будетъ. Потомъ Виктору прибавятъ... Квартира своя—жить можно!»

Въ дверной скважинѣ повернулся ключъ.

— Ай!—всполошилась Варвара Борисовна.

— Это я, не пугайся! — раздался за дверями голосъ Краева.—Одѣта?

— Нѣтъ.

— Ты спрячься за перегородку.

Варвара Борисовна скрылась. Вошелъ Краевъ въ сопровожденіи приказчика, который несъ большой тюкъ на головѣ.

— Ну, гдѣ ты, дитенышъ, вылѣзай скорѣе! — весело крикнулъ Краевъ, когда ушелъ приказчикъ.— Смотри что я тебѣ принесъ!

Варвара Борисовна уже успѣла накинуть тоже голубую, отдѣланную валансьеномъ, юбку и въ этомъ костюмѣ напоминала хорошенькую картинку съ бонбоньерки.

— Ну, смотри и цѣлуй мужа!

Варвара Борисовна нервно, нетерпѣливо рвала шнурки и бумагу на покупкахъ.

— Ахъ, ахъ, ахъ!—каждый разъ вырывался у нея восторженный возгласъ.

А когда Краевъ развязалъ большой тюкъ, и развернулся передъ ея глазами продолговатый, по размѣру ихъ новой гостиной коверъ, она обомлѣла, готова была расплакаться отъ счастья. Она присѣла на стулѣ и, не отрывая блестящаго взгляда отъ ковра, протянула обнаженныя руки къ мужу.

— Милый, милый!.. Какъ ты добръ! Какъ я тебя люблю!—ворковала она нѣжнымъ голосомъ, а онъ покрывалъ поцѣлуями ея волосы, лицо, руки.

— Однако, нужно его опять свернуть, какъ онъ былъ,—проговорила озабоченно Варвара Борисовна, вставая съ мѣста и освобождаясь отъ ласкъ мужа.— А ну какъ мы не сумѣемъ?..

— Сумѣемъ,—увѣренно отвѣтилъ Краевъ.

Взявъ за одинъ уголъ конецъ ковра, онъ далъ женѣ другой и, такимъ образомъ, они стали закатывать его въ трубку нагнувшись. Варвара Борисовна, второпяхъ, наступила на кружево своей юбки, разорвала его, споткнулась и съ хохотомъ растянулась на полу, цѣпляясь за коверъ руками. Краевъ бросился ее поднимать. Приподнявъ съ пола, онъ схватилъ ее на руки и понесъ по комнатѣ, осыпая горячими поцѣлуями ея полураскрытый ротъ и обнаженную шею.

— Викторъ, Викторъ!—кричала она, барахтаясь на его рукахъ и отбиваясь.—Оставь меня! Что за порывы... Да оставь же, говорятъ тебѣ!

Запыхавшійся Викторъ Николаевичъ спустилъ ее на полъ.

— Точно медовый мѣсяцъ—разыгрались, какъ молодые,—ворчала раскраснѣвшаяся и сердитая Варвара Борисовна.

— Ну, прости, прости меня!—лепеталъ съ виноватымъ видомъ Краевъ.—Но вѣдь я же тебя не обидѣлъ ничѣмъ... И потомъ, если бы ты знала, какая ты славная и какой я... Ахъ, да что и говорить! — онъ махнулъ рукой и принялся опять свертывать коверъ.

Варварѣ Борисовнѣ показалось, что даже слезы блеснули въ его глазахъ.

«Н-ну!.. опять напустилъ, на себя что-то», подумала она и стала складывать аккуратно развязанныя раньше покупки.

— Что же мы дѣлаемъ сегодня?—спросила она черезъ минуту, все еще съ капризной нотой въ голосѣ.

— Я же тебѣ сказалъ, когда пришелъ.

— Да нѣтъ же.

— Ну, конечно, сказалъ.

— Ахъ, ты меня злишь,—я еще не выжила изъ ума...» Я говорю, что нѣтъ,

— Ну, прости, мнѣ показалось... Въ Гурзуфъ всѣ ѣдемъ.

— Когда?

— Въ три будутъ лощади.

Варвара Борисовна засуетилась.

— Боже мой!.. А я еще и не готова... и чаю не пила... Я не успѣю... Это безобразіе!.. — напустилась она на мужа.—Разбудилъ меня утромъ и... и вотъ! Я

проспала... и вотъ теперь не успѣю! Что мнѣ дѣлать?.. Боже мой! Ничего не соображу!—восклицала она, съ отчаяньемъ заметавшись по комнатѣ.

Краевъ смотрѣлъ на нее испуганно, съ недоумѣньемъ.

— Чего же волноваться? Успѣемъ... Еще только часъ.

— Часъ... часъ... часъ!..—передразнила она мужа,— но вѣдь мнѣ нужно одѣться, — и не какъ-нибудь, — причесать и еще не завтракала... Понимаешь ты, понимаешь?

Она побѣжала за перегородку, опять выскочила оттуда, бросилась къ корзинкѣ съ вещами и стала торопливо вынимать оттуда платья.

— Боже мой, что же будетъ, что же будетъ? — [illegible] она, роясь, перебирая вещи, — я не успѣю, [illegible] не успѣю. Прикажи подать хоть завтракъ, распорядись, пока я буду мыться... Слышишь... слышишь, Викторъ? Ахъ, мученье! Да Викторъ же!..—окликнула она молчащаго неподвижнаго мужа.

Онъ не отвѣчалъ, упорно смотря куда-то въ одну точку.

— Викторъ!.. — еще разъ крикнула она почти у самаго его уха.—Слышишь, распорядись завтракомъ,— [illegible] пойду.

— Иди, иди, моя радость, — тихо-тихо проговорилъ Краевъ, какъ бы вышедши изъ полузабытья.

Варвара Борисовна побѣжала за перегородку. Раскрыла дорожный несессеръ, снабженный всевозможными баночками и скляночками, разставивъ все это [illegible] съ зеркаломъ на стоящій тутъ же небольшой

овальный столикъ, она собралась приступить къ вторичному, уже капитальному умыванью.

— Тебѣ помочь, можетъ - быть? — предложилъ Краевъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Сиди, пожалуйста, тамъ... Ты, знаешь, я люблю одна одѣваться.

Викторъ Николаевичъ позвонилъ. Вошелъ лакей. Полощась въ водѣ, Варвара Борисовна слышала, урывками, какъ мужъ заказывалъ завтракъ:

— Провансаль... по-польски... бефъ...

«Что онъ тамъ заказываетъ? Неужели цыпленка по-польски? Ненавижу!»

— Какого вина хочешь? — донесся до нея голосъ мужа.

— Ахъ, все равно,—отвѣтила она, поспѣшно приготовляя ароматическую воду для зубовъ.

— Шампанскаго хочешь?

— Вотъ вздоръ,—съ утра!

— Отчего же? Будемъ пить.

— Хорошо, хорошо, хорошо! — проговорила она, желая отвязаться.

Викторъ Николаевичъ отдавалъ приказанія лакею, въ какомъ порядкѣ подавать кушанья, когда подать вино, на что тотъ ежеминутно отвѣчалъ покорнымъ «слушаю-съ». Наконецъ, лакей вышелъ.

Настало молчанье.

— Варя, ты скоро ли? — раздался скучающій голосъ Краева.

— Сейчасъ, — отвѣтила Варвара Борисовна, обтирая вымытыя руки какой-то особенной жидкостью молочнаго цвѣта.

проспала... и вотъ теперь не успѣю! Что мнѣ дѣлать?.. Боже мой! Ничего не соображу!—восклицала она, съ отчаяньемъ заметавшись по комнатѣ.

Краевъ смотрѣлъ на нее испуганно, съ недоумѣньемъ.

— Чего же волноваться? Успѣемъ... Еще только часъ.

— Часъ... часъ... часъ!..—передразнила она мужа,— но вѣдь мнѣ нужно одѣться, — и не какъ-нибудь, — притомъ я еще не завтракала... Понимаешь ты, понимаешь?

Она побѣжала за перегородку, опять выскочила оттуда, бросилась къ корзинкѣ съ вещами и стала торопливо вынимать оттуда платья.

— Боже мой, что же будетъ, что же будетъ? — повторяла она, роясь, перебирая вещи, — я не успѣю, нѣтъ, не успѣю. Прикажи подать хоть завтракъ, распорядись, пока я буду мыться... Слышишь... слышишь, Викторъ? Ахъ, мученье! Да Викторъ же!..—окликнула она сидящаго неподвижнаго мужа.

Онъ не отвѣчалъ, упорно смотря куда-то въ одну точку.

— Викторъ!.. — еще разъ крикнула она почти у самаго его уха.—Слышишь, распорядись завтракомъ,— я умываться пойду.

— Иди, иди, моя радость, — тихо-тихо проговорилъ Краевъ, какъ бы вышедши изъ полузабытья.

Варвара Борисовна побѣжала за перегородку, скрывъ дорожный несессеръ, снабженный всеми баночками и скляночками, разставивъ вмѣстѣ съ зеркаломъ на стоящій тутъ

изъ слоновой кости, занялась разсматриваньемъ своего лица.

Шаги раздались снова. Кто-то стремительно бѣжалъ по коридору. Дверь номера распахнулась.

— Оковы!.. оковы!..—прохрипѣлъ чей-то странный, чужой голосъ.

Раздался выстрѣлъ. Что-то тяжелое грохнулось о-земь.

Варвара Борисовна испуганно обернулась... вскрикнула и, бросивъ на полъ зеркало, кинулась къ мужу.

Онъ лежалъ возлѣ самой двери, широко раскинувъ руки, еще крѣпко сжимая въ одной изъ нихъ маленькій блестящій бульдогъ, со спущеннымъ куркомъ.

Варвара Борисовна схватила его голову. Изъ круглой ранки въ вискѣ алой змѣйкой сочилась кровь.

Сомнѣнья нѣтъ—въ упоръ!

Но она не повѣрила. Она стала трясти безжизненное тѣло мужа.

— Викторъ... Викторъ...—шептала она отрывисто и задыхаясь и потащила трупъ на середину комнаты.

— Викторъ... Викторъ...—все продолжала она шептать безсмысленно...

Потомъ вдругъ, понявъ весь ужасъ истины и, вскинувъ кверху руки, съ безумнымъ воплемъ «спасите!»— бросилась въ коридоръ.

Тамъ увидѣла она, точно сквозь сонъ, какъ изъ отворенныхъ вездѣ дверей смотрѣли испуганныя лица. Навстрѣчу ей шелъ лакей съ подносомъ.

Она протянула впередъ обнаженныя руки, напрягла послѣднія силы, крикнула еще разъ «спасите» — и упала безъ чувствъ...

XII.

Мрачно стало въ нарядномъ особнячкѣ. Варвара Борисовна сейчасъ же послѣ катастрофы и печальныхъ похоронъ уѣхала въ Петербургъ къ роднымъ.

Анна Семеновна и Лиза сидѣли по своимъ комнатамъ, какъ будто боялись сходиться вмѣстѣ,—видѣлись только за завтракомъ, обѣдомъ да вечернимъ чаемъ, — утренній каждая пила у себя. Одни только дѣти, сначала испуганныя и опечаленныя внезапной смертью отца, попрежнему учились, приготовляли уроки и играли по вечерамъ съ Денисенкомъ.

Тетя Лиза стала теперь такая строгая — не улыбнется и все сидитъ запершись у себя въ комнатѣ; выйдетъ оттуда, если нужно по дѣлу, съ заплаканными глазами, и снова спѣшитъ назадъ.

Сегодня исполнилось три недѣли съ того печальнаго дня, когда изъ Ялты была получена страшная телеграмма. Анна Семеновна ушла въ церковь. Лиза, сдѣлавъ необходимыя распоряженія по дому, напоивъ дѣтей чаемъ и оставивъ съ учительницей, торопливо вернулась въ свою комнату. Тамъ, запершись на ключъ, она подошла къ письменному столу, достала изъ ящика толстый пакетъ съ надписью: *Моей сестрѣ*—и, вынувъ оттуда тетрадь почтовой бумаги, исписанную неровнымъ почеркомъ и разными чернилами, принялась съ жадностью перечитывать знакомыя, чуть не выученныя наизустъ, строки.

Тетрадь эта была найдена у него въ карманѣ и передана ей послѣ его смерти.

Она начиналась такъ:

«Можетъ-быть *этого* не будетъ, можетъ-быть будетъ—кто знаетъ.

«Пишу тебѣ, потому что ты меня поймешь, а мнѣ хочется, чтобы меня поняли, когда *это* случится. Чтобы кто-нибудь сумѣлъ разсказать мою несчастную повѣсть моимъ сыновьямъ, когда они выростутъ и спросятъ объ отцѣ... А это всѣхъ лучше сумѣешь сдѣлать ты. Я буду писать все, что мнѣ думается. Это нѣчто въ родѣ моей исповѣди. Давно уже пытаются люди рѣшить вопросъ: безволіе или, напротивъ того, сильная воля руководитъ человѣкомъ, когда онъ рѣшается поднять на себя руку и уйти... Не знаю и я, что толкаетъ меня на это рѣшеніе, но жить не могу!.. Однако, мнѣ кажется, скорѣе это воля, и какая-то безпощадная, неуклонная злая воля!.. Въ ту страшную ночь, когда я былъ свидѣтелемъ, какъ изъ-за моей небрежности гибли люди, когда я слышалъ ихъ вопли и стоны, моимъ первымъ движеніемъ было броситься въ море!.. Я бросился не искать спасенія—нѣтъ, а погибнуть вмѣстѣ съ остальными и искупить свой грѣхъ. Несчастнымъ или счастливымъ случаемъ я спасенъ—и вотъ снова живу!..

«Но, нѣтъ, злая воля! Я буду бороться съ тобой—буду!.. Какой я ни есть искалѣченный и несчастный, я все же люблю жизнь, люблю мою семью и больше всего въ мірѣ—люблю жену!.. А когда все это вмѣстѣ не въ силахъ будетъ отстоять меня, тогда... тогда *приди* и уничтожь».

Лиза перевернула страницу.

3 августа.

«Хаосъ... хаосъ... хаосъ, — читала она дальше,—и знаешь отчего? Я никогда *не думалъ*!.. Впрочемъ, это общій удѣлъ обыкновеннаго русскаго средняго человѣка. Всѣ мы живемъ, пока живется — думать намъ некогда... Когда-то очень давно, въ ранней юности, что-то бродило и въ моей головѣ, жаждалось отвѣтовъ на вѣчныя слова — слова «забытыя», какъ говоритъ Щедринъ, но... но... и но... Пришла жизнь, схватила и завертѣла въ свое колесо. Вѣдь это ужасно! Такъ живетъ большинство, — я не говорю объ исключительныхъ, отмѣченныхъ натурахъ, — но большинство... Вотъ, посмотри, я вспоминаю себя въ дѣтствѣ: воспитанный по установленнымъ вѣками правиламъ, по которымъ воспитываютъ хорошихъ, добрыхъ, послушныхъ мальчиковъ, я мало-по-малу привыкъ не думать, а только слушаться, и моя бѣдная мать вовсе не подозрѣвала, какое безличное, лишенное всякой оригинальности, существо вырабатывалось изъ ея любимаго сына. Я сталъ учиться. Спряженія, склоненія, доказательства равенства какихъ-то треугольниковъ, аксіомы, теоремы, радіусы, параллелограммы, безконечное количество всевозможныхъ формулъ... Да гдѣ же тутъ думать? Тутъ только въ пору удержать въ памяти всю эту премудрость. Я кончилъ. И вотъ вступаетъ въ жизнь отлично выдресированный юноша, лишенный всякой свободы, всякаго самостоятельнаго обличія... Общество принимаетъ радушно въ свои объятья этого милаго молодого человѣка — такого скромнаго, не вылѣзающаго изъ рамокъ окружающей его среды... О, это общество поможетъ прекрасному

юношѣ продолжать *не думать*. Такое поведеніе имъ пріятно,—они не любятъ безпокойныхъ!..

«Я полюбилъ,—то была самая свѣтлая пора жизни, но... но опять не до думъ, не до мыслей... Схватитъ тебя безумный, головокружительный порывъ, и ты весь въ его власти!.. Я женился. Тутъ уже совсѣмъ думать не время... Вопросы матерьяльнаго существованья... заботы о семьѣ... Надо служить, чтобы жить; и жить, чтобы служить... «Забытыя» слова, когда-то неясно бродившія въ памяти, были окончательно позабыты. Иногда ужъ очень что-нибудь нелѣпое бросится въ глаза, я на минуту задумаюсь, потомъ махну рукой: эхъ не я, молъ, первый, не я послѣдній,—всѣ такъ живутъ!.. И продолжалъ старательно служить, ходить въ гости, играть въ винтъ, читать газеты,—однимъ словомъ, жить такъ, какъ предписано жить среднему русскому человѣку. Меня считали честнымъ и достойнымъ... А я?.. Проникся ли я хоть разъ серьезно, какъ должно, сознаніемъ нравственнаго долга? Нѣтъ. И честенъ-то я былъ безсознательно,—по установленнымъ правиламъ честности,—не по внутреннему, глубоко созванному чувству, иначе я никогда, понимаешь, никогда не оставилъ бы на чужую отвѣтственность ввѣрившихъ мнѣ свое существованіе людей... Я жилъ походя, не раздумывая, и считалъ себя, какъ и другіе, честнымъ человѣкомъ. Какъ вдругъ налетѣвшій на меня ураганъ все исковеркалъ, скомкалъ, сбилъ въ кучу, сорвалъ съ крючка, на который повѣсила меня судьба, и бросилъ въ бездну хаоса. Обезумѣвъ отъ ужаса, подавленный, сбитый съ толку, я одинъ въ тишинѣ кабинета, пока рѣша-

лась моя судьба и всѣ близкіе тревожились за меня, вспоминалъ, сопоставлялъ и, первый разъ въ жизни, серьезно, мучительно *думалъ*. Можетъ-быть, нервы мои, въ силу страшнаго потрясенія, были особенно напряжены, но мнѣ показалось, что слухъ мой сталъ тоньше, и зрѣніе проницательнѣе, и мозгъ воспріимчивѣе. Я увидѣлъ то чего, раньше не замѣчалъ или же умышленно не хотѣлъ замѣтить, чтобы не тревожить себя. Я увидѣлъ, что общество, въ которомъ я жилъ, и я самъ—совершенно потеряли человѣческій обликъ. Какія то тѣни вмѣсто людей: ни горячаго порыва, ни свѣтлой мысли, ни правдиваго слова—все сѣро, плоско и довольно собой. Борьба за существованье—вотъ единственный двигатель, оживляющій эти тѣни, вотъ основа, на которой зиждется зданіе жизни. На этомъ зданіи виситъ лицемѣрная вывѣска *любовь*, *всепрощеніе*, *братство*, *милосердіе* и много, много другихъ, не менѣе заманчивыхъ словъ. Главный рычагъ дѣятельности каждой особи въ этомъ зданіи—есть *ненависть и зависть*. Каждый заботится только о томъ, какъ бы перегнать себѣ подобнаго, подняться на полвершка выше, а то и задавить попросту своего друга пріятеля. — Не попадайся молъ мнѣ поперекъ дороги!—Все не ново, все это говорилось много разъ людьми гораздо меня умнѣйшими, но ихъ горячее обличеніе, ихъ искренняя проповѣдь позабывалась, увеличивая собою томы «забытыхъ» словъ, а люди все такъ же ненавидятъ, такъ же губятъ другъ друга. И сталъ я думать: что же дѣлать, чтобы жить иначе?.. Я убѣдился, что попалъ въ заколдованный кругъ. Воспитанье, школа, преданья, обы-

чаи, наша хваленая культура — все длинной цѣпью спутываетъ насъ, и мы живемъ закованные въ эти цѣпи. Чтобы жить иначе, надо уйти. Но куда?.. Куда?.. Я вспомнилъ одно изъ позабытыхъ мною словъ: *народъ*... Жить для меньшей братіи—поучать, проливать свѣтъ, примѣнить къ дѣлу жалкіе обрывки своихъ знаній... А привычка къ комфорту, къ легкой работѣ, къ лѣни?.. А нервы? Эти несчастные, издерганные барскіе нервы? Я увидѣлъ свою несостоятельность. Да и какъ проливать свѣтъ, когда у самого въ душѣ тьма... А стоны?.. Стоны двухсотъ человѣкъ—они придутъ за мной... они меня найдутъ и тамъ... Исхода нѣтъ... Одно можетъ спасти—любовь!»

У Лизы больно сжалось сердце, казалось, изъ-за этихъ печальныхъ строкъ глядѣли на нее измученные сѣрые, большіе глаза, закрывшіеся теперь навѣки.

Она вытерла слезы и продолжала читать:

«...30 августа. Я вѣрю, вѣрю въ Бога... Я не смѣю посягать на жизнь, данную мнѣ Имъ!.. Конечно, это малодушіе!.. Меня оправдали. Но вѣчные упреки совѣсти—вотъ моя кара. Къ чему же идти дальше?.. А семья?.. А Варя?.. Какое право я имѣю нанести ей такой жестокій ударъ? Да и какъ смѣетъ человѣкъ—этотъ жалкій червь—уничтожить своею волей то, что даровано ему Богомъ? Одно меня томитъ: я не могу найти своего *слова*... Я оторвался отъ земли и не попалъ ни въ преисподнюю, ни на небо,—я лишній... Нѣтъ надо жить!.. Къ чему лгать—я люблю жизнь... Я хочу жить!.. Хоть мучиться, горѣть, но жить!!..

15 сентября.

«Спасите! Спасите меня отъ этихъ стоновъ!.. — захлебываясь отъ слезъ, прочла вслухъ Лиза.—Изнемогаю!.. Гибну!.. Сестра!.. Лиза!.. Спасай, если не меня—дѣтей!! Я говорилъ съ тобой о женѣ... Теперь о дѣтяхъ... Слушай! Придетъ минута, мой часъ пробьетъ, тогда ничто не въ силахъ будетъ спасти меня: ни любовь, ни рабская животная страсть къ жизни.. Ты не забудь о Варѣ... А дѣти?.. О, ради Бога, пускай они не будутъ тѣмъ, чѣмъ былъ ихъ несчастный отецъ Свѣта больше, чтобъ были смѣлы, свободны. . . . . .

. . . . . .

25 сентября.

«А я все еще живъ?.. Не правда ли, это нелѣпо. Съ этимъ истекающимъ кровью сердцемъ, со смертью въ душѣ, съ презрѣньемъ къ своему «я» и... жить! Я никому не нуженъ... Тоскливо, скверно! опускаются руки... Я понимаю чувство пьяницъ: тянетъ къ вину... къ опіуму... къ гашишу, чтобы забыться пока... пока... не будетъ ничего... Но я люблю, мучительно люблю. Когда настанетъ время и часъ пробьетъ, я и умру возлѣ нея, чтобъ ей отдать послѣдній вздохъ... Это нехорошо, но... все это будетъ *такъ*!.. Да, да, именно *такъ*!..

1 октября.

«Слово найдено!.. Борьба окончена,—я побѣжденъ... Жизнь для меня уже пустой звукъ. Я ухожу, сознательно, твердо. Да... Да... такъ справедливо—за жизни—жизнь... Возврата нѣтъ. Осталось нанести по-

слѣдній ударъ: я разорву оковы и... этотъ жалкій обломокъ человѣка — мое истерзанное «я» — найдетъ вѣчный покой... Я больше не могу...

«Прощай... Прости!!..»

То были послѣднія строки.

НЕЗАБВЕННАЯ.

РАЗСКАЗЪ.

Пѣвецъ любви, пѣвецъ боговъ,
Скажи мнѣ, что такое слава?
А. Пушкинъ.

Облетѣли цвѣты, догорѣли огни.
С. Надсонъ.

I.

Она была артисткой — великой артисткой. Она пѣла и своей пѣсней заставляла и счастливаго, и несчастнаго одинаково любить жизнь. Она пѣла, и ея слушатели забывали міръ—этотъ несправедливый, полный раздора, зависти и злобы міръ. Изъ груди пѣвицы рвались и неслись въ толпу чудные звуки. Очарованная толпа жадно ловила ихъ, и они таяли и умирали въ растроганныхъ сердцахъ, сжимаемыхъ тоской, вызывая слезы умиленья на глаза! То были удивительныя, незабвенныя минуты. Теперь она старуха—ей за шестьдесятъ. Зовутъ ее въ дѣйствительности совсѣмъ не поэтично—Авдотьей Семеновной, но въ обществѣ она извѣстна подъ именемъ Агаты Семеновны, и это имя еще понынѣ заставляетъ трепетать сладкимъ воспоминаньемъ сердца стариковъ, помнящихъ ея славу. Для нихъ она все та-же по-прежнему несравненная: «незабвенная» Агата Семеновна!..

— А она... она не замѣчаетъ ни длиннаго ряда протекшихъ годовъ, ни того, что жизнь ея уже прожита—она краситъ свои волосы, затягивается въ корсетъ, все еще живетъ подъ обаяніемъ своей славы, и вѣритъ, и ждетъ возврата прежнихъ дней. Когда своимъ дребезжащимъ старческимъ голосомъ она поетъ все съ тѣмъ-же чувствомъ, какъ и въ былые дни, одну изъ своихъ любимыхъ русскихъ пѣсенъ:

„Такъ и рвется душа изъ груди молодой—
„Хочетъ воли она, хочетъ жизни другой"...

— она сама ощущаетъ тогда какой-то необычайный приливъ юныхъ, бодрыхъ силъ, и ей кажется, что Николай Максимовичъ—одинъ изъ старыхъ-старыхъ ея поклонниковъ-друзей, которому теперь уже за семьдесятъ, но онъ все еще свѣжій для своихъ лѣтъ мужчина—понимаетъ, что для него именно поетъ она такъ выразительно, съ такой силой. Когда же Николай Максимовичъ подходитъ послѣ этого къ ней и, благоговѣйно цѣлуя ея руку, произноситъ задумчиво:—«Да, Агата Семеновна, дорогая моя, такъ никто никогда не пѣлъ»—она счастлива счастьемъ юной дебютантки и, ободряемая апплодисментами маленькаго общества, расположившагося въ ея гостиной, она поетъ, поетъ, поетъ аріи, романсы, пѣсни, пока наконецъ Марья Петровна, ея компаньонка, не позоветъ всѣхъ присутствующихъ въ столовую пить чай.

Агата Семеновна очень хлѣбосольна, любитъ общество, а главное поклонниковъ, все равно какого бы они ни были возраста и пола. Съ каждымъ годомъ, однако, ряды ея почитателей становятся все малочис-

леннѣе. Измѣнники помоложе давно уже пріютились около новыхъ звѣздъ, новыхъ свѣтилъ, остались вѣрными одни старики. Самому младшему шестьдесятъ. Большей частью это все люди свободные, доживающіе свой вѣкъ кто на пенсію, кто на сколоченный капиталецъ. Тутъ и женщины—тоже старушки. Между ними видное мѣсто занимаетъ Куницына, вдова какого-то давно умершаго музыкальнаго критика. Она очень гордится своимъ мужемъ, черезъ каждыя пять-шесть словъ непремѣнно вставляетъ: «вотъ и мой покойный мужъ то же говорилъ», почитается очень умной и большимъ знатокомъ музыки. Агата Семеновна издавна дружитъ съ ней. Впрочемъ, иногда между ними происходятъ стычки, всякій разъ кончающіяся ссорой. Стоитъ только Куницыной, съ присущей ей важностью, похвалить какую-нибудь другую пѣвицу въ присутствіи Агаты Семеновну—кончено: Агата Семеновна принимаетъ это за личное оскорбленье. Она не выноситъ соперницъ ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ. Куницына, въ свою очередь, отстаиваетъ права независимаго знатока музыки, и обѣ, взбѣшенныя, рѣшаются разорвать дружбу. Нѣсколько дней вдовы не видно, пока наконецъ Агата Семеновна сама не пошлетъ пословъ къ своему другу, подъ благовиднымъ предлогомъ прійти прослушать новый и «удивительный» романсъ. Вдова опять появляется, и миръ водворенъ до будущей стычки.

Агата Семеновна одинока; какіе были родные, всѣ давно перемерли; остались гдѣ-то въ провинціи дальніе родственники, съ которыми она не поддерживаетъ никакихъ сношеній. Квартира Агаты Семеновны, что-

то въ родѣ клуба, куда во всякое время дня можетъ прійти любой изъ знакомыхъ и застать тамъ непремѣнно еще двухъ, трехъ. Были завсегдатаи, считавшіе своей обязанностью являться каждый день; были гости болѣе рѣдкіе и, наконецъ, почетные, попадавшіе сюда уже по особому приглашенію хозяйки. При Агатѣ Семеновнѣ, помимо ея постоянной компаніонки и домоправительницы Марьи Петровны, всегда живутъ еще двѣ, а то и три приживалки; обыкновенно это, почему-то, вдовы или дочери какихъ-то неизвѣстныхъ полковниковъ. Марья Петровна—некрасивая, суроваго вида дѣвица, лѣтъ сорока, съ смуглымъ, угреватымъ лицомъ и черными, какъ смоль, волосами. Она честна, правдива и набожна. Она не любитъ Агаты Семеновны, какъ не любитъ никого и ничего въ мірѣ, кромѣ двухъ своихъ племянницъ-сиротокъ Симы и Нади, при одномъ только воспоминаніи о которыхъ ея угрюмое лицо озаряется свѣтлой улыбкой. Дочь сельскаго священника, она рано потеряла отца и мать, потомъ любимую сестру и всѣми силами души привязалась къ оставшимся послѣ сестры сироткамъ. Несмотря на свои скудныя средства, она воспитываетъ ихъ, посылая имъ пятнадцать рублей въ мѣсяцъ, удерживая на свою долю только пять. Къ столичной жизни, къ роскоши, Марья Петровна чувствуетъ презрѣніе, а богатыхъ людей просто ненавидитъ, считаетъ незаслуживающими никакого сочувствія: «Чего имъ!.. Денегъ много—за деньги все могутъ имѣть». Къ обязанностямъ своимъ Марья Петровна относится строго, но, несмотря на доброту къ ней Агаты Семеновны, жаждетъ какъ можно скорѣе освободиться изъ подне-

вольнаго положенія и вмѣстѣ съ Симой и Надей зажить на свободѣ. Въ качествѣ приживалокъ при Агатѣ Семеновнѣ, въ описываемое нами время, состояли двѣ: Аглая Ивановна, вдова «штатскаго полковника», какъ она себя величала,—тучная пятидесятилѣтняя женщина, неуклонно выпивавшая потихоньку отъ всѣхъ, на сонъ грядущій, полбутылки водки, которая хранилась у нея подъ тюфякомъ,—и дочь «почти полковника» Аделаида Андреевна Шмерцъ, или, какъ всѣ ее называли попросту, Деличка,—высокая, сухопарая блондинка съ бѣлесоватыми глазами и большимъ тонкимъ ртомъ. Она считала себя красавицей, старалась собирать свои тонкія губы бантикомъ и очень любила разсказывать исторію о томъ, какъ она была прежде любимицей своего вдовѣвшаго папаши, но онъ женился и съ этого начались всѣ несчастія Делички. Она не захотѣла выносить притѣсненій мачехи, бѣжала изъ-подъ родительскаго крова и, чтобы зарабатывать средства къ жизни, поступила, въ качествѣ хозяйки, къ одному одинокому вдовцу. Вдовецъ еще больше укрѣпилъ въ сердцѣ Делички злобу на людскую неблагодарность и несправедливость. Послѣ трехлѣтняго пользованія ея услугами (Деличка при этомъ стыдливо опускала глаза), вдовецъ пригласилъ въ домъ «одну дрянь», а ей, Деличкѣ, предложилъ немедленно убираться. И—что всего ужаснѣе—кромѣ жалованья, по условію, не наградилъ ничѣмъ!.. «Ну, хотя бы сто рублей, хотя бы только сто!» восклицала съ негодованьемъ Деличка всякій разъ, когда разсказывала эту исторію.

Агата Семеновна жила неразсчетливо, проживая

не только пенсію и проценты съ подаренными ей кѣмъ-то, во времена ея молодости, довольно большого капитала, но и самый капиталъ. Иногда, впрочемъ, она пугалась своего образа жизни и тогда рѣшала круто сократить расходъ. Обыкновенно веселая, добродушная, особенно за обѣдомъ—она въ такіе дни была молчалива, раздражительна, и происходили сцены въ родѣ слѣдующей:

— Что у васъ сегодня на второе? — спрашивала послѣ супа Агата Семеновна, не глядя ни на кого опредѣленно.

— Ростбифъ—отвѣчала Марья Петровна.

— Отчего же не телятина?

— Телятина вчера была.

— Я потому и спрашиваю. Отчего бы не разогрѣть и не подать сегодня остатки.

— Я и остатковъ-то не видала. Тамъ и глядѣть не на что.

— А вотъ другіе иначе живутъ. Въ другомъ хозяйствѣ ничего не пропадаетъ—и разогрѣютъ и подадутъ на другой день, а у насъ нельзя—нѣтъ нельзя!—кипятилась Агата Семеновна.—Это ни на что не похоже! Надо же соблюдать экономію! — восклицала она съ какимъ-то ребяческимъ отчаяньемъ. — Иначе всѣ мы по міру пойдемъ!

Привыкшая къ этимъ выходкамъ, невозмутимая Марья Петровна, не обращая никакого вниманія на волненія хозяйки, методически рѣзала поданный ростбифъ и раскладывала его по тарелкамъ.

Полковница, протягивая свою, шептала, умильно качнувъ головой:

— Еще кусочекъ и... потолще...

Деличка сидѣла не шевелясь. Когда же очередь доходила до нея, она съ шумомъ отодвигала тарелку и, всхлипывая, убѣгала изъ столовой.

— Что съ ней?—недоумѣвала Агата Семеновна.

— Не знаю,—бурчала въ отвѣтъ Марья Петровна,—обидѣлась, должно-быть.

Тогда Агата Семеновна вскакивала со своего мѣста и спѣшила въ комнату Делички. Тамъ, склонившись на столъ головой, обиженная Деличка истерически рыдала.

— Господь съ вами!.. Господь съ вами, голубушка,—успокаивала ее Агата Семеновна, сама чуть не плача.—Ну, развѣ можно такъ все принимать къ сердцу? Вѣдь я не со зла, вѣдь я за всѣхъ безпокоюсь... Я не считаю васъ за чужую, а за свою—поймите... Ну, милая... ну, голубушка!..

— Я не привыкла къ такимъ оскорбленіямъ!.. Даже мачеха не позволяла себѣ такъ обращаться со мною, патетически восклицала Деличка, забывая собственные разсказы о жестокостяхъ мачехи.

— Ну... ну, простите меня!—жалобно упрашивала Агата Семеновна.—Пойдемъ въ столовую, голубушка!.. Вы знаете, какъ я не люблю всѣхъ этихъ ссоръ.

Деличка прощала, и, вернувшись на покинутыя мѣста, обѣ онѣ съ аппетитомъ набрасывались на остывшій уже ростбифъ. Къ пирожному всѣ приходили въ самое благодушное настроеніе.

Послѣ обѣда, если не было никакихъ гостей, Агата Семеновна въ сопровожденіи своей домашней свиты отправлялась въ будуаръ «поваляться», какъ она выражалась, «для пользы пищеваренія», а Петръ Петровичъ Прутиковъ, постоянный безплатный нахлѣбникъ

Агаты Семеновны, почтительно поцѣловавъ у нея ручку, присаживался за большой рояль въ гостиной и наигрывалъ меланхолически какой-нибудь модный вальсъ.

Это былъ молодой человѣкъ лѣтъ тридцати двухъ, съ маленькой бородкой и льстивыми масляными глазками. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, будучи студентомъ перваго курса, онъ явился къ Агатѣ Семеновнѣ съ просьбой дать ему возможность окончить высшее образованіе, которое, за неимѣньемъ средствъ, онъ продолжать не можетъ. Агата Семеновна помогла ему деньгами и предложила у себя безплатный обѣдъ, которымъ неудачный студентъ пользовался и понынѣ. Университетъ онъ все-таки бросилъ и съ тѣхъ поръ, каждый годъ, все держалъ какіе-то экзамены. Теперь онъ готовился поступить на бухгалтерскіе курсы. Агата Семеновна вѣрила въ его необыкновенныя способности, обвиняя во всѣхъ его неудачахъ судьбу-злодейку да людскую несправедливость.

Въ будуарѣ, служившемъ ей вмѣстѣ съ тѣмъ и спальней, Агата Семеновна ложилась на кушетку, обитую пестрымъ ситцемъ, надъ которой висѣлъ въ золоченной рамѣ ея огромный портретъ, писанный много лѣтъ тому назадъ масляными красками, гдѣ, по странному ли капризу художника или своему собственному, она была изображена въ черномъ домино съ розой на груди и маской въ рукѣ. Агата Семеновна закрывала глаза и погружалась въ сладкую нѣгу легкой полудремоты. Марья Петровна разливала кофе, Деличка гадала на картахъ, подковница что-нибудь разсказывала своимъ нуднымъ, тягучимъ голосомъ, непремѣнно попадая въ концѣ концовъ, на излюбленную тему:

— Мужъ служилъ въ двухъ учрежденіяхъ,—тянула

полковница,—я же навѣрное знаю, что въ двухъ,— я его бумаги видѣла... Ну, изъ одного вотъ я и получаю значитъ, шестнадцать рублей въ мѣсяцъ... Я и хлопочу теперь, чтобы изъ другого тоже дали, а съ меня доказательствъ требуютъ, что онъ тамъ служилъ. Какія же, говорю, я вамъ доказательства еще представлю—я живой человѣкъ, ну и вѣрьте моему слову—неужто стану обманывать! Я у него бумаги въ столѣ видѣла—какія же вамъ еще доказательства? А они все свое... Конечно, если бы онъ военный, а не штатскій полковникъ былъ—другое бы дѣло было. Ахъ, такая несправедливость, такая несправедливость!.. — Полковница прикладывала платокъ къ глазамъ.

— Захотѣли тоже отъ людей справедливости! — сурово произносила Марья Петровна.—И охота вамъ надрываться—вотъ пейте лучше кофій.

— Разумѣется, все устроится... Все, душечка, устроится,—говорила, проснувшись, вздремнувшая было на нѣсколько минутъ Агата Семеновна.—Ну, что у насъ сегодня на картахъ?—обращалась она съ улыбкой къ Деличкѣ.

— Удача и успѣхъ. Интересный король предоставитъ интересъ.

— А это?..—указывала, насупившись, Агата Семеновна на черную масть.

— Ничего!—успокаивала ее Деличка. — Безъ короля, конечно, печальныя вѣсти, а при немъ ничего... При немъ это даже—по-моему — фривольная карта... Какая-то злая дама препятствуетъ... Вздорныя сплетни, но вы ихъ топчете въ ногахъ... Письмо внезапно обрадуетъ,—продолжала она толковать значеніе картъ,

не смущаясь легкимъ похрапываньемъ заснувшей снова хозяйки...

Вечеромъ «музицировали», какъ говорила Агата Семеновна, или сражались въ винтикъ по маленькой, до котораго Агата Семеновна была большая охотница.

Такъ шла жизнь знаменитой пѣвицы изо-дня въ день уже многіе годы. Безъ большихъ печалей, но и безъ большихъ радостей.

Недавно, однако, произошло нѣчто, огорчившее до чрезвычайности бѣдную Агату Семеновну.

Дѣло было такъ.

Какъ-то вечеромъ гостей собралось довольно много. Агата Семеновна была, что называется, въ ударѣ — пѣла съ большимъ увлеченьемъ. Запѣла, наконецъ, она свою излюбленную арію Фидесъ изъ «Пророка». Всѣ замерли и какъ бы впились въ пѣвицу. Она кончила.

— Браво, браво, браво!!. — раздалось со всѣхъ концовъ комнаты.

Николай Максимовичъ, растроганный до слезъ, взявъ руку Агаты Семеновны, особенно выразительно поцѣловалъ эту руку.

— Да, дорогая моя, сказалъ онъ,—не было и не будетъ другой такой Фидесъ. Это талантъ... Это геній... однимъ словомъ—незабвенная!

Куницына крѣпко, безъ словъ, обняла своего друга Агату Семеновну. Всѣ подходили, всѣ изъявляли, въ болѣе или менѣе сходныхъ выраженіяхъ, свой восторгъ. Подошелъ и Павелъ Михайловичъ—старинный пріятель Агаты Семеновны. Злые языки даже увѣряли, что одно время онъ былъ для нея чѣмъ-то

ближе обыкновеннаго пріятеля. Такъ вотъ, подошелъ Павелъ Михайловичъ, но... ничего не сказалъ, только посмотрѣлъ какъ то странно — точно сконфуженно. Это нѣсколько задѣло Агату Семеновну.

— Что же вы молчите?—окликнула она пріятеля — Развѣ не хорошо?

— Д-да... хорошо ..— произнесъ онъ, запинаясь нерѣшительно, почти грустно и, сконфузившись еще больше, тихо-тихо прибавилъ: но лучше уже вамъ бросить эту вещь... Вспоминаешь прошлое, какъ пѣли вы ее раньше, и... — тутъ Павелъ Михайловичъ тяжело вздохнулъ,—становится жалко этого прошлаго...— чуть слышно добавилъ онъ.

Агата Семеновна опѣшила.

— Какъ прошлое?—растерянно проронила она. — Я жива, а пока живу—настоящее и будущее—мои.

— Все это такъ, но лучше не пѣть. Вѣрьте совѣту друга.

— Вы говорите, что я не могу больше пѣть этой аріи—нѣтъ?—ужъ начала горячиться Агата Семеновна.

— Мнѣ такъ кажется... Время беретъ свое... Годы...

Тутъ Агата Семеновна окончательно разсердилась:

— О какомъ времени вы говорите? Я артистка... Слышите,—прежде всего артистка! А пока артистка чувствуетъ въ себѣ огонь—лѣтъ для нея не существуетъ.

Павелъ Михайловичъ пожалъ плечами. Этотъ безмолвный протестъ разсердилъ еще больше Агату Семеновну:

— Да, да, да!.. Вы говорите, что я не могу уже пѣть Фидесъ, что у меня спалъ голосъ.. А я вамъ говорю: напротивъ—онъ только мужественнѣе и гуще

сталъ и никогда не звучалъ, какъ теперь... Я именно только теперь вполнѣ поняла и... овладѣла этой партіей... только теперь!..

Она побѣдоносно оглядѣла Павла Михайловича.

Тотъ продолжалъ упорствовать, и голосъ его не звучалъ уже грустью, въ немъ слышались настойчивость и раздраженіе.

— Годы... годы... годы!.. кричала Агата Семеновна:— Вы меня простите, Павелъ Михайловичъ, но вы... вы просто невѣжда!.. Я васъ столько лѣтъ знаю... Мнѣ очень больно, но я все-таки скажу: вы просто тупы, упрямы и глупы!—выпалила она залпомъ.

Павелъ Михайловичъ вздрогнулъ, выпрямилъ свой старческій станъ и пріосанился.

— Благодарю васъ, Агата Семеновна, благодарю!— проговорилъ онъ сдержанно и съ достоинствомъ. — Послѣ стольких лѣтъ дружбы и... вдругъ... Не ожидалъ!.. Я ничего вамъ не скажу—я ухожу, чтобы ужъ болѣе не переступать вашего порога. Прощайте-съ!..

Онъ круто повернулся и вышелъ изъ комнаты, нервно постукивая палочкой, съ которой никогда не разставался.

Въ первую минуту Агата Семеновна готова была бѣжать за уходившимъ другомъ. Но самолюбивое чувство оскорбленной пѣвицы подавило въ ней этотъ непосредственный порывъ сердца. Слава, вѣра въ свое призванье для Агаты Семеновны дороже всякихъ симпатій. Ушелъ Павелъ Михайловичъ—Богъ съ нимъ — остались кругіе; а когда вернутся былые дни, и на зло врагамъ слава Агаты Семеновны загремитъ съ новой силой, тогда явится и Павелъ Михайловичъ съ повинной головой, но будетъ уже поздно. И даже тогда она не проститъ ему сегоднешней обиды.

ближе обыкновеннаго пріятеля. Такъ вотъ, подошелъ Павелъ Михайловичъ, но... ничего не сказалъ, только посмотрѣлъ какъ то странно — точно сконфуженно. Это нѣсколько задѣло Агату Семеновну.

— Что же вы молчите?—окликнула она пріятеля — Развѣ не хорошо?

— Д-да... хорошо...—произнесъ онъ, запинаясь нерѣшительно, почти грустно и, сконфузившись еще больше, тихо-тихо прибавилъ: но лучше уже вамъ бросить эту вещь... Вспоминаешь прошлое, какъ пѣли вы ее раньше, и... — тутъ Павелъ Михайловичъ тяжело вздохнулъ,—становится жалко этого прошлаго...— чуть слышно добавилъ онъ.

Агата Семеновна опѣшила.

— Какъ прошлое?—растерянно проронила она. — Я жива, а пока живу—настоящее и будущее—мои.

— Все это такъ, но лучше не пѣть. Вѣрьте совѣту друга.

— Вы говорите, что я не могу больше пѣть этой аріи—нѣтъ?—ужъ начала горячиться Агата Семеновна.

— Мнѣ такъ кажется... Время беретъ свое... Годы...

Тутъ Агата Семеновна окончательно разсердилась:

— О какомъ времени вы говорите? Я артистка... Слышите,—прежде всего артистка! А пока артистка чувствуетъ въ себѣ огонь—лѣтъ для нея не существуетъ.

Павелъ Михайловичъ пожалъ плечами. Этотъ безмолвный протестъ разсердилъ еще больше Агату Семеновну:

— Да, да, да!.. Вы говорите, что я не могу уже пѣть Фидесъ, что у меня спалъ голосъ.. А я вамъ говорю: напротивъ—онъ только мужественнѣе и гуще

сталъ и никогда не звучалъ, какъ теперь... Я именно только теперь вполнѣ поняла и... овладѣла этой партіей... только теперь!..

Она побѣдоносно оглядѣла Павла Михайловича.

Тотъ продолжалъ упорствовать, и голосъ его не звучалъ уже грустью, въ немъ слышались настойчивость и раздраженіе.

— Годы... годы... годы!.. кричала Агата Семеновна:— Вы меня простите, Павелъ Михайловичъ, но вы... вы просто невѣжда!.. Я васъ столько лѣтъ знаю... Мнѣ очень больно, но я все-таки скажу: вы просто тупы, упрямы и глупы!—выпалила она залпомъ.

Павелъ Михайловичъ вздрогнулъ, выпрямилъ свой старческій станъ и пріосанился.

— Благодарю васъ, Агата Семеновна, благодарю!— проговорилъ онъ сдержанно и съ достоинствомъ. — Послѣ стольких лѣтъ дружбы и... вдругъ... Не ожидалъ!.. Я ничего вамъ не скажу—я ухожу, чтобы ужъ болѣе не переступать вашего порога. Прощайте-съ!..

Онъ круто повернулся и вышелъ изъ комнаты, нервно постукивая палочкой, съ которой никогда не разставался.

Въ первую минуту Агата Семеновна готова была бѣжать за уходившимъ другомъ. Но самолюбивое чувство оскорбленной пѣвицы подавило въ ней этотъ непосредственный порывъ сердца. Слава, вѣра въ свое призванье для Агаты Семеновны дороже всякихъ симпатій. Ушелъ Павелъ Михайловичъ—Богъ съ нимъ — остались кругіе; а когда вернутся былые дни, и на зло врагамъ слава Агаты Семеновны загремитъ съ новой силой, тогда явится и Павелъ Михайловичъ съ повинной головой, но будетъ уже поздно. И даже тогда, она не проститъ ему сегоднешней обиды.

Отвернувъ свое покраснѣвшее, взволнованное лицо отъ дверей, за которыми скрылся старый пріятель, и стараясь улыбнуться, она спросила присутствующихъ:

— Продолжать музицировать?

— Конечно!.. Еще бы!.. Просимъ!.. Умоляемъ!—послышалось отовсюду.

— Что бы спѣть?—Она, въ раздумьи, стала перебирать ноты. — Ахъ, вотъ славный романсъ! — и съ живостью выдернула изъ груды набросанныхъ на крышкѣ рояли тетрадей одну.

Она запѣла: «Такъ жизнь молодая проходитъ безслѣдно...» Запѣла и остановилась. Что это?.. Ей самой показалось — будто голосъ ея звучитъ, дѣйствительно, не такъ, какъ прежде... «Не тотъ!.. Нѣтъ — не тотъ!..» Она сердито захлопнула тетрадь.

— Нѣтъ, господа, сегодня забастуемъ... Да вотъ и Марья Петровна — чай, значитъ, готовъ, идемъ всѣ въ столовую.

Печальное недоразумѣнье съ Павломъ Михайловичемъ подѣйствовало удручающе и на остальныхъ. Сколько лѣтъ этотъ небольшой кружокъ людей крѣпко связывала вѣра въ своего божка. Они сроднились, они состарились съ этой вѣрой — и вдругъ посреди нихъ явился раскольникъ, отступникъ, который ихъ бросилъ, ушелъ, оставивъ въ этомъ тѣсно сомкнутомъ кругу пустое мѣсто и какую-то обидную горечь въ сердцѣ каждаго. Кто былъ возмущенъ, кто просто недоумѣвалъ, но всѣмъ, всѣмъ до единаго было грустно, ужасно грустно. Точно, уходя, Павелъ Михайловичъ унесъ у каждаго частичку его души.

Перешли въ столовую. Тамъ массивная лампа, проливая съ потолка потоки свѣта, ярко освѣщала боль-

шой столъ, покрытый бѣлоснѣжной скатертью, съ поставленной на немъ посрединѣ высокой вазой съ фруктами, и блюда, наполненныя бутербродами, и серебряный самоваръ, и массивный подносъ, съ рядами чашекъ и стакановъ, и тяжелые дубовые, съ прямыми спинками, стулья.

— Однако, какой онъ... этотъ Павелъ Михайловичъ, — начала, какъ бы жалуясь, Агата Семеновна, когда всѣ разсѣлись по мѣстамъ. Ей хотѣлось говорить о происшедшемъ, чтобы отвести свою душу.

— Что же тутъ удивительнаго? Онъ никогда особеннымъ пониманіемъ не отличался,—ѣдко произнесъ Николай Максимовичъ, который вообще не долюбливалъ Павла Михайловича. Все тѣ же злые языки болтали, что и онъ тоже игралъ романическую роль въ жизни Агаты Семеновны. Былъ, будто бы, даже замѣстителемъ Павла Михайловича и навсегда сохранилъ ревнивое чувство къ своему предшественнику. Насколько были правы злые языки — неизвѣстно; но только оба старика всегда, почему-то, дулись другъ на друга, и чувство взаимно-затаенной вражды, смотришь, нѣтъ-нѣтъ, да и прорвется.

— Положимъ, это неправда!—рѣзко вставила свое слово Куницына. — Мой покойный мужъ даже находилъ въ немъ присутствіе музыкальнаго таланта... Но сегодня онъ оказался полнѣйшимъ профаномъ—я согласна съ вами.

— Профаномъ—сказать мало... Круглымъ невѣждой!—злился Николай Максимовичъ.

— Я нахожу, что за послѣднее время голосъ нашей несравненной Агаты Семеновны пріобрѣлъ особую густоту и эластичность, — шамкалъ, обращаясь къ

Агаты Семеновны, сразу пріобрѣлъ вѣсъ. Всѣ взоры обратились въ его сторону.

— Ну, а гдѣ же, собственно, вы предполагаете и какъ?—спросилъ Николай Максимовичъ.

— Въ Дворянскомъ. Я иначе не хочу! — заявила твердо и положительно Агата Семеновна.

— Конечно! Только въ Дворянскомъ. И мой покойный мужъ находилъ этотъ залъ очень выгоднымъ для пѣвца.

— Да, онъ премилый!—кивая на Прутикова и показывая свои вставныя челюсти, сладко шептала Агатѣ Семеновнѣ сѣдая, нарумяненная дама. — Бѣдный! Отчего ему такъ не везетъ въ жизни?..

— Людская несправедливость,—отвѣтила разсѣянно Агата Семеновна, всецѣло поглощенная мыслью о концертѣ.

— Господа! Позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ,—раздался рѣзкій голосъ Рындиной, пожилой, состоятельной дѣвицы, большого друга и ученицы Агаты Семеновны.—Можетъ быть, вамъ извѣстно — существуетъ въ собраніи малая зала... Можетъ быть, лучше тамъ—менѣе риску...

Но ея предложенье было единогласно отвергнуто.

«Съ какой стати! Ужъ дѣлать—такъ дѣлать, выступать—такъ выступать! Или вѣрить въ успѣхъ, или совсѣмъ не вѣрить».

— А кто же будетъ еще? послышался среди общаго шума чей-то голосъ.

— Да, кто же будутъ еще?

— Найдемъ..—небрежно проронилъ Прутиковъ и назвалъ двѣ-три извѣстныхъ итальянскихъ фамиліи.—Если почему-нибудь заломаются—заплатить.

— Умно, умно, умно!—одобрительно кивалъ головой Николай Максимовичъ.—А русскихъ, кромѣ ея никого не надо.

— Можно Прилуцкую,—предложилъ кто-то,—хорошая піанистка и любима публикой.

— Скрипача бы!..

— Всѣхъ найдемъ,—повторялъ съ увѣренностью Прутиковъ,—были бы деньги!.

Набросали приблизительно смѣту, и вопросъ о концертѣ былъ окончательно рѣшенъ.

II.

Взволнованная Агата Семеновна долго не могла уснуть. Всѣ позабытыя мелочи прошлаго, все милое всколыхнулось и подняло цѣлый бунтъ въ душѣ. Но кровная обида, обида друга заслоняла собой все остальное. Давно уже не была такъ взволнована Агата Семеновна. Бывало, не совсѣмъ удачно спѣтая партія, или чье-нибудь несправедливое отношеніе, или появленіе новой соперницы заставляли ее переживать эти острыя минуты негодованія и тоски. И вдругъ, теперь, кто же причиной ея страданій? Онъ—Павелъ Михайловичъ, онъ старый пріятель, даже больше—когда-то предметъ ея страсти. И неужели онъ правъ? Неужели время ничего не щадитъ? Даже таланта? Нѣтъ, это было бы ужасно!.. И онъ же, этотъ самый Павелъ Михайловичъ, еще недавно говорилъ: «Кто такъ сумѣетъ, какъ вы, Агата Семеновна, передать слезы, мольбу, тоску желанія и страсти, жажду любви?.. Никто, никто!..» Агата Семеновна, прижавъ къ батистовой наволочкѣ свое старое морщинистое лицо, пла-

Николаю Максимовичу, старый-старый глухой генералъ, служащій въ комитетѣ о раненыхъ.

— Еще бы!.. А высокія ноты какъ сохранились? Удивительно! Удивительно!...

— Нѣтъ, что у нея замѣчательно — это pianissimo!.. Поразительно!.. Напримѣръ, вотъ эта музыкальная фраза: «Ля-ля-а-ра... Ля ля-а-ри... Ля-ля-ля-ра... Ля-ри!» пропѣла хрипловатымъ голосомъ Куницына.

— Золотой голосокъ, золотой! — какъ бы соболѣзновала полковница.

Агата Семеновна слушала съ восторгомъ эти рѣчи, подъ вліяніемъ которыхъ, мало-по-малу, стихали ея недавнія волненія и даже самая горечь собственнаго, на минуту закравшагося въ ея душу сомнѣнія, и она съ аппетитомъ уничтожала бутерброды, запивая ихъ горячимъ чаемъ.

— Мнѣ кажется, вотъ въ чемъ основная ошибка Агаты Семеновны,—вкрадчиво началъ Прутиковъ. — Я позволю себѣ высказать мое скромное мнѣніе. Агата Семеновна, по моему, слишкомъ русская натура. Она полагается на волю Божію и ждетъ у моря погоды, а въ этомъ величайшая ошибка!.. Вотъ посмотрите— итальянцы, напримѣръ: пѣвецъ до самой глубокой старости, онъ борется, онъ на виду, онъ не теряетъ публику!..

— Что же мнѣ дѣлать? — прервала съ гордостью Агата Семеновна. — Я настоящая, по призванію артистка, низкопоклонничать не привыкла, Позовутъ — пойду; сама навязываться—не умѣю.

— Нѣтъ, я не такъ хотѣлъ сказать. Вы позволяете забывать о себѣ.

— Ну, положимъ, кто же можетъ ее забыть? — остановилъ Прутикова Николай Максимовичъ. — Ея имя—«незабвенная»...

— Но публика вѣтрена, публика забывчива. Надо о себѣ напоминать. Вы не сердитесь на меня, Агата Семеновна.—Прутиковъ повернулъ въ сторону пѣвицы свое льстивое лицо,—я вѣдь только изъ желанія добра—вѣрьте. Вотъ мнѣ какая мысль пришла въ голову: отчего бы вамъ, напримѣръ, не устроить концертъ?

— Ахъ, это правда, — подхватила Куницына, — и какъ намъ всѣмъ давно въ голову это не приходило?.. Концертъ, концертъ необходимо!

— Великолѣпная идея! — воскликнулъ Николай Максимовичъ. — Конечно, концертъ, большой концертъ!

У Агаты Семеновны заблестѣли глаза. Дѣйствительно, какъ это столько лѣтъ она бездѣйствовала, не догадывалась, довольствовалась только своимъ кружкомъ и ожиданіями. Концертъ! Концертъ непремѣнно!

Однако, вмѣстѣ съ рѣшимостью, ею вдругъ овладѣла какъ будто робость. Она слишкомъ привыкла къ покою за послѣдніе годы, и теперь ея природная лѣнь пугалась предстоящихъ тревогъ.

— А вѣдь это очень хлопотливо, — смущенно замѣтила она вслухъ.

— Положитесь на меня,—отвѣтилъ Прутиковъ,—всѣ хлопоты я беру на себя. Слава Богу, опытъ есть достаточный: еще когда студентомъ былъ — устраивалъ, и теперь знакомыхъ масса!—присовокупилъ онъ самодовольно.

Прутиковъ, не пользовавшійся симпатіями кружка

Николаю Максимовичу, старый-старый глухой генералъ, служащій въ комитетѣ о раненыхъ.

— Еще бы!.. А высокія ноты какъ сохранились? Удивительно! Удивительно!...

— Нѣтъ, что у нея замѣчательно — это pianissimo!.. Поразительно!.. Напримѣръ, вотъ эта музыкальная фраза: «Ля-ля-а-ра... Ля ля-а-ри... Ля-ля-ля-ра... Ля-ри!» пропѣла хрипловатымъ голосомъ Куницына.

— Золотой голосокъ, золотой! — какъ бы соболѣзновала полковница.

Агата Семеновна слушала съ восторгомъ эти рѣчи, подъ вліяніемъ которыхъ, мало-по-малу, стихали ея недавнія волненія и даже самая горечь собственнаго, на минуту закравшагося въ ея душу сомнѣнія, и она съ аппетитомъ уничтожала бутерброды, запивая ихъ горячимъ чаемъ.

— Мнѣ кажется, вотъ въ чемъ основная ошибка Агаты Семеновны,—вкрадчиво началъ Прутиковъ. — Я позволю себѣ высказать мое скромное мнѣніе. Агата Семеновна, по моему, слишкомъ русская натура. Она полагается на волю Божію и ждетъ у моря погоды, а въ этомъ величайшая ошибка... Вотъ посмотрите— итальянцы, напримѣръ: пѣвецъ до самой глубокой старости, онъ борется, онъ на виду, онъ не теряетъ публику!..

— Что же мнѣ дѣлать? — прервала съ гордостью Агата Семеновна. — Я настоящая, по призванію артистка, низкопоклонничать не привыкла, Позовутъ — пойду; сама навязываться—не умѣю.

— Нѣтъ, я не такъ хотѣлъ сказать. Вы позволяете забывать о себѣ,

— Ну, положимъ, кто же можетъ ее забыть? — остановилъ Прутикова Николай Максимовичъ. — Ея имя—«незабвенная»...

— Но публика вѣтрена, публика забывчива. Надо о себѣ напоминать. Вы не сердитесь на меня, Агата Семеновна.—Прутиковъ повернулъ въ сторону пѣвицы свое льстивое лицо,—я вѣдь только изъ желанія добра—вѣрьте. Вотъ мнѣ какая мысль пришла въ голову: отчего бы вамъ, напримѣръ, не устроить концертъ?

— Ахъ, это правда, — подхватила Куницына, — и какъ намъ всѣмъ давно въ голову это не приходило?.. Концертъ, концертъ необходимо!

— Великолѣпная идея! — воскликнулъ Николай Максимовичъ. — Конечно, концертъ, большой концертъ!

У Агаты Семеновны заблестѣли глаза. Дѣйствительно, какъ это столько лѣтъ она бездѣйствовала, не догадывалась, довольствовалась только своимъ кружкомъ и ожиданіями. Концертъ! Концертъ непремѣнно!

Однако, вмѣстѣ съ рѣшимостью, ею вдругъ овладѣла какъ будто робость. Она слишкомъ привыкла къ покою за послѣдніе годы, и теперь ея природная лѣнь пугалась предстоящихъ тревогъ.

— А вѣдь это очень хлопотливо, — смущенно замѣтила она вслухъ.

— Положитесь на меня,—отвѣтилъ Прутиковъ,—всѣ хлопоты я беру на себя. Слава Богу, опытъ есть достаточный: еще когда студентомъ былъ — устраивалъ, и теперь знакомыхъ масса!—присовокупилъ онъ самодовольно.

Прутиковъ, не пользовавшійся симпатіями кружка

III.

Работа закипѣла. Прутиковъ поразилъ всѣхъ своей энергіей и неутомимостью: обѣдать не является, забѣжитъ на нѣсколько минутъ, чтобы сообщить новости, взять денегъ на «необходимые расходы» и опять исчезаетъ до слѣдующаго дня. Настроенье Агаты Семеновны неспокойно. Всѣ прихоти заправской пѣвицы вернулись къ ней, какъ будто еще только вчера спѣла она свою послѣднюю партію. Она капризничаетъ, нервничаетъ, и больше всего достается Николаю Максимовичу. Заказано платье — великолѣпное бѣлое платье дама, съ огромнымъ тяжелымъ шлейфомъ. Снизу, на юбкѣ съ правой стороны, вѣтка чайныхъ розъ; такія же розы украшаютъ декольте корсажа. Откуда-то появились незнакомые студенты и барышни-курсистки, любезно предложившіе взять на себя обязанности распорядителей на вечерѣ. Агата Семеновна растрогана такимъ вниманьемъ молодежи. Она чувствуетъ себя необыкновенно счастливой. Иногда, впрочемъ, нѣтъ-нѣтъ да и засосетъ сердце воспоминанье о Павлѣ Михайловичѣ. Сомнѣнье и страхъ минутами охватятъ душу: «а вдругъ, онъ правъ?» Но она сейчасъ же гонитъ прочь нелѣпую мысль, и страхъ, и сомнѣнье. По цѣлымъ днямъ поетъ она вокализы, а по вечерамъ устраиваетъ репетиціи концерта; но сегодня, порѣшивъ пѣть одно, завтра перерѣшаетъ снова.

Наконецъ все кончено, и напечатанная программа красуется въ витринахъ.

Насталъ и онъ, этотъ давно ожидаемый этотъ вожделѣнный день.

Ужъ семь часовъ вечера. Передъ стариннымъ трюмо краснаго дерева, въ своемъ парадномъ бѣломъ, съ чайными розами, платьѣ стоитъ Агата Семеновна. Ея волосы пышно взбиты, лицо сильно набѣлено. Морщинистую, тоже набѣленную шею украшаетъ роскошная брильянтовая ривьера. Агата Семеновна находитъ себя красавицей. «Кто скажетъ, кто смѣетъ сказать, что ея время прошло!»

Около нея суетятся полковница и Деличка: прикалываютъ, расправляютъ; она не обращаетъ на нихъ вниманія, она смотритъ, смотритъ, не отрываясь, на себя въ зеркало, она поглощена потокомъ нахлынувшихъ воспоминаній и тѣмъ удивительнымъ нарастаніемъ артистической тревоги, которая снова наполняетъ, какъ бывало, ея сердце. Предчувствіе какого-то жгучаго блаженства и страхъ, и тоска, и безумное счастье... да! все это опять здѣсь дрожитъ въ ея груди, силясь вылиться въ звукахъ передъ милой, родной сердцу толпой.

Раздался звонокъ — это Прутиковъ, подвитой, во фракѣ, съ голубой кокардой распорядителя, приколотой къ отвороту:

— Пожалуйте, Агата Семеновна, пора.

— Пора?..—Агата Семеновна вздрагиваетъ. Электрическій токъ пробѣгаетъ по всѣмъ ея нервамъ. — Вѣеръ!.. ноты!..—отрывисто говоритъ она и, закутавшись въ большую мѣховую ротонду, заботливо поддерживаемая Прутиковымъ, спускается по лѣстницѣ.

Озябшія лошади быстро подхватили карету. Темная зимняя ночь... но въ душѣ Агаты Семеновны и свѣтъ, и радость, и зной. Она молчитъ и только прислушивается къ звукамъ, которые поютъ въ ея

груди. Прутиковъ тоже молчитъ и чѣмъ-то озабоченъ. Вотъ и знакомый подъѣздъ. Прутиковъ, торопливо выскочивъ изъ кареты, ловко высаживаетъ свою закутанную спутницу. Наверху лѣстницы стоятъ распорядители съ такими же кокардами, какъ и у Прутикова. Увидавъ Агату Семеновну, они окружаютъ ее и ведутъ въ «артистическую». Тамъ, сбросивъ на руки услужливыхъ юношей свою тяжелую ротонду, Агата Семеновна подходитъ къ зеркалу, поправляетъ прическу и снова остается довольна собой.

По комнатѣ прохаживается трое мужчинъ въ черныхъ фракахъ, сидитъ аккомпаніаторъ—молодой человѣкъ, съ густой шапкой кудрей на головѣ и некрасивая нарядная дама. Это участвующіе. Агата Семеновна подходитъ къ нимъ, благодаритъ за участіе и идетъ къ Марьѣ Петровнѣ (которая уже давно здѣсь суетится около большого стола съ закусками и винами), потомъ обращается къ распорядителямъ и барышнямъ-курсисткамъ, болтаетъ, шутитъ съ ними, любуясь ихъ молодыми свѣжими лицами. Она сама опьяненная всей этой атмосферой, чувствуетъ себя молодой, полной жизни и огня.

Исчезнувшій на время Прутиковъ появляется снова. Онъ чѣмъ-то очевидно смущенъ. Агата Семеновна быстро подходитъ къ нему.

— Что же мы не начинаемъ? Пора.

Прутиковъ смущается еще больше.

— Вотъ видите, Агата Семеновна, я право не знаю но... но... по-моему... Вы только не огорчайтесь... Придется отмѣнить...

Точно молотомъ ударило по головѣ Агаты Семеновны.

— Какъ! Зачѣмъ?

— Сбору нѣтъ.

Прилившая къ мозгу кровь отхлынула къ сердцу. Самообладаніе вернулось.

«О, Агата Семеновна—старая артистка и сумѣетъ съ достоинствомъ выйти изъ каждаго положенія. Пѣть она будетъ! Отмѣнять, когда на афишѣ стоитъ ея имя—ни за что!»

— Сколько же? — шопотомъ спрашиваетъ она Прутикова.

— На расходы не хватаетъ—ужасно!

— Сколько, я васъ спрашиваю?

Прутиковъ мнется.

— Да что... все больше знакомые... Настоящей публики нѣтъ.

— Все равно, — рѣшительно произноситъ Агата Семеновна.—Начинайте.

— Прошу васъ, — обращается Прутиковъ къ некрасивой нарядной дамѣ и уводитъ ее подъ руку въ залъ.

Второй номеръ—Агаты Семеновны. Она ходитъ по «артистической» и вполголоса поетъ варіаціи. Сейчасъ... сейчасъ наступитъ мигъ удивительный и чудный... понесутся съ эстрады звуки, и дрогнутъ, какъ одно, сердца пришедшихъ ее послушать. Ихъ немного Пускай! Но они разойдутся убѣжденные, что она все та же, и изъ устъ въ уста польется молва все шире, шире... Сегодняшняя неудача, омрачивъ ея славу, будетъ ничтожнымъ пятномъ, которое потонетъ въ могучемъ потокѣ возвращеннаго ей величія и блеска. Не все же розы—есть и терніи. Она съ сознаніемъ своей правоты гордо пойдетъ навстрѣчу неудачъ...

— Пора!—Прутиковъ, согнувъ руку колечкомъ, уже предлагаетъ Агатѣ Семеновнѣ идти. Аккомпаніаторъ забираетъ ноты.

— На «bis»—«Не скажу никому» Даргомыжскаго,— съ трудомъ выговариваетъ Агата Семеновна. Сердце колотится въ груди какъ бѣшеное, дыханіе прерывисто, она чувствуетъ, что не въ силахъ будетъ, пожалуй, пѣть.

— Воды!.. Немного туда вина... краснаго...

Выпивъ залпомъ поданный ей кѣмъ-то услужливо стаканъ, она откашливается, беретъ Прутикова подъ руку... идетъ... Какой-то странный шумъ вдали?.. Это аплодисменты... ее ждутъ... ее привѣтствуютъ... Волоча свой громадный шлейфъ, горделивой походкой идетъ она среди стоящихъ шпалерой аплодирующихъ ей студентовъ и выходитъ на эстраду.

Бѣлый съ колоннами залъ залитъ электрическимъ свѣтомъ. Въ первомъ ряду сидятъ: Надежда Сергѣевна, Антонъ Антоновичъ—все знакомые... Весь первый рядъ занятъ, а дальше—среди пустыхъ рядовъ—кой-гдѣ чернымъ пятномъ ютится чья-нибудь одинокая фигура.

Жидкіе аплодисменты этой затерявшейся среди грандіозной залы группы людей, жалкими звуками отдаются въ широкомъ пространствѣ.

Агатѣ Семеновнѣ обидно и стыдно. Одинъ изъ распорядителей съ трудомъ поднимаетъ къ эстрадѣ большой лавровый вѣнокъ. Пѣвица величаво кланяется... Но вотъ еще корзина... Еще... и еще...

Агата Семеновна чувствуетъ въ сердцѣ пріятное щекотаніе. Ея щеки горятъ. Глаза сверкаютъ.

Аккомпаніаторъ играетъ прелюдію.

«А! и Павелъ Михайловичъ здѣсь... Зачѣмъ онъ пришелъ?.. Провѣрить правду своихъ словъ? Пускай!.. Пускай!..»

И вдругъ внезапный страхъ охватываетъ Агату Семеновну: «А что если онъ правъ —этотъ противный Павелъ Михайловичъ?» Морозъ пробѣгаетъ по спинѣ. «Нѣтъ, лучше уйти съ эстрады!..» Но ей сейчасъ же стыдно своего малодушія. Она смѣлымъ взглядомъ окидываетъ залъ. «Вотъ и Николай Максимовичъ... тамъ сидитъ у колонны. Онъ тоже видимо взволнованъ. Но развѣ теперь это знакомые или друзья? Это публика, это одинъ многоголовый человѣкъ съ единымъ сердцемъ... А это сердце принадлежитъ Агатѣ Семеновнѣ».

«Прелюдія кончается. Сейчасъ начинать. Смѣлѣе!»

Агата Семеновна поетъ. Поетъ и ревниво прислушивается сама къ разносящимся по залѣ звукамъ. «Какая странность!.. Ахъ, этотъ отвратительный Павелъ Михайловичъ!.. Дѣйствительно, будто не то.... совсѣмъ не то... И голосъ точно совсѣмъ иначе звучитъ, чѣмъ даже дома, у себя въ гостиной... Какой-то сдавленный и слабый... Это отъ волненія,—думаетъ разгоряченная Агата Семеновна, — нужно усилить звукъ». Она старается пѣть громче и чувствуетъ, что все-таки выходитъ тускло какъ-то... глухо... Но вотъ знаменитая нота, которою въ былыя времена пѣвица покрывала цѣлый оркестръ... И слышитъ, вдругъ, бѣдная Агата Семеновна, какимъ дряблымъ, недорваннымъ звукомъ отозвалась эта нота въ пространствѣ залы. Ужасъ охватываетъ сердце. «А все онъ — все этотъ противный Павелъ Михайловичъ!.. И зачѣмъ пришелъ?..

Теперь смѣется, точно Мефистофель надъ падшей Маргаритой... Куда бѣжать? Куда скрыться?!...»

Раздаются аплодисменты и крики «bis.» Не уходя съ эстрады, Агата Семеновна беретъ изъ рукъ аккомпаніатора ноты и, едва сдерживая слезы, поетъ:

Не скажу никому,
Отчего у меня,
Тяжело на груди
Злая грусть налегла...

и старческій голосъ дрожитъ еще больше отъ страха и стыда, переполнившихъ сердце, и непрошенныя слезы заволакиваютъ своимъ туманомъ глаза. Опять крики «bis,» но Агата Семеновна только низко раскланивается и спѣшитъ уйти. Въ «артистической» она бросается въ изнеможеніи на диванъ, а если бы было можно, она убѣжала бы куда-нибудь отъ этихъ стѣнъ, отъ всѣхъ этихъ людей, видѣвшихъ ея позоръ. «Да! Чего же скрываться? Это позоръ!!»

Озабоченный Прутиковъ суетится возлѣ нея.

— Развѣ можно такъ волноваться—точно молоденькая дебютантка какая-нибудь... Такая опытная артистка, знаменитая... Агата Семеновна, овладѣйте собой!.. Ну, выпейте горячаго чаю... вѣдь вамъ еще пѣть—пятый номеръ опять вашъ!

Агата Семеновна смотритъ испуганно.

— Какъ пятый номеръ?.. Нѣтъ, нѣтъ—я не могу!.. Можетъ быть, послѣ антракта... а теперь не могу... Ей-Богу не могу!

— Что вы волнуетесь? Все было отлично!

Но Агату Семеновну уже обмануть нельзя: она чувствуетъ, что пришелъ конецъ.

Тѣмъ не менѣе, доводы Прутикова ее нѣсколько успокаиваютъ, и слабая надежда просыпается въ душѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, она выбрала неосторожно... Слишкомъ понадѣялась на свои силы... Вещь требуетъ совсѣмъ молодой пѣвицы... Но во 2-мъ отдѣленіи она поетъ Фидесъ... Это издавна ея конекъ, и притомъ, немного отдохнувъ, она овладѣетъ собой.

Когда въ антрактѣ пришли къ ней друзья и знакомые, она, раздавая желающимъ цвѣты изъ своихъ корзинокъ, уже улыбалась.

— Вы не должны обращать вниманія на сборъ, дорогая моя, вы знаете—вѣдь это лотерея!—старался ее успокоить Николай Максимовичъ. — Сегодня еще три концерта... потомъ было мало рекламъ... Въ другой разъ будемъ предусмотрительнѣе.

Агата Семеновна, привѣтливо улыбаясь, подала ему самую красивую розу, за что Николай Максимовичъ поцѣловалъ ея ручку и прошепталъ:

— Только не волнуйтесь! Ради Бога, будьте молодцомъ!

У Агаты Семеновны что-то тоскливо заныло и забилось въ груди при этихъ словахъ.

«Фидесъ! Вся надежда на Фидесъ!»

Нестерпимо долго тянется второе отдѣленіе. Агата Семеновна спѣла уже одинъ незначительный романсъ, и хотя осталась опять недовольна собой, но не придаетъ этому обстоятельству особаго значенія. Она лихорадочно ожидаетъ послѣдняго номера программы—аріи Фидесъ.

— Агата Семеновна, пожалуйте—вамъ!—раздается голосъ Прутикова.

Объятая страхомъ и сладкимъ трепетомъ, Агата Семеновна вступаетъ на эстраду.

«Теперь побѣда!.. торжество!.. или... конецъ!»

Подайте, подайте
Вы ма...а...тери бѣдной!..

Сладкій трепетъ уступаетъ мѣсто ужасу. «Боже мой, опять!.. Опять эта жалкая безпомощность, бѣдность звука вмѣсто силы.»

Съ дикимъ отчаяньемъ Агата Семеновна поетъ свою любимую арію, и ей кажется, что съ каждой нотой она все ниже и ниже падаетъ въ темную бездну, откуда нѣтъ возврата.

„Подайте!.. По...дайте!..“

Надтреснутымъ звукомъ дребезжитъ голосъ. Да— это ужъ не артистическое изображеніе горя старой матери; это оплакиваетъ былые дни сама старость, безпомощная, дряблая... И представляется Агатѣ Семеновнѣ, будто поетъ она себѣ отходную... То – похороны всего, что было для нея завѣтнаго, всего, чѣмъ живъ былъ ея духъ!.. Не слезы обездоленной Фидесъ,—собственныя рыданія рвутъ на части грудь пѣвицы... Она не можетъ кончить аріи и... стремительно уходитъ съ эстрады...

– Пожалуйте! Пожалуйте!.. Зовутъ!.. Да пожалуйте же!—раздаются около нея тревожные голоса.

Она возвращается въ залъ. Тамъ апплодируютъ, кричатъ... «Зачѣмъ?.. Изъ жалости?. Не надо!»— Крики не унимаются. Она, раскланиваясь, поднимаетъ голову и видитъ... видитъ что то странное... несообразное... фантастическое передъ глазами: посреди залы – отъ пола и до потолка какой-то столбъ сѣрый и точно прозрачный... Да нѣтъ — это человѣческая фигура, окутанная сѣрымъ флеромъ... Вотъ руки, съ длинными цѣпкими пальцами, какъ у лѣшаго или водяника... и голова!. Пустыя глазныя впадины,

оскаленный ротъ... «Что это? Что это?!..» — съ ужасомъ спрашиваетъ себя Агата Семеновна.

— «Это старость... одиночество... забвенье... смерть!» шепчетъ чей-то зловѣщій голосъ.

И чудится Агатѣ Семеновнѣ, что весь залъ оглашается хохотомъ... и всѣхъ громче хохочетъ Павелъ Михайловичъ. Ей хочется крикнуть изо всѣхъ силъ, но только слабый протяжный стонъ вырывается изъ стѣсненной груди... Темное облако заволакиваетъ глаза, и... вытянувъ впередъ руки, какъ бы заслоняясь отъ страшнаго призрака, она шатается... готова упасть... Она теряетъ сознаніе.. Но вовремя подоспѣвшій Прутиковъ подхватываетъ ее и безчувственную почти уноситъ съ эстрады...

Очнувшись, Агата Семеновна увидѣла себя въ артистической на диванѣ. Кругомъ люди... У изголовья Куницына и Николай Максимовичъ.. дальше Прутиковъ... Еще кто-то... еще... Отрывистыя, неопредѣленныя мысли тучей нависли надъ головой и что-то точно камнемъ давитъ на мозгъ... а слова — слова, казалось, исчезли неизвѣстно куда... Агата Семеновна силится связать мучительныя, безпорядочныя мысли— и не можетъ. Она безпомощно, растерянным взглядомъ окинула окружающихъ и съ трудомъ могла произнести одно лишь лаконическое: «Зачѣмъ»?..

Ее закутали въ ротонду.

— Вы не должны такъ огорчаться, дорогая моя,— старался ее успокоить, до-нельзя самъ взволнованный, Николай Максимовичъ...

А передъ ея глазами вставалъ страшный колоссъ— призракъ, видѣнный въ залѣ, и откуда-то изъ глубокой, невѣдомой тьмы надвигалось нѣчто безпощадное,

грозное и неотразимое, съ чѣмъ бороться безплодно!.. Голова горѣла какъ въ огнѣ, мозгъ сверлили злые, тревожные вопросы: «Былъ данъ талантъ и вдругъ отнятъ... Зачѣмъ?!.. Душа пропала... Какъ же тогда жить и... и зачѣмъ?»

Дома, на предложеніе Делички помочь раздѣться — она отвѣчала отрывисто: «Не надо—я сама», и прошла къ себѣ въ спальню.

А ночью, когда уже всѣ спали, изъ комнаты Агаты Семеновны послышались странные, жалобные звуки, похожіе на причитанье по покойнику. Марья Петровна проснулась, и не понимая въ чемъ дѣло, стала тревожно прислушиваться; потомъ она сердито плюнула: «О, чтобъ ее! По ночамъ пѣніе разводитъ — только испугала задаромъ!» И она улеглась снова, плотно укутавшись съ головой одѣяломъ. Деличка тоже, сквозь сонъ, слышала жалобные звуки. «О, Господи, и ночью-то покоя нѣтъ!» вздохнула она, переворачиваясь на другой бокъ. Одна полковница, въ силу торжественнаго случая, увеличившая свою ежедневную порцію до цѣлой бутылки, спала непробуднымъ сномъ.

Въ одномъ изъ глухихъ переулковъ Петербургской стороны, возлѣ стараго неуклюжаго, въ два этажа, коричневаго, деревяннаго дома, съ украшеніями въ видѣ треугольниковъ надъ окошками, съ почти потерявшими отъ времени свою прозрачность, стеклами, отливающими на солнцѣ радужными цвѣтами,—стоялъ небольшой флигелекъ въ три окошка. Улица была смирная — ни одной лавочки, даже мелочной, весной и осенью—грязь непролазная...

Рано-рано утромъ отворялись ставни флигелька и также рано захлопывались вечеромъ. Еще вездѣ огни горятъ—живетъ узенькая улица, а флигелекъ съ своими захлопнутыми ставнями уже погрузился въ непробудный сонъ. Утромъ чуть свѣтъ изъ входныхъ дверей флигелька, выходившихъ на дворъ, появлялась толстая растрепанная кухарка въ сопровожденіи двухъ бѣленькихъ мохнатыхъ собачонокъ. Пройдясь два раза по улицѣ, вся эта компанія возвращалась во флигель. Спустя нѣкоторое время кухарка появлялась снова, уже одѣтая прилично и съ корзинкой въ рукахъ, очевидно, направляясь въ рынокъ.

Часовъ въ двѣнадцать дня, какая бы ни была погода, изъ воротъ флигелька выходили двѣ старушки. Молча шли онѣ довольно длинную дорогу до часовни Спасителя. Тамъ, купивъ по свѣчкѣ, онѣ отстаивали молебенъ, при чемъ одна, грузно опустившись на колѣни, непрестанно крестилась и громко вздыхала, приговаривая вслухъ:

— О, Господи Спасе мой, Іисусе милостивый, смилуйся къ грѣшной рабѣ Твоей!

Другая, вперивъ въ потемнѣвшій ликъ Спасителя свои широкіе, застывшіе въ изумленьи глаза, стояла какъ вкопанная, словно не въ состояньи была оторваться отъ образа, словно пытаясь найти разрѣшеніе какого-то мучившаго ее вопроса.

— Пойдемте, обѣдать пора... — выводилъ ее обыкновенно изъ оцѣпенѣнія, сиплый голосъ ея спутницы.

И обѣ, не проронивъ дорогой ни слова, онѣ возвращались домой.

Въ первой легко было узнать расплывшуюся еще больше отъ времени полковницу; но кто бы въ дру-

94

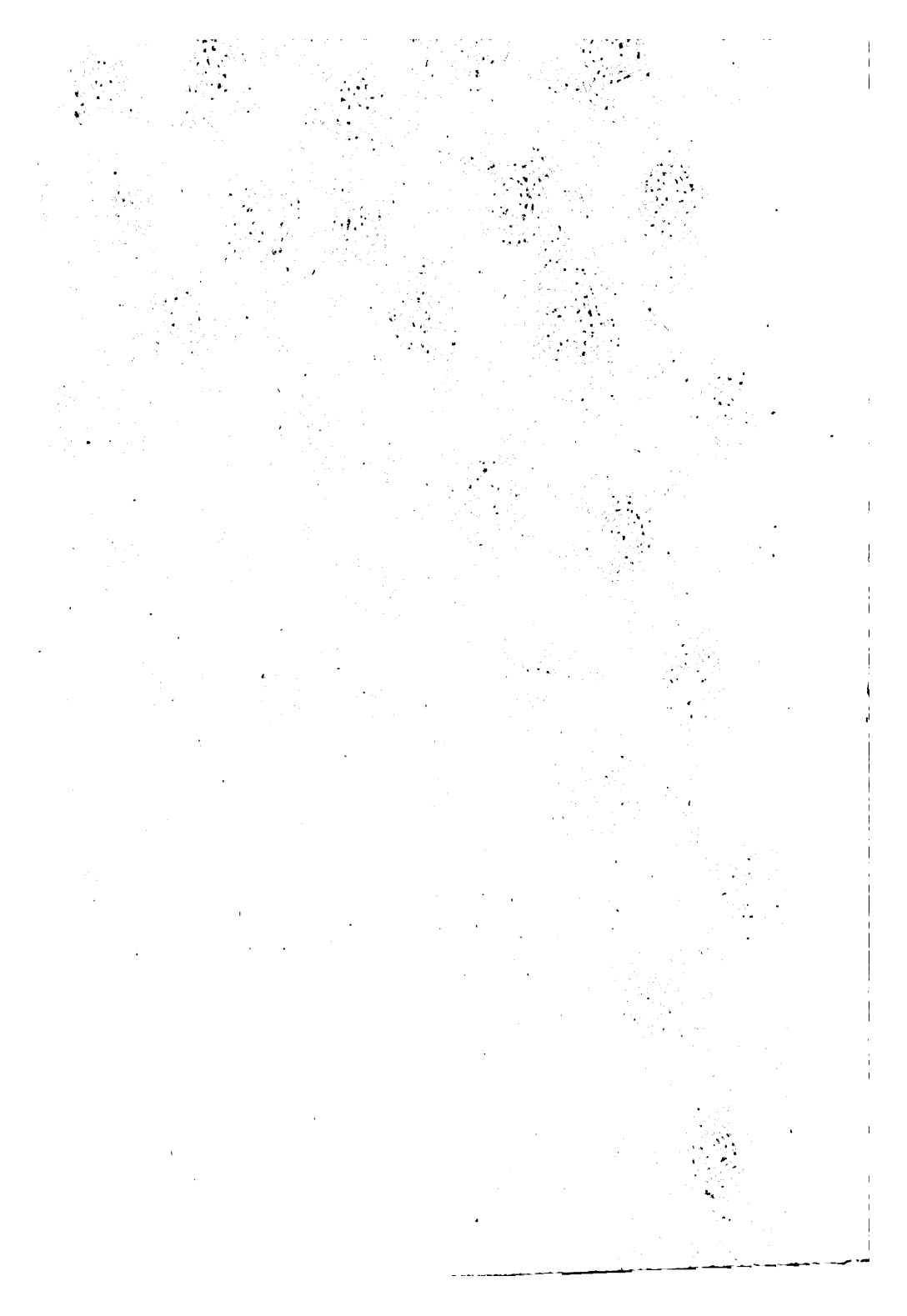
гой, совершенно сѣдой, съ потускнѣвшимъ, неподвижнымъ, печальнымъ взоромъ старухѣ могъ угадать «незабвенную» Агату Семеновну, такъ долго и страстно отстаивавшую свою молодость? Не пронеслись, а тяжелымъ гнетомъ легли на ея голову послѣдніе годы. И страшно жить, и умереть не хочется. Но пуще всего боится она людей — такъ-бы, кажется, и ушла отъ всего живого. Впрочемъ, люди ея не особенно безпокоятъ: старые знакомые — кто померъ, кто постарѣлъ; новыхъ она сама избѣгаетъ. Бывшая когда-то при ней Марья Петровна давно ужъ живетъ гдѣ-то въ провинціальномъ городѣ своимъ хозяйствомъ, съ дорогими ея сердцу Симой и Надей; Деличка—выживъ Марью Петровну—забрала въ руки дѣла Агаты Семеновны и черезъ годъ привела ихъ въ такой порядокъ, что ничего не оставила своей благодѣтельницѣ, кромѣ ея небольшой пенсіи.

И вотъ, всѣми забытая, покинутая, брошенная, живетъ «незабвенная», коротая свой вѣкъ... и все ее гложетъ неразрѣшимый вопросъ: зачѣмъ же былъ брошенъ вѣчно божественный огонь томить ея грудь, если ему суждено было потухнуть раньше, чѣмъ оставила жизнь ея духъ?

Она—эта живая могила — не любитъ говорить о прошломъ. По цѣлымъ днямъ молча раскладываетъ пасьянсъ; а если ночью, проснувшаяся полковница, услышавъ сдержанное всхлипыванье, тревожно ея окликнетъ: «Что съ вами?», — она отвѣчаетъ шопотомъ, чтобы не выдать своихъ слезъ:

— Простудилась, должно быть—насморкъ.

GENERAL BOOK BINDING CO.
244ST 004 A 6030
53
LITY CONTROL MARK



Stanford University Libraries
3 6105 124 438 446

PS
3453
A58A15
1907
x.1

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.